НЁМАН

11/2016
НОЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 16.11.2016. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,01 . Тираж 1535. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



Василь ГИГЕВИЧ

Гуманоиды: прямой контакт*

Современная повесть-сказка для взрослых

Мы так радикально изменили среду обитания,
что теперь для того, чтобы существовать в ней,
мы должны изменить свою сущность.

Норберт ВИНЕР, основоположник кибернетики

Изменился образ жизни, само понимание Мира.
Все переплелось в какой-то запутанный клубок,
где людские страсти, подлость, бескультурье
соседствуют со все более ускоренным развитием науки.
Какие-то малопонятные законы управляют нами.
На первый план выходит не угроза одномоментной
гибели людей в результате ядерного катаклизма,
а вероятность еще более мучительного
уничтожения всего рода человеческого.

Н. Н. МОИСЕЕВ, академик РАН

1

Как и многие приключения, мои начались с семейного скандала. Вернулся с работы, есть хочется, а моя ненаглядная очередной сериал смотрит, оторваться от телевизора не может. Я ей деликатненько намекаю, что голодный мужчина — хуже африканского льва. А она — подожди немного, сотую серию досмотрю и начну готовить ужин. До этого долго терпел, молчал, а тут, честно признаюсь, не выдержал, допекли эти сериалы, высказался...

А она тут же вскочила, будто только и ждала моих слов. Чего только мне не припомнила!..

Женщина, скажу я вам, это такое создание... Если она в настроении, то — все простит, вместо воплей — в щечку чмокнет и приголубит. Но подвернись невовремя, ангелом домой придешь, все равно будешь виноватым, и тогда тебе уже все припомнит, до последнего комара, которого не убил, когда вечером на берегу реки сидели.

Может, все миром и закончилось бы, ну, поскандалила б немного и успокоилась. Но в тот вечер меня как черт за язык дернул, когда моя красавица слишком разошлась и начала излишне меня отчитывать. Я ей только и сказал: «Слишком ты со мной нагоревалась... Ты еще вспомни, как у мамки в Житиве жила...»

Житиво — это деревушка, где она родилась и где была очень счастливой. До сих пор часто меня как шилом колола: «Вот, когда у мамки в Житиве жила...»

---

* Журнальный вариант.

Господи, лучше бы я промолчал!

Чего только не наслушался в тот вечер! Понял, что моя красавица — самая несчастная из всех несчастных, которые были на свете. И оставалось мне единственное — брать веревку и намыливать... Так и не поужинал. Хлопнул дверью и ушел к другу. Слишком большим другом он мне и не был, на рыбалке как-то познакомились, на этом и держалась наша дружба. Сели за стол, разговорились. А он, если ему верить, будто бы в каких-то органах работал. Посмотрел на меня внимательно и говорит:

— Что-то ты, Базыль, сегодня очень взвинченный.

Я спрашиваю:

— Откуда знаешь?

А он:

— Пальцы вздрагивают.

Что значит — профессиональная хватка! Я и «раскололся» — о скандале рассказал.

Он мне:

— Если твоя хлюндра так допекла, так и быть: раз проучи, чтобы на всю жизнь... Что по мелочам цыркаться... — и замолчал, глядя на меня.

Тут я и «клюнул» на его удочку:

— А как?

Он:

— Есть одно задание важное. Кандидаты требуются. Это — как командировочка будет, годков на пять. Тогда она узнает, пожив без тебя... Потом как шелковая будет...

Я, конечно, спросил:

— Неужели среди вас, умников, отчаюг нет, чтобы выполнить это задание?

— Отчаюги, может, и найдутся, — ответил он, — а умных, чтобы выполнить его, кот наплакал. Это во-первых. А во-вторых, скажу, что к нам, как и в мафию, и в масонство, вход есть, а выхода... А тут уж очень серьезное задание намечается, деталей я и сам до конца не знаю, не говорили мне. Да и тесты на сообразительность — сложновато их пройти, сыплются наши...

Тогда я:

— А с работой как? А пенсия, если на то пошло?

Он сверкнул глазами, аж повеяло холодом, и:

— Не волнуйся, не ты первый, не ты последний... Все продумано. Объявим, что исчез при неизвестных обстоятельствах. Если захочешь — листовки с фотографиями повсюду развесим, приметы опишем, даже в Интерпол информацию закину...

— А доказательства?

Он тут же:

— Автомобиль свой где ставишь?

— У подъезда. Как и многие. Гараж далековато, ленюсь...

— Размолотим вдребезги. Асфальт возле машины красной краской испачкаем. Комар носа не подточит. Потом, когда задание выполнишь, машину отремонтируем.

— А как же вы объясните мое появление?

— Объявим, что был без памяти несколько лет. Ты что, газет не читаешь, телевизор не смотришь? Сейчас таких немало: вышел человек из дома и — не вернулся. Потом, лет через пять, появляется неизвестно откуда. Начинают его расспрашивать, а он ничего не помнит. Это — худший вариант, если с задани-

ем не справишься. А лучший — героем будешь. Риск, сам понимаешь... Кто не рискует — тот не пьет шампанское. Так что, согласен, по рукам?

Задумался я... Жаль брата стало — сердечник, без рыбалки жить не может, возил его до сих пор еженедельно на речку.

А он дальше соль на живые раны сыплет:

— Не ты один в такую ситуацию попадаешь. Когда-то был царь, Одиссеем называли. И женушка у него была, Пенелопа. После государственной службы домой усталый возвращается, а Пенелопа со служанками лясы точит о богах олимпийских. Он ей — слово, а она ему, богами олимпийскими озабоченная, — три в ответ. Так и у тебя получалось. Какой тут ужин?.. Терпел он, терпел, а потом команду таких же, как и сам, страдальцев, собрал и в море подался. Это потом говорить начали, что он золотое руно поплыл искать. Но, поверь мне, все иначе было. Заодно он и Пенелопу решил проучить, проверить, верна ли она ему. И вот, когда он поплыл, когда к ней сваты со всех концов мира поперли, когда горюшка тяпнула, тогда и узнала, что потеряла...

Подумал: «Одиссей не побоялся царство потерять, а мне что терять?»

Говорю:

— Так и быть, когда пройду тесты, да и все остальное, машину не трогай, объявления не вывешивай. Ты лучше слух пусти, что меня в шпионы завербовали. Я ключи от машины и документы на нее брату оставлю, а ты вместо меня будешь с ним на рыбалку ездить.

Опять он глянул на меня, прямо в глаза, усищи пальчиками распрямил — на таракана стал похож. Взглядом своим, как шилом, сердце пронзил и говорит:

— Подумай. После, когда расписку дашь, будет поздно.

А меня как черт понес, человек горячий:

— Вызывай на собеседование!

Что ж, назавтра приехали ко мне на работу, переговорили о чем-то с начальством, пригласили меня в черный автомобиль с тонированными стеклами, увезли к себе в здание, на двери которого никаких вывесок нет. Завели в какой-то кабинет, где тяжелые шторы на окнах. За стол посадили. На столе, как и положено, — три телефона, графин с водой, стакан, монитор. Начали разговор. Двое со мной говорили, а третий, в темных очках, в шляпе, надвинутой на самые глаза, сидел в углу кабинета и молчал — не советовал, не спрашивал. Покосился я на незнакомца и — вздрогнул... Это же он, тот дружок, с которым когда-то на рыбалке познакомились, который вчера сватал меня на дело серьезное. Очками прикрылся, шляпой, на глаза надвинутой, но — усы, усы торчали все те же — как у таракана... Лицо, как говорил один мой друг, никакой биографией, никакими документами не прикроешь...

Второй друг, интеллигент по происхождению, то же самое говорил: «Гены пальцем не прикроешь». Этот друг очень гордился своими генами, доставшимися ему от деда. Он в какой-то секретной лаборатории изучал гены и мемы. Что такое мемы — не знаю. Только сядем за стол, выпьем по рюмке, он и начинает задумчиво:

— Если бы вы знали, ребята, что такое гены и мемы... Они же, может, самостоятельные. Они нами управляют лучше всякого начальства, передаются от одного человека к другому. Они, может, — и тут он обязательно палец вверх поднимал, — хотя и невидимые, но составляют суть жизни... Вот, сами посмотрите...

После этих слов он доставал фотографию из кармана и нам показывал. На ней дед бородатый красовался. Как и дед, друг тоже бороду отпустил... Похо-

жи они были как вылитые. Особенно бородами... Показав нам фотографию, друг обычно говорил:

— Мой дед когда-то самостоятельный был, три жеребца в хозяйстве у него было, овец загон — хозяин был настоящий... После раскулачили, рухнуло все... Но, как ни подумай, гены его свое дело сделали — вот, видите, хотя лошадей у меня и нет, но ведь и я не пропал, сам в люди выбился, кандидатскую слепил, в науке не последний человек... Давайте, ребята, за гены рюмку поднимем... Их пальцем не раздавишь...

После таких заявлений нам ничего не оставалось, как с другом согласиться...

Однако вернемся к моему секретному заданию. Конечно, я и виду не подал, что знаком с усатым. Да и он сидел молча, будто не знал меня.

А может, надеялся, что не узнаю его?

Собеседники серьезные попались, не охламоны, при галстуках, но и я не лыком шит. И они как раз тем же интересовались, чем и я в свободное от работы время. Только тут до меня дошло, почему на меня пал выбор. Деликатненько они подводили разговор к главной теме, пока я не ляпнул:

— Да что вы все крутите-мутите?.. Вы думаете, я ничем, кроме работы, не интересуюсь, не читаю ничего? Я не только неземными цивилизациями интересуюсь, а даже и о виванах летающих знаю...

У них и рты открылись. Конечно, где им о тех виванах знать, у них своей работы хватает.

— А что это такое, виваны? — спрашивают.

Ну, я и давай им объяснять, что такое виваны. Заодно и о богах космических рассказал, которые некогда на земных девушках женились. У меня такие папки собраны, такие вырезки из прессы, что им и не снилось. Они и не знали, что я самостоятельно вел расследование о внеземных цивилизациях еще с тех времен, когда о них в открытую говорить боялись, на кухнях за бутылкой перешептывались, да и то — с опаской... Многое я им объяснял...

Переглянулись эти двое между собой, покачали головами — видимо, подумали, что я им подхожу. Тогда один из них и говорит:

— Что ж, пиши расписку.

И тут же подсунули чистый лист бумаги. Ручку в руки сунули. Да не обычную шариковую, а какую-то специальную, с зелеными спецчернилами. Видимо, чернила эти ничем вывести нельзя. На черненьком корпусе ручки золотая гравировка вязью была выведена: «Для секретных расписок».

Красивая была ручка.

На белоснежной мелованной бумаге я и начал писать:

«Расписка

Я, Базыль, родом из Житива, клятвенно обещаю после сегодняшнего дня хранить вверенную мне тайну, в которую меня посвятят...»

Только я размахнулся, чтобы расписать свои будущие обязательства и вечные клятвы, как тот, в темных очках, который молча сидел в углу кабинета, сказал:

— Не только нашу, но и общечеловеческую тайну...

Тут я и поперхнулся... Воды попросил в стакан налить... Переписал, как мне подсказали, ту расписку, отдал им белоснежную бумагу с зелененьким текстом, а красивую ручку незаметно в карман пиджака положил. Думал, на память останется. Ан нет, — очкастый, хотя и был мне другом, все заметил, говорит:

— Ручку, ручку на место положи...

Пришлось отдать. Ну, думаю, вот где настоящие дела ведутся...

Так все и завертелось. Прошел тесты разные: и на сообразительность, и на психологическую устойчивость, потом спецкурсы начались, спецподготовка да еще — молчание вечерами, когда красотуле своей ничего не мог ни сказать, ни объяснить.

Парни из спецорганов, те, что под утро домой к своим красавицам возвращаются и ничего в свое оправдание не могут сказать, хорошо знают, на что намекаю... Оправдывая себя, вспоминал царя Одиссея: подожди, подожди, красавица моя ненаглядная, вернусь героем, тогда все тебе припомню, до последнего твоего словца, которым ты меня ругала.

Когда все решилось, с коллегами по работе по-человечески попрощался. Само собой — отвальную организовал. Застолье было хорошее, говорили обо мне слова теплые. Скажу по секрету: если хотите услышать, что будут говорить о вас на ваших же похоронах — организуйте отвальную... Одна женщина даже стишок мне посвятила. Она недавно в соседний отдел пришла, видимо, разного обо мне наслушалась. Может, и видела меня, веселого, когда ребятам анекдоты рассказывал. Встала из-за стола, заставленного едой и питьем, листочек из сумочки достала и, раскрасневшись от волнения, звонким, как колокольчик, чистеньким, не прокуренным голосом сказала, время от времени поглядывая на меня:

— От имени нашего отдела я посвящаю вам стихотворение.

В последнее время люди почему-то стихи начали сочинять. Везде, на гулянках разных, только и слышишь: «А теперь я вам стихотворение прочту. Сам сочинил...»

Начало ее стихотворения и сейчас помню:

Базыль, Базыль, в краях далеких
Ты про друзей не забывай.
Девчат красивых, синеоких
Ты там почаще вспоминай.

И дальше в этом стишке какие-то намеки были на предстоящую встречу, на которой расскажу, где бывал и что видел...

На работе слухи пошли, что меня в шпионы завербовали. Одни говорили, что под прикрытием посольства буду работать, другие, что в глубокую резидентуру запускают. И все почему-то жалели меня.

Смотрел я на эту раскрасневшуюся поэтессу и тоже жалел... И думалось невольно: вернусь, синеокая, тебе первой о шпионстве своем расскажу, темными вечерами в самое ушко шептать буду.

Ну, а потом мои будущие похороны танцами и песнями сменились. Ох, и скакал же я на тех танцах! Хорошо мы пели:

Ой, седой конь бежит,
Под ним земля дрожит.
Ой спонаравилась,
Ой спонаравилась
Мне одна девушка...
Не так та девушка, как ее личенько...

Как это здорово: петь и чувствовать сладкое единение с хорошими людьми, его, может, только через песню и почувствуешь! Ведь что еще, скажите мне, помимо народных обычаев и народной песни нас связывает и может объединить?

Затем к брату-сердечнику подался. Секретов не раскрывая, рассказал, что к чему и с чего все началось.

А он тоже в горячей воде купаный — тут же со своим советом:

— Разводись, если так допекла! И — делу конец, и никуда уезжать не надо!

Подумал я и говорю:

— Если каждый мужчина начнет разводиться после семейного скандала, ты даже и представить не можешь, что будет твориться на свете. Такая наша мужская доля.

— Какая доля? — вытаращил глаза брат.

— Терпеть женские выходки до конца своих дней. Они же без слез и скандалов не могут жить, они как-то по-другому мыслят... И беды все начинаются, когда мы, мужчины, думаем, что женщины такие же, как и мы, когда к своим делам стараемся их приучить... Не надо этого делать, они просто — другие, совсем по-другому думают. Мы, мужчины, если что надумали — тут же и принимаемся за дело: работаем изо дня в день, глаза к звездам не поднимая, молотка или топора не выпуская из рук. А они что делают обычно? Они и не думают браться ни за какое дело, прежде всего придумывают, как бы нас скорее к своим рукам прибрать. А дела им наши — как попу гармонь нужны... Вот поэтому они слезами нас донимают, ежедневно на себя новые кофточки натягивают, помадятся, как могут, подкрашенными глазками берут нас в плен. Вот так они свое дело сделают, а потом уже командуют нами как им вздумается...

— Тебя и обуздает... — сомневается брат.

— А-а, чего, — успокаиваю его. — В хорошие и мягкие ручки я всегда готов отдаться... Короче, того в темных очках из спецорганов помнишь?

— Помню, — откликается брат. — Юркий он очень. Он то под нашего крестьянина косит, то под европейца... С каждым человеком по-разному говорит...

Ключи от машины на стол кладу:

— Он позвонит тебе, позовет на рыбалку. Пока меня не будет — ездите. Вот там, на рыбалке, ты его и воспитывай, приучай к слову родному.

— А как же без него, слова родного, обходиться? Без обычаев своих и народ исчезает, в население превращается... Ты что, не знаешь, что слово — не звук пустой? Неужели не знаешь, что слово на генетический код человека влияет? Как и вода, так же слово человека как лечит, так и калечит. Это не я, а ученые доказали. Люди об этом и без ученых знали, когда над водой шептали свои заклинания и водицей заговоренной деток лечили... О-о, мы еще не знаем толком, что такое — слово, язык родной... Как думаешь, почему так сложилось, что у каждого народа язык свой?.. Как только язык исчезает, так и народ тут же исчезает... А-а, что тебе, балбесу, объяснять!..

Глаза прячет и глуховато:

— Вечно тебя заносит, как тех ивановских придурков.

Об этих водилах из знаменитого Иванова я как-то брату рассказал.

Пришлось с ними ночевать на трассе. Остановились за городом. Машины рядом поставили, костер развели, ужин готовить начинаем. Смотрю, один под «КамАЗ» полез ни с того ни с сего, кардан начинает откручивать. «Зачем?» — спрашиваю. «Подопью — поеду», — отвечает. Второй молчком у костерка сидит. Поужинали. Само собой — по рюмке выпили. Спать пора укладываться. Этот, который кардан открутил, в машину залезает, заводит и газовать начинает на всю катушку, рулем крутит, сигналит время от времени —

едет... Второй куртку натягивает. «Ты куда на ночь глядя?» — спрашиваю. «Пойду похлопочу», — отвечает и в темноте исчезает. Сижу у костра, звезды в небе считаю и не знаю, что делать. Один — газует, второй — черт знает где... Наконец через час второй возвращается. С фингалами, в синяках, избитый на яблоко горькое... Подходит к машине, кабину открывает и говорит первому: «Тормози, приехали...» И действительно, первый машину глушит, спрашивает: «А ты похлопотал?» — «Похлопотал», — отвечает второй. «Ну, тогда спать давай укладываться...»

Смотрю на брата и — не до смеха мне. Исхудавший после операции на сердце, он никуда особо не может пойти, и для него рыбалка сейчас — единственное избавление от этого ужаса холодного, который неожиданно ни с того ни с сего накатывает на всех сердечников. По самому краешку жизни ходит. И что думает он, чем утешает и оправдывает дни прожитые?

И он еще куда-то лезет... Здесь здоровье лошадиное нужно иметь...

Глядя на ключи от машины, брат все так же негромко, на меня глаз не поднимая:

— Дома сидел бы, горя не зная...

— Ничего, все в жизни познать надо, — отвечаю и в окно смотрю. А там во дворе в песочнице мальчик лет трех играет. Рядом на лавочке мама сидит, газету читает. Время от времени глазками туда-сюда стреляет. Ногтики на ножках крашеные, причесочка, фигурка — все как положено. Такие красавицы годика три как посидят с малышом в своей квартире, потом голодными тигрицами на улицу вылетают... Ничего, — повторяю брату, — все в жизни познать надо. Мой дружок в шестьдесят женился на двадцатилетней.

— Ну и как, нажился? — за спиной слышу.

Вспоминаю анекдот про пожар, испепеливший и дом, и сарай — все дотла, и хозяина, который, на пепелище стоя, хвастался соседям: «Но ведь и мыши сгорели...»

И говорю:

— Зато свадьба была хорошая. Я на той свадьбе был. Два дня пел, плясал, ноги отбил... На всю жизнь запомню... Молодой на свадьбе деревянную скалку подарил. Показал, как пользоваться... Что с нее возьмешь, — неопытная еще, неумеха... А скалка подходящая. Ударишь один раз по глупому лбу — две недели синяк не проходит...

— Скалка хоть целой осталась?

В другой раз рассмеялись бы...

А теперь — нет... Глянул на брата. Насупился, как еж, приуныл. И так — метр с кепкой, а теперь, кажется, еще меньше стал. И так защемило в душе, так стало жалко такого худого, который без машины никуда не сможет выбраться, ни на речку, ни на озеро, так как сил не хватает таскать на себе рыбацкие снасти. Тут уж и я глаза спрятал и ушел.

Как вор, укравший чужое счастье.

Когда со своей красавицей прощался, сказал ей, наконец, что отбываю на задание, она расплакалась, оправдываться начала, вспомнила про эти сериалы, говорила, что сейчас до конца дней смотреть не будет. Обняла меня, Базылёчком родным стала называть и шептать начала, что когда-то шептала... Если бы не эти ее слезы, то я, может, и гоголем подался бы на улицу, а так в груди начало покалывать. И как-то по-другому стал смотреть на бестолковую, в чем-то несчастную хлюндру житивскую, которая, как и многие женщины, одно только и видела: днем — работу на бездумном конвейере, а вечером — неубранную квартиру, белье, кухню с вечно немытыми тарелками. Изо дня

в день одно и то же городское... И еще, как счастье единственное — сериалы. А я их, болван, надумал было запретить ей смотреть. И так стало жалко ее.

— Ничего, потерпи немного, вернусь, и мы в лес за ягодами сходим, а может, и за грибами, — примирительно и даже виновато сказал.

А что еще мог сказать?

Что расписку дал?..

Что при спецзадании вход есть, а выхода...

Из квартиры вышел, а в глазах все еще стояли седые прядки ее волос, набухшие вены на руках. И запах... Привычный молочный запах ее тела перебивал все...

2

Который год на околоземной орбите велся монтаж первого в истории человечества звездолета. Раз за разом стартовали с космодромов засекреченные номерные ракеты. Они по частям доставляли на околоземную орбиту все то новейшее и сложнейшее, что могло разогнать звездолет до тех невероятных скоростей, при которых время на нем начинало замедляться: ионный двигатель, солнечный парус, компьютер самообучающийся, посадочный модуль...

Скептикам же, все еще сомневающимся в правдивости моих приключений, могу и формулу привести — ее на спецкурсах мне показали. Вот она:

$$T=\frac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

В формуле этой при большой скорости — буковка V — время на звездолете — буковки Т ноль — будет замедляться по сравнению с обычным временем — буковка Т, — в котором будет жить она, красавица моя ненаглядная.

Вы, скептики и неверующие, спросите ученых мужей, и они подтвердят вам, что я — не лгун, что все вышеприведенное называется парадоксом близнецов.

Сегодня могу сказать, чем была вызвана такая засекреченность первого в истории человечества полета к звездам, до сих пор недостижимым. Хотя, казалось, все должно быть наоборот: вот и настал тот миг, когда человек с земной колыбели вышел по-настоящему и впервые под солнечным парусом, разогнанный ионным двигателем, направляется к звездам — радуйся, радуйся, человек... Ан нет, сверхсекретность понадобилась.

В последнее время на Земле резко участились различные катаклизмы: землетрясения, цунами, тайфуны, невероятные многодневные ливни и тут же невиданные холода — все обрушилось на человечество. Стремительно таяли вековые ледники, снежные полярные шапки за десятилетия уменьшились на треть, Гольфстрим — океаническое течение — менял направление, а это означало большое оледенение всей Европы и Англии, не говоря о странах Скандинавии.

В земной атмосфере тоже черт знает что творилось. То в Африке, то в Мексике — всюду появлялись летающие тарелки. Пошли слухи, что военные летчики, которые пытались сбить эти тарелки, тут же начинали страдать от непонятных болезней, благо никакие ракеты те тарелки не могли достать, так как они, тарелки, мгновенно разгонялись и так же мгновенно останавливались, были видимыми и невидимыми.

Людей днем и ночью беспокоили загадочные полтергейсты: предметы двигались сами, в пустых комнатах слышались голоса, открывались краны, и вода из них ручьем лилась, огонь ни с того ни с сего вспыхивал, и одежда горела на живых людях — страхи какие-то начались, а мужи ученые — как воды в рот понабирали, ничего не могли сказать.

Появились люди, которые утверждали, что у них в головах звучат какие-то голоса, дают команды... Некоторые говорили, что их неизвестные существа к себе на летающие тарелки брали и там над ними опыты проводили. Конечно же, этих, у которых голоса в головах звучали, тут же в дурку отправляли, лечить начинали, да толку мало было, так как действительно — может, те люди и не виноваты были?

Ученые мужи выступали с различными гипотезами. Одни заговорили о губительном парниковом эффекте — его человечество создает своей деятельностью. Вторые — об очередном эволюционном этапе, который неизвестно чем закончится. Может быть, даже и машинной цивилизацией, а ей человечество не понадобится. Дескать, если кто и останется в живых в той цивилизации, то будет бесправным рабом, обслуживающим роботов и машины мыслящие. Третьи выдвинули гипотезу, что Земля — живой организм, вроде клетки...

Как это всегда бывает в ученом мире, пылкие споры разгорелись по поводу последней гипотезы. И правда, если согласиться, что Земля — живой организм, который думать может, то что же тогда получается? Тогда кто такой человек? Ради чего и зачем он существует на Земле?..

О-о, сколько хитроумных вопросов появляется, если согласиться, что Земля — живой организм! Скажу сразу: не берусь решать эти вопросы, вам их оставлю...

И вообще, как думается мне, в последнее время люди многое узнали, — и правилами, и законами себя оплели, гордыми стали, — а между тем что-то выветрилось из их душ...

Да не буду, не буду долго рассуждать про необъяснимое, что на человечество надвигалась со всех сторон. Про это вам расскажут политики и философы умные. Они же, политики и философы, ежедневно выход подсказывают, когда по телевизору советы дают. Я же добавлю только, что у некоторых ученых созрела мысль, будто летающие тарелки и земные катаклизмы имеют между собой определенную связь. Примерно в это же время ученые из СЭТИ — международная организация, которая через телескопы неземной разум постоянно ищет в просторах космических, — зафиксировали из дальнего космоса сигналы искусственного происхождения.

Специалисты тут же занялись расшифровкой этих сигналов. В средства массовой информации, как вы хорошо помните, просочилось сообщение об этих загадочных сигналах. Но чтобы успокоить людей и не создавать лишнего ажиотажа, тут же была запущена деза — мол, никаких искусственных сигналов нет, ошибочка вышла, вместо них открыли очередной пульсар...

Как ни крути, но получалось, что человечество стоит на пороге прямых контактов с неземными цивилизациями.

Вспомнились мифы разных народов, где говорилось о пришествии и нашествии с небес неизвестных существ. Вспомнились представления о колесницах огненных, что в небе тысячелетия назад летали, и откуда на землю огненные стрелы летели. Рисунки наскальные и изображения в пещерах подземных вспомнились: на них отчетливо просматривались как существа в скафандрах, так и сами космические ракеты. Пророки и предсказатели вспом-

нились — и Нострадамус, и болгарская Ванга. Да и те же тексты библейские совсем по-другому начали читаться, совсем другой смысл в них стал открываться.

Первыми за тему неземных контактов ухватились кинорежиссеры — люди боевые и цепкие, которые всегда стоят во главе нового прогрессивного мышления. В своих гениальных оскароносных фильмах и мультфильмах они понемногу, постепенно начали готовить растерянное человечество к долгожданной встрече... Здесь предлагались разные варианты, — и оптимистичные, и пессимистичные. Насмотревшись тех фильмов со спецэффектами, многие зрители в растерянности сами себе не могли сказать, где — реальность, а где — киновыдумка...

Вообще, если речь зашла о кинорежиссуре, то заодно стоит вспомнить и о телевидении...

Так случилось, что без телевидения, где хозяйничали политики, хохмачи и кинорежиссеры, люди уже и света не видели. Они ежедневно только тем и интересовались, как жили-были политики, десять хохмачей, что с телеэкрана не сходили, кино- и телезвезды разного пошиба.

Так вот, как раз тогда был срочно запущен секретный проект строительства звездолета. Ждать беду на Земле не было смысла, надеяться на сладкие режиссерские сказочки также не стоило, надо было самим направляться к планете Дзета, откуда земляне принимали сигналы искусственного происхождения. Можно только представить, что начнется на Земле, когда нечисть космическая на нее обрушится. Тут уже никакой Бэтмен, никакие супергерои не помогут.

3

Не буду утомлять долгим описанием межзвездного путешествия, благо, его и не помню — был летаргический сон, закончившийся, когда звездолет приблизился к планете Дзета, посылающей сигналы искусственного происхождения. Автоматизированная система в нужное время разбудила меня, я сразу же перебрался в посадочный модуль, который отделился от звездолета и начал снижаться к поверхности планеты.

Как только посадочный модуль окутался белоснежными облаками, сразу же — поверите ли? — откуда ни возьмись возле него появились блестящие летающие тарелки. Окружили. Почти так же, как мотоциклисты в шлемах окружают лимузины политических деятелей, которые время от времени с мигалками и воем проносятся по городским проспектам. Я напрягся — неужели в плен берут?

Через иллюминаторы модуля смотрел вниз. Под облаками открылась мне красивая планета, как на ладони показалась — зеленые равнины, высокие горы, на вершинах которых белели снежные шапки. С гор в равнины стекали речки извилистые. Я увидел разбросанные по всей планете пирамиды, упирающиеся вершинами в облака. Я начал осмысливать: а не здесь ли спрятана загадка наших земных пирамид? Они же как две капли воды похожи на наши. Только эти, неземные, намного больше. А на вершинах пирамид имелись огромаднейшие километровые круглые блестящие купола. Что это были за купола, зачем они? Может быть, — подумалось, — это те сверхмощные антенны, через которые к нам на Землю передаются сигналы?.. От пирамиды к пирамиде летающие тарелки планировали, то мчась низко над

землей, то устремляясь ввысь. Тарелки выглядели так же, как и те, которые окружили мой посадочный модуль. На равнинах повсюду виднелись поля и леса — они были разделены на правильные прямоугольнички. Через увеличительное стекло иллюминатора начал я пристальнее всматриваться в поля и леса. И увидел — не поверите, — что на полях растет кукуруза, пшеница колосится, а все то, что за леса принимал, было финиковыми, оливковыми рощами...

Тогда и мне открылась тайна происхождения на Земле кукурузы, пшеницы, лечебных фиников и оливок, — как слышал от ученых людей, не могли они сами по себе на Земле появиться — генетика у них другая, неземная... Как ученые говорили, были кукуруза и пшеница пищей богов, прилетавших из космоса на Землю: они некогда темное человечество понемногу просвещали, тайные знания людям передавали, настолько важные и тайные, что их могли знать только жрецы египетские. Поэтому рабы под руководством жрецов египетских и смогли построить пирамиды загадочные, секреты которых и по сей день никто не может разгадать. Вот так-то... Ясненько мне стало, откуда к нам те боги прилетали когда-то... Может, даже и тайна пчелок трудолюбивых, коллективным разумом живущих, здесь скрывалась? Да и только ли одни пчелки коллективным разумом живут... А муравьи, что в миллионные колонии собираются, а птицы, а звери, повязанные невидимой связью между собой и живущие мирно? Вот где — мне стукнуло — откроются тайны многие, вот почему мне расписку предложили написать... По всему было видно, что на этой планете — как уже говорил, она Дзета называлась — какие-то разумные существа свою деятельность вели. Повсюду — на равнинах зеленых, в огромнейших горах имелись километровые ямы. Одни ямы были пустые, а в других — машинами землю разрывали. На лентах конвейерных со дна ям наверх земля выносилась и тут же в закрытые строения подавалась. В строениях трубы высоченные торчали, из них белесый дым сеялся. От пирамид высоченных гладенькие и ровненькие дороги разбегались во все стороны, по ним машины бегали... Присмотрелся и удивился: умненькие были те неземные существа, потому что машины их не просто так по дорогам бегали, от пирамид они непрестанно вывозили что-то к пустым ямам. Видимо, сбрасывали отходы деятельности своей. Мусор сбрасывали, — что тут говорить... У нас мусор сбрасывают за городами в горы высочайшие, а они, ишь, умные, в ямы сбрасывали...

Помимо полей и лесов я море увидел — белопенная полоска вилась вдоль берега... По морю их громаднейшие корабли плавали. Еще там, в море, на сваях толстенные сооружения высились, из труб высоченных в небо дым клубился.

Но как ни присматривался, никаких живых созданий ни на равнинах, ни в лесах, ни на полях я не увидел.

Неожиданно услышал голос в своей голове...

«Ну вот, теперь, если живым вернусь, и я в дурку загремлю», — это было первое, что подумалось.

Но знал я, что не сумасшедший, благо тесты на психологическую устойчивость прошел.

Услышал я голос неземного существа. Голос очень напоминал левитановский бас, который некогда передавал важные тассовские сообщения:

— Привет тебе, посланник дальнего разума. Сейчас мы направим твой посадочный модуль на площадку, где сможешь опуститься. И впредь, чтобы тебе было удобнее, доверься нашим действиям и рекомендациям.

Конечно, я был подготовлен к различного вида контактам, при мне даже и оружие имелось, как индивидуальное, так и общекорабельное, с мощным энергополем. Оно оберегало мой посадочный модуль от кого и чего угодно, но только сейчас я понял, что все начинается совсем иначе, чем представлялось. Да и каким образом я мог противостоять этому левитановскому басу, который сам по себе в моей голове хозяйничал?

Тут же кнопки на пульте управления модуля сами, безо всякого моего участия, пришли в движение.

«Полтергейст, — мелькнула мысль. — И тут он завелся, не только на Земле хозяйничает...»

Под управлением невидимого полтергейста посадочный модуль стал стремительно спускаться к поверхности планеты Дзета. Вместе с моим модулем опускались и летающие тарелки. Бетонная площадка показалась. На нее и опустился мой модуль посадочный. Летающие тарелки не отставали — низенькие, окружив меня, они зависли над площадкой. Одиннадцать штук их было, ровно одиннадцать, как сейчас помню.

Затем под тарелками появились подставочки, по три штуки в каждой, на эти подставочки они и опустились. В каждой тарелке открылись снизу доселе невидимые дверцы, и оттуда лесенки показались...

О ком вы сейчас подумали?

Правильно, правильно вы подумали — показались они, знаменитые гуманоиды, которых вот уже сколько лет человечество встречало на Земле.

«Столько людей ни за что в дурку запрятали», — опять почему-то подумалось мне о тех несчастных, которые правду хотели донести. Были гуманоиды разные — наши земные свидетели не лгали, — и высокие, метра под три, худые, плоские, долговязые, и маленькие, не больше метра, пузатенькие карлы, о которых так часто писала земная пресса и которых облюбовали вездесущие кинорежиссеры. Головы у них — и без меня знаете — были овальные, чем-то напоминали яйцо куриное, глазки узковатые, выпуклые и немигающие. Вместо ушей и носа — какие-то дырочки у них были.

И еще я смикитил — лапки и ноги их были гибки, как шланги резиновые, водой заполненные. Цвета гуманоиды были разного, карлы — зеленоватые, а долговязые — землисто-серые... И еще заметил — как только долговязые ко мне боком становились, их едва было видно, слишком уж худыми были... Все — и карлы, и долговязые — как только из своих тарелок выбрались, сразу же окружили мой посадочный модуль, уставились на него.

Шлюзы посадочного модуля сами по себе открылись, — как человек сообразительный, я догадался, что снова полтергейст сработал, — и хочешь не хочешь, а пришлось идти к этим нечеловеческим созданиям. Конечно же, перед этим бортовая автоматизированная система проверила атмосферу Дзеты — оказалась она такой же, как и на Земле. И тут я понял, почему эти создания нашу землю облюбовали...

Только показался на трапе посадочного модуля, как гуманоиды лапками на меня начали показывать, за головки хвататься — пожалуй, я им очень неприятен был.

Поверьте, они мне тоже не ангелами показались.

Почему-то вспомнил белорусочек наших, самых красивых во всем мире: в юбочках коротеньких, в платьицах приталенных с длинными разрезами, ноженьки приоткрывающими, в кофточках легоньких... И как искоса, при необходимости, они умеют в глаза заглянуть — да сердце пронзить током сладким, и тогда уже — так получается — разум теряешь и щебечешь, щебе-

чешь черт знает что, а они из тебя тут же веревки вить начинают, и веревками этими душу твою пеленают...

И впервые сомнение прорезалась: а стоило ли сюда переться, чтобы на эту гадость любоваться?

Спустился с трапа, вдохнул сухой, с каким-то хлорно-больничным запахом воздух — с непривычки аж голова закружилась — и увидел, как от группы отделился крохотный, с метр ростом, зеленоватый пузатенький гуманоид и направился ко мне.

Я остолбенел, вспомнив инструкции и рекомендации по поводу контактов с другими цивилизациями: не приближаться без надобности к неземным существам, не делать перед ними резких движений, первым на контакт не идти, оружие иметь при себе, но опять же — без надобности не применять его... Хотя, о каком оружии могла идти речь, если эти карлы и долговязые напрямую свои мысли в мою голову передавали?

Опять в голове своей услышал голос неземной. Но на этот раз это был не тот левитановский бас, нет... Это был обычный человеческий голос, какой-то даже ласковый, — таким голоском обычно женщины приглашают в дом желанного гостя: заходите, дорогой, уже стол для вас накрыт...

Догадался, что сейчас со мной от имени жителей Дзеты пузатенький карлик говорит:

— От имени жителей нашей счастливой планеты Дзета рад поздравить вас с прибытием. Надеемся, что ваш визит будет полезен и вам, и нам. Сразу же успокоим — после карантинного срока, если пожелаете, — можете остаться у нас навсегда, а не захотите — на Землю вернетесь, благо, как вы догадались, контакты с землянами у нас есть.

«Ничего себе заявочки, — подумал я, — чтобы мне здесь оставаться?.. Выполнить бы график обследования, а там — ноги в руки и...»

Так думал я и смотрел во все глаза на зеленоватого пузеню, на других созданий, которые на меня вылупились и головами крутили да размахивали гибкими лапками.

Никаких других звуков я не слышал, как будто находился под водой, только ласковый голосок звучал в моей голове:

— Просим вас не удивляться очень. Многое из нашей жизни в начале покажется вам странным, невероятным даже, но потерпите, поразмышляйте — для этого вам и дается карантинный срок, — а потом будете сами выбирать, где и как жить, а значит — сможете выбрать свою судьбу.

Перебирая гибкими ножками, крохотный карлик совсем близко ко мне подошел и лапку подал. В голове своей я услышал голосок:

— Познакомимся, товарищ, младший брат по разуму.

Посмотрел я на гуманоида, на эту зеленоватую лапку — была она трехпалой, узкой... Заколебался: а вдруг своей лапкой он меня заарканит или через нее наградит какой заразой? И, была не была — взялся за ту холодноватенькую мягкую лапку. Ничего, жив остался... Никаким током меня не шарахнуло... И в то же время ласковый голосок в моей голове дальше звучал:

— Еще раз приветствую вас лично, младший брат по разуму. Как вы догадались, мы можем обмениваться информацией как через воздух, так и телепатически. Сами видите, мы с вами установили прямой телепатический канал связи. Вначале вам будет нелегко с нами общаться, но мы очень постарались: специально усвоили ваши выражения, ваш, так сказать, стиль и образ мышления. В любое мгновение, когда вам захочется чего-нибудь, ясно и четко скажите об этом себе мысленно или вслух, и ваше желание тут же исполнит-

ся. Все это похоже на сказку, но вы сами увидите, что сказку на нашей счастливой планете мы давно сделали явью. Кстати, без всякой мистики, а всего лишь — благодаря прогрессивному мышлению...

Ждал я чего угодно, но вот такого варианта никак не планировал — чтобы какой-то голос в моей голове о каком-то счастье трындел, а я сделать ничего не мог...

— Пить хочу, — пробормотал я пересохшими от пережитого губами.

И тут издалека-издалека как будто послышался шум волн морских, и в шуме этом прорезались отдельные голоса:

— Есть контакт... Есть контакт... Он хочет пить... Подать ему пить...

Долговязые и карлы головками еще больше закивали, подняли лапки кверху и начали ими махать — видимо, как-то поняли или почувствовали — откуда мне знать — просьбу мою.

Пузатенький от меня отвернулся, глядя на толпу гуманоидов, ту лапку, которую только что мне тыкал, вверх поднял, — полагаю, он был старший или начальник какой-то. Шум сразу же затих. Затем он опять повернулся ко мне, заглянул в глаза. Послышалось ласковое:

— Что будете пить?

Как говорил друг перед свадьбой, когда женился на двадцатилетней, дела, дела начинались...

Представьте себя на моем месте: вот у вас секретная расписка, секретное спецзадание и спецподготовка, долгий летаргический сон, напряженное ожидание неприятностей, ответственность перед человечеством, а тут на тебе — и голоса в голове звучат, и эта прохладная лапка гуманоида, которую я только что в своей руке держал... Если бы это сон был, то — можно понять, а тут — самая что ни на есть реальность... Один, друзей близко нет, поддержки не от кого ждать. Что будешь пить — спрашивают...

И тогда я заказал...

Правильно, вы правильно подумали насчет моего заказа.

4

Опомнился в комнатах, напоминающих гостиничный номер. Все имелось: и ванна, и туалет, и отдельная комната со столиком с непонятными блюдами, и еще комната, где одна стена была блестящей и матово-серой, а перед ней стоял стул. Сообразил я — видеоэкран.

И еще смекнул, что гуманоиды начинают со мной какую-то игру, и мне ничего не оставалось, как подчиниться их правилам. Пока выбора у меня не было.

Умывшись, зубы почистив, перекусив яствами неземными — это были то ли каши, то ли пюре, непонятно из чего приготовленные, их даже и жевать не надо было, — я сразу же прошел в комнату с матово-серой стеной. Только сел в кресло, как засветился экран и на нем появился уже знакомый мне пузатенький гуманоид. Это был не обычный, а стереоэкран, возникло ощущение, что живой гуманоид маячит перед глазами, ротик его то открывается, то закрывается...

Он находился в какой-то комнате, напоминающей телестудию. И так же, как в телестудии, кто-то невидимый — оператор или режиссер, не знаю, как назвать его, — начал с гуманоидом всякие фокусы вытворять: тот становился то маленьким, то огромным во всю стену, то ни с того ни с сего блестящие глазки свои ко мне приближал, и тогда меня ужас охватывал...

Пускай бы все делалось по-человечески, пусть бы гуманоид ко мне в комнату зашел, за столик сел и разговор со мной начал. Так нет же — он, казалось, был рядом, и в то же время — не было его, каким-то неуловимым становился... И тогда подумалось мне, что не гуманоид главным был заводилой при знакомстве со мной, а все те невидимые операторы и режиссеры, делающие его то большим, то маленьким.

Видимо, и в земной жизни что-то подобное творится. Может быть, даже и политики всего лишь куклами являются, которые чью-то волю выполняют, когда по телевизору интервью дают, на различные симпозиумы ездят и делают заявления...

Гуманоид поднял лапку вверх и, глядя на меня круглыми глазами, сказал:

— Приветствую вас снова. Сегодня начнем знакомиться с нашей цивилизацией. Я устрою вам цикл познавательных лекций. На экране кое-что увидите. Ничего от вас скрывать мы не собираемся, потому что вы для нас — гость желанный. Перед отправкой в межзвездное путешествие о нас, гуманоидах, вам говорили много глупостей, учили опасаться нас. Зачем?

Я смотрел на немигающие прохладные глаза-яйца, на гибкие лапки трехпалые, на щель узенькую, которую, видимо, ртом нужно называть, и понемногу начинал привыкать к этому неземному созданию. Про себя ему даже и фамилию дал — Лупоглазеньким окрестил...

Между тем лекция познавательная тут же и началась:

— Законы природы одинаковы, как здесь, так и там, на Земле вашей. Мы прошли все те стадии развития, что сейчас вы проходите. Все было у нас: и войны между племенами и государствами, и конфликты разные...

Во время монолога Лупоглазенький исчез с экрана, — теперь я смотрел цветные клипы, наблюдал, как большие гуманоиды бились насмерть с малыми, видел поселения их, пылающие огнем... Ощущение появилось, будто я очередной фантастический боевик смотрю. Но я-то знал — никакой это не боевик, а жизнь реальная...

Во время этих мелькающих перед моими глазами клипов я слышал голос гида-гуманоида:

— Настала пора, когда мы придумали фантики. Сразу же у нас стало меньше конфликтов, нам стало легче жить, и вообще, наш цивилизационный процесс перешел в прогресс, начал стремительно развиваться. За фантики можно было купить раба, еду, оружие...

— Так вы о деньгах говорите, — вырвалось у меня. Я же не дурак, чтобы не понять, о чем речь.

— Нет, деньги — это... — снова на экране появился Лупоглазый. — Как вам, земному человеку, лучше объяснить… Фантики были соединены со временем. Знаете, что такое время?

— Конечно... Час, сутки, год — вот вам и пример времени...

— А в философском смысле, в философском? — добивал меня Лупоглазый.

Тут я и руками развел.

— Вот-вот, — почему-то обрадовался наставничек мой, — по секрету скажу, что никто не знает, что такое время.

И тут гид мой на шепот перешел. Сразу же скажу — с голосом гуманоида какие-то чудеса происходили. Как будто он актером был: то шептал ласково, то повышал голос, а то переходил на левитановский бас. Вот и сейчас он мне как бы некую тайну открывал:

— Опять же по секрету скажу, что время имеет неразрывную связь с жизнью. Нет жизни — нет и времени. Если вы были ребенком, вспомните, — сутки для вас целой вечностью казались. А потом, когда повзрослели, годы замелькали как месяцы... Для вас день — одно мгновение из жизни долгой, а для бабочки-однодневки — вечность, в которой она появляется, живет и погибает безвозвратно... Что есть время?.. Время дается вам в ощущениях. При катастрофах разных, если жизнь находится на грани бытия и небытия, время неожиданно растягивается, резиновым становится... Какая-то секунда растягивается в минуты. Кто подобное пережил — век не забудет... Можем ли мы представить время без живого вещества?

Молчал я. Думал.

И о времени.

И о разумном учителе.

А он, тоже помолчав, продолжил:

— Ваши философы утверждают, что время — это форма последовательной смены событий. Правильно я говорю?

Я плечами пожал на всякий случай, хотя форму эту после слов его, скажу честно, никак не мог ни почувствовать, ни представить.

— А теперь, как человек разумный, подумайте: эти события кто-то… — и тут учитель мой лапку вверх поднял и почему-то еще тише зашептал: — Должен фиксировать. А кто он, этот кто-то? Кому дано это право? Вам? Мне? Или, может, бабочке, для которой день — целая вечность? У каждого из нас свое время. Может быть, его вообще нет. Может быть, есть только ощущение чего-то того, что скрыто от нас в будущем и — не больше?..

На это я вообще ничего не мог сказать, даже плечами не мог пожать.

А он продолжал:

— Но не будем слишком философствовать, поразмышляем о времени на реальном примере. Возьмем вашу жизнь. Все вы деньгами пользуетесь. Допустим, вы нынче бедный, это — одно событие. А через неделю богатым становитесь, это — второе событие. И как это может произойти? Какая между этими событиями связь?

Молчу, глазами хлопаю.

— Ну, как не догадаться... Я вам деньги одолжу, и вы — богатый. Так какова форма изменения событий?

Молчу, опять же — только глазами хлопаю.

— Почему вы стали богатым? Потому что деньги получили... Как не догадаться... Между различными событиями новая форма появилась, и форма эта деньгами называется... Все просто. Вы сейчас поняли, что деньги имеют неразрывную связь со временем? Деньги — такая же философская категория, как и время. Без денег, как и без времени, ни одна цивилизация не может существовать.

Темнил он что-то, честно скажу, темнил!

— Подожди, подожди... — сказал я, — не путай одно с другим. Деньги, они вот, — я щелкнул пальцами перед личиком гуманоида, — шелестеть в пальцах должны, а время...

Он посмотрел на меня внимательно, будто впервые видел, — снова в который раз невидимые режиссеры ко мне его глазки приблизили, и тут же у меня ощущение появилось, что помимо этих огромных черных глаз ничего в мире нет, были они как космические черные дыры, всасывающие в себя все живое и неживое, а из себя ничего не выпускающие... И голос его услышал:

— Умный вы человек... Не зря вас сюда отправили... Все правильно, да не совсем... Вот поэтому мы фантики и придумали, чтобы от денег избавиться. Как потом я докажу, и вы сами в этом убедитесь, фантики этим от денег и отличаются, что напрямую связь со временем имеют. Никаких грабительских процентов у нас не было и в помине, мы просто сразу же договорились, что фантики с каждым днем все будут дорожать и дорожать... Поэтому у нас и выражения философские появились:

Фантики — это время.

Время — это фантики.

Все делалось по справедливости, на философской основе.

Научные центры у нас возникли, где изучалась связь между фантиками и временем. Огромные конторы появились, где фантики покупались и продавались. Специальные исследования проводили мы, формулы и законы открывали, с помощью которых, торгуя фантиками, можно было выгоду получить. У вас эта выгода прибылью называется. Об этой прибыли ваши классики-пророки написали толстенные тома.

Деньги — Товар — Деньги, вот как они писали... А между ними прибыль вклинивалась...

— Да не дури ты мне мозги! — не выдержал я. — Про эту прибыль я тебе лучше анекдот расскажу. Один куриные яйца начал варить и продавать по такой же цене, как и сырые. Спрашивают у него: какая тебе прибыль с этого дела? А он: а навар, навар-то кому остается?..

— Не понял я твой анекдот, — сказал мой наставничек. А потом опять его понесло: — Вот так у нас и пошла-покатилась жизнь с фантиками. Гуманоиды приобретали и сбывали фантики, торговали ими. Да не только гуманоиды, но и целые государства наладили торговлю фантиками: богатое государство продавало фантики бедному, а то в свою очередь одалживало их гуманоидам... Все завертелось, как в омуте...

Хотелось мне высказаться по поводу этих фантиков и игрищ с ними, но промолчал — ждал, чем же закончится эта забава.

— С каждым годом фантиков становилось все больше и больше. Наши заводы по их выпуску работали днем и ночью. Каждый гуманоид стремился ухватить как можно больше фантиков, кто с фантиками — тот и пан... Разумеется — работать приходилось, и тут уж — неважно где и чем занимался гуманоид, главное — фантики уметь зарабатывать, вокруг них, как у источника целебного, жизнь бурлила... Новые ценности, новая общепланетная мораль начала вырабатываться у наших гуманоидов, и все это — и мораль, и ценности — так или иначе было связано с фантиками.

Но вот на нашу цивилизацию беда черной тучей надвигаться стала, из-за этих фантиков мироустройство едва не рухнуло...

Сколько было подделано фантиков, сколько краж и убийств из-за них на Дзете нашей совершалось! Ой-ей-ей, большая беда надвигалась на нас! Если честно говорить, то уже никто точно и сосчитать не мог, сколько стало этих фантиков.

Теперь уже Лупоглазый встал в натуральную величину. По комнате расхаживал и на меня искоса посматривал. Всмотрелся я в его лицо и впервые увидел некое подобие улыбочки.

...Или насмешки?..

Уста его восьмерочкой начали скручиваться, а глазки-яйца сужаться...

— И что же вы тогда придумали?

— Листики и браслетики. На то время наша цивилизация достигла вашего уровня. Компьютеры появились, через спутники мы создали единое информационное поле. На листики с помощью компьютеров могли записать, сколько у гуманоида фантиков, от нуля и до бесконечности... Допустим, заработал гуманоид за день десять фантиков — бац: через компьютер информация и заносилась на листик. И опять же, в магазине, например, гуманоид подносил на выходе листик к датчику специальному — бац: пять фантиков как корова языком слизала...

— Да я и сам об этом хорошо знаю, почти то же и у нас было, — махнул я рукой. — Зарплату получишь, и она тут же исчезает, из кармана будто корова языком слизывает... Ты лучше расскажи, зачем вам браслетики понадобились?

Интересная, я вам доложу, беседа начиналась. И что удивительно, все больше своим становился для меня этот гуманоид. Теперь я отчетливо видел, что он улыбается.

А может, и насмехается...

— Вы сообразительный и догадливый человек, — почему-то нахваливал меня Лупоглазенький. — Вам палец в рот не клади... Вы все на лету схватываете. Каждому гуманоиду при рождении мы вешали на лапку браслетик. И — все, все проблемы решались сами по себе, так как все было под контролем. На браслетик мы могли заносить различную информацию: где появился гуманоид, как себя ведет, как учится, какие нарушения, сколько фантиков имеет... Вау, сколько информации мы могли заносить на браслетик! Через околопланетное информационное поле — интернет по-вашему — мы объединили информацию из каждого браслетика в едином суперкомпьютере. И теперь уже, куда бы гуманоид ни пошел, чем бы он ни вздумал заниматься, мы все о нем знали. В туалете покажется, — а нам уже известно... Ни листики, ни фантики нам не понадобились. Допустим, собрался гуманоид отдыхать. Он в спецконтору приходит, браслетик подносит к спецдатчику — ага, нарушений нет, фантики на счету имеет — может отправляться... Приехал он отдыхать на морское побережье, где финики и оливки созревают, а там уже ждут его, под контролем все, живи и радуйся на всем готовеньком, ведь все оплачено: и номер, и напитки разные, и питание четырехразовое — райский стол называется, шуруй к нему, бери, что душа пожелает...

Признаюсь, я чувствовал, что Лупоглазый посмеивается надо мной. Будто над неразумным ребенком. И слова такие находил... Что-то меня настораживало, чего-то он недоговаривал... Но самое удивительное, говорил логично, без запиночки, не придраться.

— Жизнь стала бить ключом, прогресс пошел в наступление. Конторы и заводы по выпуску фантиков и листиков начали закрываться, число чиновников сократилось, взяток не стало. Разные там паспорта, справки — все это компьютер заменил. Жулья стало меньше. Дисциплина появилась, так как все было под полным контролем. А куда деваться жулику — из космоса через спутники и браслетики он был привязан, как на цепи собака... И главное, повторюсь, сейчас никакой писанины, никаких документов не требуется — все-все можно заносить на браслетик и оттуда же, с браслетика, эту информацию в любой миг считывать.

— Так ты покажи мне эти фантики, листики, браслетики.

— А это — пройденный этап, — махнул перед моим носом лапкой гид или наставник — черт знает, как называть его.

Когда-то у нас на работе одного повысили в звании. Мы к нему — замочить нужно твое повышение. Он нам ручкой так же, как и Лупоглазый, махнул и говорит: «А это — пройденный этап для меня». Так и не замочили, пожадничал...

— Нет их у нас. Вот я и говорю, что фантики — это время. Они как бы есть, а с другой стороны — нет их... Так же, как и время, — оно как бы есть и между тем — его нет, потрогать его не можешь... На всей Дзете ни одного фантика, ни одного браслетика не найдешь. Как и ни одного листика...

— Как? — удивился я и тут же вспомнил давным-давно прочитанное в книгах о будущем, которое наступит, когда деньги не понадобятся, когда все люди счастливыми будут. — У вас что — коммунизм наступил?

— Да не путай ты коммунизм с прогрессом, — тоже незаметно на «ты» перешел Лупоглазый. — Мы чипы придумали, суперкомпьютер создали и в космос его запустили. Всю планету единым информационным полем охватили. Словно паутину накинули на всю планету. Еще лучше жизнь стала. Сейчас везде, где бы гуманоид ни был, он подключен к суперкомпьютеру, откуда может любую информацию выудить. Но так было только вначале. А дальше... Как ты думаешь, что было дальше, человек разумный?

«Ну, Лупоглазый, ты теперь уже в открытую издеваешься надо мной», — подумал я и сказал:

— Вы, наверное, чипами заменили браслетики. И через чипы закрыли всю информацию...

— Правильно, правильно рассуждаешь, гость дорогой, — разливался в моей головке ласковый голосок Лупоглазенького. — А куда же мы те чипы приклеили, как думаешь?

Пожал я плечами, а Лупоглазенький лапкой по голове застучал:

— Сюда вживили... Чипы — они же крошечные-крошечные, как зернышко маковое. Сейчас, когда в наших головах чипы, ты даже и представить не можешь, как стремительно начала развиваться цивилизация. На новый виток вышли.

Смотрел я немигающими глазами на Лупоглазого, хотел что-то сказать, но не смог разомкнуть губы.

Вот тебе и игра в фантики, листики, браслетики...

А Лупоглазый, казалось, от радости аж светился:

— Вот спроси у меня что хочешь, и я тебе тут же выдам ответ. Ну, задавай свой вопрос, задавай!

Хотя он и был на стереоэкране, но, повторюсь, выглядел живее живого: маячил взад-вперед перед глазами моими удивленными, животик свой выставив, лапками помахивая и искоса с гордостью поглядывая на меня.

— Сто двадцать девять в пятой... Сколько будет?

— Ха-ха, — услышал в ответ. — Нашел о чем спрашивать...

И тут же цифры посыпались...

Подумал я, вспомнил студенчество: бессонные ночи перед сессией, предметы и экзамены, которые потом, спустя годы, снились ночами. И спросил:

— А квантовую механику, термодинамику знаешь?

Опять Лупоглазый удовлетворенно хихикнул. Я и не заметил, как возле него появился стул, он уселся, лапки на груди скрестил, ножку на ножку забросил:

— Тебе какой закон термодинамики объяснить: первый или второй? Может, о сути энтропии рассказать? Или формулы квантовой механики написать? Пойми: чипы напрямую связаны с общепланетным компьютером,

оттуда информацию скачивают и сюда, — по головке своей лапкой постучал, — напрямую передают. Связь тесная.

— Как это — передают?..

— Вау-вау-вау, — удивленно развел лапками Лупоглазенький. — Неужели трудно догадаться? У вас радиотелефоны есть?

— Конечно, — ответил я. — Фотографировать можем, не только разговаривать. Друг другу, как по телевизору, фотографии можем отправлять. Мы сейчас без них — как без рук. Детки в школу носят. В последних разработках все сплетено в единый блок: и диктофон, и телефон, и компьютер, и видеокамера, они через интернет людей объединяют лучше телевизора... Правда, недостаток один имеется: люди почему-то глупеть и глохнуть начали, считать могут только на калькуляторах, больных детей много стало рождаться, а причины никто не знает. Дети дружить перестали, в школу как на каторгу плетутся, под плинтусы готовы прятаться, времени совсем нет, только играми на телефоне и заняты. Мода новая появилась: сами себя, языки высунув, снимают на видеотелефон и в интернете демонстрируют. Днюют и ночуют детки в интернете, для них он дороже реальности. Многие от интернет-игр зависимыми становятся, не вылечить их никак... Книги не читают...

— О каких книгах ты говоришь?.. Книги — давно пройденный этап для нас. Как для вас папирусные свитки... Зачем они вам? От книг голова пухнет. Мы все книги в библиотеках отсканировали и через чипы их содержание в суперкомпьютер загнали. Книг у нас сейчас нигде не найдешь. Поэты, разные там писатели, которые пишут о каких-то переживаниях и размышлениях, давно исчезли на нашей Дзете, как у вас когда-то мамонты вымерли... С глаз долой — из сердца вон, как у вас говорят. Книги — всего лишь информация, не больше... У вас, кстати, писатели есть?

— Писателей, как ты говоришь, много, а вот поэтов — мало, — отвечаю.

— Вот-вот, мы книги ваших писателей в любой момент можем отсканировать, в суперкомпьютер загнать, а затем — бац! — через чипы в детские головки загоним. Образование у них будет по полной программе... Эту информацию готовую не только дети, но и ты без всякого труда можешь получить из чипа, который в твою голову вживлен. Захотелось тебе — бац! — ты уже обо всем знаешь... Бесплатно и без всякого труда — вот что самое главное. А в библиотеке — глазки слепи, думай, разгадывай, что поэт хотел сказать. Все, что тебе нужно, ты спросишь у чипа, а он через компьютер тут же в твою голову ответ выдаст. Ты же знаешь, что мозг — компьютер тот же. И эти крохотные-крохотные радиотелефоны мы чипами назвали. Понял?

— Понял, да не совсем, — сказал я. Каким-то уж слишком своим становился этот крохотный гуманоид. Уже и кожа его зеленоватая не смущала меня, и глазки круглые немигающие не тревожили. А что голосок его в голове звучал, то, честно признаюсь, уже и не задумывался:

— Как же это информация передается?

— Вау! — развел лапки Лупоглазенький. — Вас еще учить и учить. Темные вы люди...

— Ну, ты уже особо не наезжай на нас! — Тут и я сдачи выдал, так задело меня.

— Ладно, ладно, — примирительно поднял лапку Лупоглазый. — Информацию на первых порах мы передавали по звуковому каналу, через нейроны слуха. Телепатически, так сказать. Схема такова:

Гуманоид — чип — суперкомпьютер — гуманоид.

Почти такая же замкнутая схема получается, о которой ваши классики-пророки писали, когда говорили о деньгах — *товар — деньги*. Только теперь уже все делалось на современной научной основе. И самое главное, что вместо прибыли, которую якобы должен был получить гуманоид, он становился умнее, прогрессивнее. Понимаешь, деревня темная?

Ну, думаю, голопузик Лупоглазенький, я тебе еще припомню деревню темную!.. Но — молчу пока что... А он дальше хвастается:

— Блокирована эта схема единым энергетическим контуром. Почти так же получается, как у нас с тобой, когда мы разговариваем.

— А потом?

— А потом... Мозг — компьютер, это тебе уже известно. Нашим ученым удалось расшифровать механизм передачи всех сигналов, не только звуковых и зрительных, но запахов разных, ощущений: тепла и холода, сладкого и горького, приятного и неприятного. Нашли наши ученые и тот центр, где сигналы собираются, анализируются и где решение принимается на действие или бездействие гуманоида. Центр этот и есть то, что вы душой называете, своей сущностью, своим Я. Вот к этому центру, к душе вашей хваленой нам и удалось подключить чипы. И тогда нам такое поле деятельности открылось... Вау, какие возможности мы теперь имеем!

Хотя человек я сообразительный, да тут ничего не мог сказать. Видимо, у меня был слишком пораженный вид, поэтому Лупоглазый успокаивать начал:

— Ничего здесь необычного нет, никакой мистики... Мозг излучает энергополя, на них можно деликатненько через чипы воздействовать, корректировочку делать на энергетическом уровне. Тут такой прогресс начался, что вам, землянам, и не снилось... Лечить гуманоидов мы можем от болезней разных, особенно эффективным оказалось лечение социально опасных элементов. Закон у нас такой есть — о спокойствии нашей цивилизации. Закон Спокойствия и Порядка — так он называется. Согласно пункту второму третьего положения Закона социально опасные гуманоиды не должны собираться в группы более трех, а если ослушаются, то их тут же лечат в принудительном порядке. А такие у нас, тебе по секрету скажу, завелись. Некоторые не захотели себе чипы вживлять — хоть им кол на голове чеши и через дырку чипы туда загоняй... Они себя натуралами стали называть, надумали, гады, чипы из головок вытаскивать и на свалки выбрасывать... Короче, войну прогрессу объявили... Но их, натуралов, мало осталось, каленым железом мы их выжигаем... Огромнейший эффект получился при различных психологических отклонениях. Самое главное — при таком лечении гуманоидам не надо в больницу ложиться, более того, скажу по секрету, они и не знают, что их лечат... Суперкомпьютер за всеми чипами контроль ведет, как только отклонения в поведении гуманоида наблюдаются — сразу же корректировочка делается. Больницы мы закрыли, появилась экономия, эффективность деятельности увеличилась на тысячу двести процентов. Так что сам понимаешь, браслетики нам не нужны, мы их давным-давно выбросили на историческую свалку.

Как только он об исторической свалке сказал, я подумал почему-то о рабах римских, которым на шею металлические ошейники цепляли... Ничего за тысячелетия не изменилось — ни на Земле, ни на Дзете... Я поднял руку и, чувствуя себя учеником перед этим умным гуманоидом, сказал:

— Хватит на сегодня. Хватит…

— Что ж, твое желание для меня закон, — согласился Лупоглазый. — Я исчезаю. Чтобы тебе не скучно было, дистанционник оставлю. На экране

можешь нашу сегодняшнюю жизнь понаблюдать. Конечно, как гостя дорогого, мне хотелось бы повозить тебя по нашей счастливой планете, познакомить с гуманоидами, но извини, твой вид...

— Что, не понравился вам? — буркнул обиженно я и тут же подумал: «Тоже, красавец нашелся!»

Лупоглазый закивал головой:

— Тебя элита встречала, предупреждены были — сам видел реакцию. А если всем показать — начнется повальное нарушение «Закона Спокойствия и Порядка», на всей Дзете хаос начнется. Ты что, думаешь, если бы вдруг нас показали вам, землянам, не то же самое творилось бы? И еще... Видимо, начинаешь скучать по своей жизни, поэтому тебе сюрприз приготовили. Вечером представитель наш к тебе заглянет. Не пугайся, не удивляйся. Все, что он будет делать, — для твоей же радости.

И исчез мой наставничек вместе со стульчиком. А я только сейчас увидел на подлокотнике стула небольшой дистанционник.

5

Развалился я в кресле. Глаза закрыл и сам с собой, умным, разговор завел... Как говорил мой друг, тот, который когда-то на двадцатилетней женился, с самим собой, умным человеком, и поговорить приятно...

Что-то слишком Лупоглазенький меня нахваливал. Подозрительно это, очень подозрительно. Что-то он готовил мне, будто соломку подстилал...

Потом, отдышавшись немного, я взял дистанционник и стал нажимать на кнопки.

И увидел жизнь гуманоидную.

Вначале гуманоиды показались. Сейчас, когда я начал пристальнее всматриваться, увидел, что среди них есть мужские и женские особи. У мужских, как я догадался, на головах были небольшие, с кулачок детский, то ли рожки то ли бугорки. У женских рожек не было. Что удивило — одежды они никакой не носили. А если одежды на них не было, то, сами понимаете, у них и стыда никакого не было, не стеснялись они друг друга...

Затем показались огромные пирамиды. Оказалось — это их города. И были они накрыты сплошными прозрачными крышами. Щелкая пультом дистанционника, я начал путешествовать по городам. Там лифты огромные имелись, непрестанно одни гуманоиды вверх поднимались, а другие — вниз опускались; в коридорах длинных, освещенных невидимыми фонарями, были подвижные дорожки, а на них гуманоиды стоя ехали, одни — вправо, другие — влево. Щелкая пультом, путешествовал я по пирамидам, поднимаясь все выше и выше, до самого огромного блестящего купола, красовавшегося на вершине. И чем выше я поднимался, тем чаще видел в длинных коридорах на дверях кабинетов таблички:

Для служебного пользования

Только по коду

Доступ посторонним к суперкомпьютеру запрещен

Сами догадываетесь, что в эти засекреченные кабинеты я не мог заглянуть. Когда до самого блестящего купола добрался, то перед входом в него увидел огромную вывеску:

Глюонный генератор

Посторонним не входить! Смерть на месте!

«Вот тебе и на, — подумалось мне, — не только на Земле есть засекреченные организации, но и здесь их хватает...»

Машин дымящихся я там нигде не увидел. Да и зачем им были машины, если все продумано до мелочей, все скомпоновано?

Там же, в высоких пирамидах, и жилье гуманоидов находилось, и кабинеты-кабинки, где они работали. Сидя в огромных комнатах за длинными столами, отгороженными невысокими стеночками, они всматривались в какие-то прозрачные листики, лапками на них показывали да время от времени друг на друга поглядывали, ротики открывали — видимо, переговаривались... Но о чем говорили — я не слышал.

Магазины увидел. И действительно, Лупоглазый правду говорил: никаких кассиров там не было, даже датчиков на выходе не было: спокойно заходили гуманоиды, брали с полок разноцветные тубы и сразу же выходили. В тубах, как я догадался, и были те самые соки, каши и пюре, которыми меня кормили во время завтрака.

Когда полумрак окутывал планету, на небе появлялись искусственные светила, своими мощными прожекторами они освещали пирамиды. Догадался: гуманоиды спутники с большими зеркалами в космос запустили, зеркала свет их звезды ловили и на планету направляли — им ночь была не страшна.

Берег морской увидел, но гуманоиды в море не купались — в специальных бассейнах, под прозрачными крышами они плавали.

И вообще, когда смотрел на поля прямоугольные, леса, нигде гуманоидов не заметил. Да и зверей в лесах и на полях нигде не увидел, даже козявок никаких, птиц не было видно. Вместо них летающие тарелки носились. В этом была какая-то загадка. Видимо, гуманоидам слишком «сладки» их пирамиды: там они на свет появляются, там всю жизнь проводят и там же в небытие уходят, а леса и поля они только для своих нужд используют — чтобы кислород иметь, пшеницу с кукурузой выращивать. И не больше...

И еще глубже, в недра планетные, опустился — там тоннели имелись, а в тоннелях носились быстрые снаряды-поезда, гуманоидов возили от одной пирамиды к другой.

В подземелье я заводы увидел, где пища варилась. Видел, как из пшеницы и кукурузы мука белая мололась, а затем из той муки пеклись различные пухлые булки, в них запихивались финики и оливки. Булки, упакованные в прозрачные пакеты, в специальные контейнеры на склады вывозились... И все это делали автоматы, установленные вдоль длиннющих конвейеров и гибких линий. Ни одного гуманоида на тех заводах я не увидел.

Там же, под землей, находились и другие заводы, где собирались спутники космические, подземные снаряды-поезда, непрестанно носившиеся от пирамиды к пирамиде. Видел, как там создавали детали и части новых пирамид, да еще знаменитые летающие тарелки — они не только над Дзетой носились, но и людей непрестанно тревожили.

Не только на поверхности планеты, но и под сводами подземными выращивались фрукты и овощи: в парниках огромных, фиолетовым светом освещенных. Вместо грунта, у корешков текли какие-то питательные растворы. Там же, в бассейнах и корытах длинных, плескалась рыба.

Специальные заводы я увидел, где фрукты и овощи перемешивались, в котлах варились, и вместе с рыбным фаршем в тубы цветные запихивались.

Разные у них заводы. Есть и такие, где еду из воздуха делают... Не верите мне, вруном можете называть — как хотите... Но, видит бог, воочию наблюдал цеха с конвейерными линиями, на которых и производилась неземная пища.

В начале линий автоматы кололи шприцами что-то маленькое-маленькое, а потом оно по ленте двигалось. Обдувалось то ли газами, то ли воздухом из труб разных и само по себе расти начинало, увеличивалось, набухало, словно тесто дрожжевое. В конце концов это «тесто» в котлы попадало, там перемешивалось, красилось какими-то добавками. После специальные автоматы наполняли им тубы красивые и цветные, на которые яркие этикеточки наклеивались. На одних — кукуруза была нарисована, на других финики или оливки, на третьих — рыба. Такие тубы я видел в их магазинах.

И тут мне пришло в голову: кому булки с финиками и оливками, а кому — шиш из воздуха...

Интересно, чем же питается Лупоглазенький?

И что же они такое кололи?.. И чем же было то маленькое, из чего тесто само собой росло?..

Все было продумано, все было, как Лупоглазенький говорил, под контролем полным.

Снова я вспомнил коммунизм, о котором бедные мечтают, а богачи клянут на чем свет стоит.

Денег у них нет, бери в магазинах что хочешь, автоматы вокруг, порядочек полный, ни милиции, ни полиции нигде не видно...

Продолжая нажимать кнопки на пульте дистанционника, рассматривая жизнь неземную, я поймал себя на том, что меня что-то начинает тревожить и удивлять.

Гуманоиды выглядели какими-то слишком вялыми, напоминали больных. Я редко видел, чтобы они собирались группами. Вместе были только на работе, в своих кабинетах-кабинках.

Наконец сообразил, что тревожило и удивляло: не вижу семейных пар!.. И маленьких гуманоидов, детей их, не видел. Где они были, где прятались? Может быть, они за засекреченными дверями на вершинах пирамид? И там занимаются их воспитанием и образованием через чипы крошечные? Гуманоиды друг друга не интересовали — вот что я сообразил, когда наблюдал за ними. Мужские типы жили сами по себе, женские — сами по себе. И ко всему же — какие-то невеселые были, не видел, чтобы они смеялись...

Вернувшись с работы, гуманоиды немедля устраивались перед большими, во всю стену, стереоэкранами и смотрели какие-то увлекательные зрелища. Эти зрелища, видимо, и были тем, что их объединяло.

Еще заметил, что везде: и в бассейнах у морского берега, и в рабочих кабинках имеются странные кресла-лежанки, в эти кресла-лежанки гуманоиды часто укладывались и, кажется, дремали, отдыхали, что ли...

Много, много вопросов возникло у меня, когда наблюдал за жизнью неземной. Что-то здесь скрывалось от меня...

Устав от впечатлений, я задремал. Проснулся от голоса мягкого:

— Не удивляйтесь. Сейчас будем проводить первый сеанс.

Увидел, как открылась невидимая доселе дверь и в комнате появилась Лупоглазенькая — рожек на ее голове не было. Она вкатила то самое удивительное кресло-лежанку, которое я видел на стереоэкране. Вкатила, лапкой на кресло-лежанку показывает, и голос ее слышу:

— Не бойтесь. Ничего плохого не будет.

«Кранты пришли...» — мне тут же вспомнились истории о том, что эти зеленые человечки проделывали на земле с людьми во время контактов.

«Вот тебе и соломка подстеленная», — я растерянно смотрел то на кресло-лежанку, то на нее, зеленушку Лупоглазенькую...

Черт знает, откуда неприятностей ждать.

И тогда я как человек рискованный решился...

В кресло-лежанку улегся, Лупоглазенькая вплотную приблизилась ко мне, — бр-рр, дрожь пронзила мое тело! Приложила к голове моей пуговку липкую. И — все... Вышла из комнаты, — видимо, чтобы меня излишне не тревожить.

На сон меня потянуло. И снится мне начало...

...Будто на Земле я оказался — у реки, на берегу высоком, откуда далеко-далеко видно все... Вижу, как в вечернем полумраке зеленый заливной луг передо мной простирается… Кусты на нем темнеют, беловатым туманом обвитые… А еще дальше, за лугом, на холме — дома деревенские в ряд стоят, огоньками окна светятся… Белоснежная вымытая луна на черном небе показывается — большая, точь-в-точь такая, какую в ранней юности видел, когда первый раз девчушку с танцев проводил и, держа ее мягкую ладошку, сидел до рассвета на скамейке, вдыхая земляничный запах, — днем она в лесу землянику собирала.

И тогда, в юности, когда держал горячую мягкую девичью ладошку в своей руке, я знал только одно-единственное — центр Вселенной находится не где-то вдали, а здесь, на этой скамейке, где настороженной птицей сидит девушка, пахнущая лесной земляникой. Безо всяких формул и законов я тогда наверняка знал, что мы с ней находимся в центре Вселенной, и поэтому в душе было ощущение слитности, единства со звездами на темном небесном куполе с полной луной, льющей на нас неземной свет, с этой загадочной тьмой бесконечной, отделявшей нас от всего на свете...

И потому так не хотелось расставаться с ней. И так быстро промелькнула сладкая ночь...

И сейчас, когда вижу себя на берегу, почти все то же, юношеское и полузабытое повторяется: и волнение, и страх потерять нечто дорогое, чего не сможешь купить ни за какие деньги, ни за какие богатства — без чего и жить невозможно...

Только я уже не на скамейке сижу, а у костра небольшого, а он то разгорается, то почти затухает — огонь своей тайной жизнью живет... И рядом, только руку протяни, сидит она, еще та, улыбчивая безо всякой причины, в платьице, которое когда-то носила... На меня косо смотрит. И почему-то загадочно улыбается, а почему — только ей известно. И еще одной женщине известно, той, чей портрет написал один великий художник, которая уже несколько столетий, глядя на людей, так же загадочно улыбается, как улыбалась мне в юности моя односельчанка. Да, та незнакомка, к портрету которой идут люди, как к иконе, стараясь разгадать смысл ее улыбки...

И чувствую, когда смотрю на нее, улыбающуюся, что мое жгучее волнение, моя боязнь потерять что-то слишком дорогое, словно огоньком освещает и согревает холодную душу. И с ужасом вижу там неимоверное множество чего-то лишнего, совершенно ненужного мне, что годами лежит тяжелым грузом. Что?.. Законы умные, оправдывающие мое сегодняшнее существование, телефонные звонки, без разрешения в сознание мое врывающиеся, книжки записные, в которых жизнь расписана на недели вперед, обещания кому-то сделать что-то… Да и самому, как старцу с сумой, хочется дождаться чего-то стоящего в жизни: может быть, денег, которых чем больше имеешь, тем больше не хватает… И — долги вечные перед кем, и еще, и еще... И понимаю, что без этого теплого огонька невозможно жить.

И как же я жил, как до сих пор живу!..

Я смотрю на луг, все больше и больше затягивающийся туманом, слушаю далекие-далекие детские крики, неторопливое и ритмичное поскрипывание коростели, — и крики, как и скрип коростели, в оглушительной тишине кажутся очень звонкими. Смотрю на блестящую и гибкую полоску воды речной, поблескивающую внизу под обрывом живым серебром, смотрю на тихое полнолуние, все ярче и ярче высвечивающее низкие облака, и как это бывает, когда человек влюблен, переполнен ощущением красоты и гармонии со всем окружающим, хочу поделиться с ней богатством своим. Я не знаю, как все выразить, только и могу сказать:

— Посмотри, как красиво…

И она, как это бывает у влюбленных, понимает меня, ей и слов никаких говорить не надо, прижимается ко мне и тихо, словно открывает самую величайшую тайну, шепчет:

— Я здесь родилась...

И от ее шепота меня всего трясет, я осторожно, боясь потерять самое дорогое на свете, чего не купишь ни за какие богатства, провожу рукой по ее мягким волосам, вдыхаю запах чистого, овеянного земляничным запахом тела — и чувствую, как хмельно кружится голова. В каком-то бреду я тоже начинаю шептать ей что-то свое, заветное, чего до сих пор, да и потом, никогда никому не шептал...

6

Проснулся я не в кресле-лежанке, а в спальне на кровати. Сон был яркий, живой — никогда таких не видел. И ощущения были острые, казалось, что она, красавица, все еще рядом — я чувствовал прикосновение ее пальцев, запах ее чистых волос, земляничного тела...

И еще — неимоверную усталость...

Опять повторилось все то же, теперь уже знакомое: ванна, столик с сытной кашей и пюре, которые и жевать не надо.

Я лениво ковырялся в каше, и думалось мне невольно: а какой же едой меня кормят — той, что из газов и воздуха сделана, или той, что из фруктов и овощей, в подземелье вызревающих?.. Перед глазами стоял другой стол, на котором картошка паром исходит. Где капуста квашеная в тарелке белеет… Где грибы соленые темнеют, розовеет кольцом колбаса домашняя… Где драники горкой высятся возле сковороды со свежиной сладкой. Где творожок и масло в тарелочках...

Эх, — брата вспомнил, — и правду он говорил когда-то: куда и зачем меня занесло?.. Дома сидел бы... Но как усидеть, если впереди открываются дороги сладкие и соблазнительные? Так, видимо, человек устроен, что должен он колебаться между искушением неизвестным и тоской познанного...

После завтрака я отправился к стереоэкрану. Теперь начинал кое в чем разбираться. Понял: пора настала, Базылёчек, головой шурупить, думать надо, иначе обманут, как последнего остолопа...

Экран сразу же засветился. Гуманоид появился. Опять невидимые операторы и режиссеры начали с ним вытворять всякие фокусы, и все это — перед глазами моими. Лапку он вверх поднял, и я голосок его услышал:

— Привет!

— Привет, — буркнул я.

— Как спалось?

«А тебе какое дело до снов моих?» — хотел сказать, но промолчал.

Чем-то он мне не нравился. И не внешностью своей, нет, к ней я как бы и привыкать начал, другое выпирало из его сущности: не нравилось мне, что голосок у него менялся. То он громко говорил, то уж очень ласково. Меня не обманешь, знаю: если мягко стелют, то жестко спать... Нечто подобное со мной бывало и на Земле: только-только шуры-муры заводишь с какой-нибудь красавицей писаной, она перед тобой листом стелется, и вдруг — бац! — нутром чувствуешь, что никакая она не красавица, и тогда уже, если бы веревкой кто привязал к этой писаной красавице, все равно сбежал бы.

А может, и правы те, кто утверждает, что вокруг каждого человека есть некое поле, его аурой называют, и только оно, а не внешность, на тебя воздействует. У одних это поле — светлое, теплое, лечит тебя и успокаивает, и если на такого человека смотришь — глаз отдыхает... А у других — темное, блеснет такая красавица глазами и — без слов понимаешь, что стерва перед тобой...

И может, вообще, зачастую думаю, эти невидимые силы добра и зла не миф, не сказка, а самая что ни есть реальность, и они управляют нами, а мы, нос задрав, гордимся умным многословием своим, внешностью, одеждой, богатством, властью...

А действительно, кто же мы?!.

Как сказано было когда-то одним умным человеком: смирись, гордый человек, перед тем неизвестным, что тебя окружает!

Но опять же — что-то не туда, не туда меня понесло... О гуманоидах, о неземных созданиях веду рассказ...

Помолчали мы, глядя друг другу в глаза. Тогда я и начал свой допрос:

— У вас есть мужские и женские типы. Но когда я смотрел на вашу жизнь, нигде не увидел влюбленных. Все у вас какие-то одинокие. Я нигде ни разу не видел, чтобы гуманоиды за руки держались. У нас на Земле сразу же влюбленных видишь: идут рядом и, сами того не замечая, за ручки держатся, а на лицах радость сияет... А у вас... Мужские типы — сами по себе живут, женские — сами по себе...

— Ты хочешь спросить, есть ли у нас любовь? — переспросил Лупоглазый.

— Да.

— А это для нас пройденный этап, — махнул он лапкой. Снова незаметно стульчик возле него появился, уселся он на него и стал всматриваться в меня.

«Вот прилип ты к этим этапам, как слепой к забору», — подумал я и начал уточнять:

— У вас что, все поголовно перешли в ряды секс-меньшинств?

— Да не-е... Это мы тоже прошли на определенном этапе.

— А что же тогда у вас творится?

Лупоглазенький губы восьмерочкой скрутил — ухмыльнулся:

— Вот между нами, мужчинами, давай говорить начистоту...

Тут и я невольно скривился — тоже мне, мужчина нашелся!..

Пристальнее к этому «мужчине» присмотрелся и увидел у него между лапок крохотный, с мизинец детский, ничем не прикрытый бугорок...

«Хотя бы в какое шмотье облачился, — подумал я, все еще ухмыляясь. — Он меня еще деревней упрекает... На земле неграмотные папуасы и пигмеи в лесах глухих живут и то — свое «богатство» прикрывают как могут, а ты, умный этапничек...»

Хотелось, хотелось мне высказаться, но, пожевав слова, я так и не сказал ему ничего: ведь в гостях был, а гостю не все положено говорить...

Видимо, Лупоглазенький и сам сообразил, что ляпнул не то, начал поправлять себя:

— Пусть и не мужчины... Ты тоже не красавец. Одни уши и носяра чего стоят...

— Смотря для кого, — парировал я. Теперь даже и не думал плясать под его дудку. — Некоторым очень нравятся мои и нос, и уши, да и многое другое...

Помолчали. Хотелось мне ему еще пару ласковых добавить, но опять же — стерпел. Молчу, терплю, как проклятый...

А он снова начал свое вести — все его на философию тянуло, и этой своей философией Лупоглазенький меня словно интернетовской паутиной опутывал:

— Вот скажи, где все начинается при любви: здесь, — лапкой в направлении бугорка маханул, — или — здесь? — в голову лапкой ткнул.

Признаюсь, что никогда об этом и не думал. Пожал плечами.

— Так вот, я авторитетно заявляю, и это тебе подтвердят ваши ученые, — здесь все и начинается, и заканчивается, — и снова он по своей голове лапкой застучал. — Когда-то мы все это проходили, как дети школьную программу проходят: и секс по телефону, и стереопорнухи... Если трезво разобраться, то все это — лишь способ воздействия на мозг по определенным каналам... А потом у нас пошли порнография со стонами и запахами... А потом...

Я перебил его:

— Не дури мне голову. Одно с другим не путай...

— Почему? — его глазенки приблизились ко мне. — Вот ты недавно сон сладкий видел. Что есть сон?

Тут Лупоглазенький со своего стульчика вскочил и снова передо мной стал ходить взад-вперед и говорить:

— Сон — это большая загадка. Разгадывая сны, мы научились предсказывать будущее. Целая наука у нас есть — сновидения... Не проводит ли в сновидениях человек свои самые лучшие мгновения? Задумайся, почему у вас наркоманы к дури тянутся? Вот скажи мне, почему у вас так получается, что некоторые молоденькие парни и девушки, у которых все есть — и желания, и здоровье, еще в школе к сигаретам, наркотикам тянутся, от бутылки пивной оторваться не могут? Поясню тебе, открою истину — от сигарет, наркотиков и пива у них в головах переворачивается мир. Сны для них — слаще реальности. И правда, чем сны хуже реальности? В кресле-лежанке через чипы мы можем воздействовать на центры наслаждения головного мозга. И в результате — ты сам убедился — это лучше ваших сериалов по телевизору, это слаще наркотиков. Так что мы давно с наркоманами разобрались. Сейчас понимаешь, почему у нас нет любви в вашем, земном понимании. Она есть, но иная... Поэтому нам и семья не нужна, зачем она?.. С семьями у нас столько проблем было: измены вечные, ссоры бесконечные из-за ложки немытой, браки, разводы, любовницы и любовники друг за другом рыщут, покоя им нет никакого: дело доходило до убийств и самоубийств... А психозов сколько было из-за любви? Ваш умник Фрейд создал целую научную теорию — о психоанализе на сексуальной почве... Он все в мире объяснял через призму своей теории, без нее ваши люди никак не могут обойтись, в очередь записываются, чтобы психоаналитики за денежки с ними работали...

И опять ни с того ни с сего я вспомнил о коммунизме. И денег у них нет, и семей нет, и райские столы, порядок полный, даже наркоманов нет, все под контролем...

Пошевелил я губами и:

— А с потомством как решаете проблему? Ваша гуманоидная цивилизация тут же исчезнет, если детей не будет.

— Не волнуйся, все под контролем, — он поднял лапку вверх. — Когда-то наши, так сказать, женские типы, гуманоидихи, перестали рожать детей. Признаюсь тебе, в этом немного и мы были виновны — в свое время целое поколение выросло, сидя у телевизоров и компьютеров, и словно через отверстие в замке, смотря порнографию. Сам догадываешься, что после такого воспитания исчезли все тайны, все стало ясно и просто...

«Вот привязался», — подумал я.

А тот свое вел:

— У нас все было: и суррогатные матери... Скажу сразу, с этими суррогатными матерями одни проблемы: с гуманоидихи от старости труха сыплется, а она объявляет всей Дзете, что стала матерью, что у нее двойня крохотных гуманоидов появилась, хотя чьи они — никто не знает, да и не может узнать... А что нам было делать, когда у суррогатной матери искалеченный бедняга гуманоид рождался — на свалку выбрасывать?.. И центры у нас специальные были, где бездетным парам помогали... А потом, когда клонирование изобрели, нам легче стало — мы это дело поставили на конвейер. Скажу тебе — умница был ваш Форд, придумавший конвейерные линии... До поры до времени мы скрывали от тебя эту информацию, потому что ты был морально не готов к ней... Но теперь, когда ты о чиповании кое-что узнал, можем открыть тебе правду...

И тут исчез Лупоглазенький.

На стереоэкране я увидел огромные корпуса, которые до сих пор мне не показывали. Внутри корпусов, напоминающих заводские цеха, находились круглые прозрачные колбы, сплошь оплетенные белыми трубочками. Видимо, догадался я, по трубочкам питательные растворы поступают в колбы. А в колбах — эмбрионы гуманоидов. Маленькие-маленькие, с ноготок на мизинчике. И все эти колбы, прикрепленные длинными цепями, медленно двигались. В колбах эмбрионы подрастали, становились все больше и больше.

Почти такими же конвейерные линии были, как и те, на которых еда из газов и воздуха сама по себе появлялась.

В отдельном корпусе гуманоиды, склонившись над микроскопами, специальными пинцетами делали что-то — видимо, проводили эксперименты над невидимыми комочками жизни, клонировали... А потом, как догадался, эти комочки в колбы стеклянные запускали и на конвейер отправляли...

В конце конвейерных линий питательные растворы из колб выкачивались, специальными лазерными лучиками стекло разрезалось, автоматом извлекали оттуда крошечных гуманоидов, которые тут же укладывались на новые конвейерные линии и двигались дальше, скрываясь с моих глаз за темной занавеской. Что там с ними потом происходило — не показали мне. Но и без этого я догадался, что там делали с крохотными гуманоидами.

Без единого взрослого гуманоида все это происходило...

И смотрел я пристально на длинные движущие конвейерные линии. Видел, как эмбрионы в колбах качались, как касались блестящего стекла то лапками, то головками...

И правду Лупоглазый сказал: не подготовлен я был к их реальности, страшно мне стало.

— Что же вы творите?! — крикнул я. — С ребенком мать связь имеет. Ребенок еще до рождения голос слышит ее, настроение матери чувствует.

Поэтому и советуют врачи, чтобы мать на красивое смотрела, чтобы музыку слушала. Да не эстраду кричащую, а классику, чтобы песни народные пела. Ты знаешь хоть, что через песню народную, через язык родной генетика народа формируется? И каждое слово, как мне когда-то брат сказал: не звук пустой, а — связь народная... О-о, что вы делаете, что вытворяете? Мать молоком своим ребенка должна кормить — так она с ним создает вечную связь... Может, поэтому и вымирают целые нации, что мать теряет связь с ребенком, а если она еще курить и пить начинает, то и дети дебилами вырастают...

— Ха-ха, — снова неожиданно появился на стереоэкране Лупоглазенький, в свое кресло уселся и уставился на меня, — мы об этом знаем. Наука не дремлет... В наших инкубаторах все предусмотрено, все под контролем: и музыка есть — суперкомпьютер выводит различную музыку, две тысячи пятьсот мелодий в нем. Если нужно, можем больше заказать, это недолго — всего семь нот, а мелодий из них ого-го сколько суперкомпьютер сотворит. Идя в ногу со временем, с учетом нашего чипованного мышления, суперкомпьютер создает новую, более ритмичную музыку. Дуги-дуги эта музыка называется. И песенки также постоянно новые сочиняются. Трулли-ля, трулли-ля наши песенки называются. Их только специально отобранные певцы поют. Таких у нас тридцать три на всю Дзету, они гуманоидов радуют днем и ночью. Под суперкомпьютерную музыку певцы только рты открывают — им и петь не надо, ибо суперкомпьютер тональность, ритм и все остальное самостоятельно делает. Хотя, по правде говоря, песни для эмбрионов мы в последние годы отменили, а взрослые гуманоиды их не поют — и без песен мы живем припеваючи, зачем они?..

— А выбраковка имеется? — я уже до конца решил идти в своем познании.

— Разумеется, как и в любом технологическом процессе. Мутационные неконтролируемые процессы, все прочее…

— И что же вы тогда делаете?

— Стволовые клетки пускаем на лекарства — ошеломляющий эффект получается, я тебе доложу. Это на первом этапе, когда идет активный процесс деления клеток. А на более поздних — разные органы гуманоидов пускаем на запчасти. Сначала делаем заморозку эмбрионов в жидком азоте, этим мы создаем банк запчастей и стволовых клеток, а потом, при необходимости, вживляем органы взрослым гуманоидам.

По моему телу пробежала дрожь. После услышанного и увиденного не до шуток стало. От волнения руки задрожали.

Где же предел их познания самих себя?

И есть ли она, эта граница?

— Что же вы творите? — снова чуть ли не простонал я.

— А что ты все удивляешься, удивляешься?.. — Вдруг из Лупоглазенького полезло то скрытое, что до сих пор душой чувствовал. Пропала в его голосе нежность, левитановский басок начал прорезаться все сильнее и сильнее. В размерах гуманоид увеличился, во всю стену передо мной вырос, глазки его приблизились ко мне, и откуда-то сверху, без моего ведома, в мою голову начало вливаться: «Вот вы все одежду из синтетики носите, она ведь тоже сделана из газов и воздуха. Хотя и трещит на голом теле, и стреляет, хоть аллергия у вас на нее, а носите, щеголяете друг перед другом... Котлеты из генетической сои за мясо принимаете. И — ничего, не давитесь... Подождите... Все произойдет, как в ваших священных книгах написано, — манну небесную будете есть. Привы-ыкнете... И детки в инкубаторах будут пронумерованные,

сразу же после появления на свет вы из них, так же как и мы, специалистов станете готовить: конвейерщиков, программистов, математиков, технологов... А то — неизвестно кого растите без всякой программы, плодитесь безмерно... Скажу тебе по секрету, благодаря прогрессу клонирование не каждому гуманоиду разрешено делать, не каждый смеет заглянуть в вечность, только избранные, только они могут попасть в наш рай... Все, все будет у вас, как в ваших священных пророческих книгах написано: и мертвые живыми станут, воскреснут с помощью генетических технологий...

Здесь я уже не мог сдержаться. Сколько же терпеть! Как говорила мне одна красавица, когда на кухне время от времени в мужа тарелку запускала: мои нервы — не веревки... Услышав о веревках и нервах, недотепа стремглав летел к двери, так как вслед ему сразу же — это он знал — летела тарелка... Летающие тарелки не только в голубых небесах появляются... У меня под рукой тарелки не оказалось...

— Ах ты, голопузик зелененький!.. — крикнул я, забыв, что не дома, а в гостях, где должен молчать. — Меня все деревней укоряешь, темным считаешь, а почему молчишь, что в наших священных книгах еще о Гоморре и Содоме написано?.. Почему молчишь, что там еще сказано о Вавилонской башне?.. За что и почему она была разрушена, не подскажешь?.. Как мне — так манну небесную на завтрак подсовывают, а булки с финиками кому достаются? А мамалыга с оливковым маслом?..

Обо всем забыв, бросился я к стереоэкрану и с размаху — кулаком... Да тут — поверите ли! — оказалось, что передо мной не стекло, не стереоэкран, а голограмма нечувствительная, и кулаком своим я никого не мог зацепить.

Вот тебе и на... Обманул меня Лупоглазенький, обманул...

— Привы-ыкнешь к новой реальности, изменишь свою сущность... — все звучал и звучал в моей голове грозный бас Лупоглазенького. — Не только к чипированию привыкнешь... Все, что белком называется, есть будешь, не только манну небесную: и кошек, и собак, и мышей, и саранчу, и червей... Из чего еда сделана — какая тебе разница?.. Белки белками должны питаться — вот тебе и вся мудрость, вот тебе и вся философия...

7

Голограмма погасла, я закрыл глаза. Колотило и трясло меня после услышанного и увиденного. Я все еще видел эмбрионов, что двигались в колбах, шевелили лапками, лобиками до стекла дотрагивались. Хотя и неземные, бесчеловечные создании были, да почему-то — такая уж у меня натура — жалко их стало. Представилось, как потом в их головы вводят чипы. После этого маленьким гуманоидам, пожалуй, и дурачиться не хотелось. И в прятки играть. Лежали они, видимо, приглушенные, а в их головы через чипы днем и ночью вводилась информация.

И потом, когда подрастали, чем же они интересовались, что их волновало и радовало? Сказки они не читают, да им и не надо, произведения в их головы уже загнаны... Рисовать им не нужно — на стереоэкранах давно все нарисовано — мультстрашилища, чудовища один за другим гоняются... Песни, людей объединяющие, им не надо петь, потому что они их никогда не слышали и не знают, что это такое — тихие проникновенные народные мотивы... И чем больше я размышлял о гуманоидах, тем ужаснее становилось: понимал, какими несчастными они были, когда вырастали... И не размышляли гуманоиды

над тем, кто они и зачем живут. Во мне одно и то же билось: они не виноваты... И не задумывались, что через чипы в их головы программа закладывалась, ими полностью управляющая и обладающая... А поэтому интересовали их только зрелища на стереоэкране да сладкие кресла-лежанки. Их, кроме работы на конвейерах, новых программ чипирования и кодирования, методик клонирования, ничто не интересовало...

Сколько будет сто двадцать девять в пятой степени, они знают...

Квантовую механику знают, суть энтропии тоже...

Программирование и кодирование знают...

И верят, думают, что они умные и самостоятельные в принятии решений. А если действительно?..

Жутко мне стало от своих предположений.

И еще я подумал...

Если гуманоиды научились сами себя выращивать в колбах, на лекарства пускают стволовые клетки, значит, они и растения генетически подправили, и рыбы, что в подземных корытах плавают, также модифицированные. И может, поэтому в магазинах их я никаких продуктов не видел — тубы сплошные с кашами и пюре, как у космонавтов, и в них неизвестно что намешано...

Хотя кому что намешано: одним булки с финиками и оливками, а другим — шиш из газов и воздуха...

Да и с натуралами Лупоглазенький темнил, лгал мне, лапшу на уши вешал. Может, и правда, — жили на Дзете натуралы, которых Лупоглазенький каленым железом выжигал, но, как он сам проговорился, была у них и элита, которой не вживлялись чипы. Может, представители этой элиты и встречали меня, и очень удивлялись, когда увидели. Может, за теми засекреченными вывесками на вершинах пирамид и скрывалась элита, правящая Дзетой?.. Там и прятались гуманоиды, заглянувшие через клонирование в вечность?

Не все так просто на этой Дзете... А спрашивать об их проблемах у Лупоглазенького не хотелось — у меня своих земных хватает... Да и что он мог мне ответить?..

Что для чистоты экспериментов над чипами и суперкомпьютером нужно вести контроль — так это не только мне понятно, но и последнему дураку... А контроль тот, видимо, позволено вести элите. Кому же еще?..

Для кого-то на полях колосится пшеница, для кого-то вызревает золотистая кукуруза...

И снова и снова во мне билось: кому булки, а кому — шиш из газов и воздуха...

Темнил, темнил Лупоглазый: об одном говорил, философствовал, думал о другом, а на деле происходило третье...

Но, скажу я вам, — и на Земле что-то подобное начало твориться. Как признавалась мне одна красавица, когда мы с ней в кровати лежали: ты никогда не узнаешь, о чем думает женщина, которая рядом с тобой живет годами... Я, услышав эти слова, чуть голый с кровати не вскочил.

— Как это может быть?! — завопил. — Ты же только что говорила о вечной любви...

— А вот так и может быть, — ответила она мне с улыбкой. — Ты сам подумай, какой бы ужасной была жизнь, если бы мы знали, что думает другой... А потому гадай, страдай ежедневно...

И сразу же — поверите ли, засмеялась, обняла меня...

Застонал я с горя, посмотрел на нее и в отчаянии чуть не заплакал...

Женщины, женщины... Может, и действительно, вы — умнее нас, мужчин, вечно правду-матку в глаза режете?..

Я и по сей день не знаю, хорошо это или плохо, что мы друг друга до конца не можем узнать... Тайнами, тайнами мы окутаны...

А может, и правда — настало новое время, новая эпоха, когда грамотный человек наловчился за словом скрывать свои мысли и чувства? Не только политики, когда между собой беседуют, скрывая от людей свои мысли, но и люди, прогрессом охваченные...

Скажите, за что ухватиться человеку, если слово становится разменной монетой? Может, все наши беды из-за того, что говорим одно, а думаем совсем другое?..

Но, пожалуй, еще большие беды начнутся, когда через чипы кто-то будет читать наши мысли.

Много, много о чем мне думалось.

И еще одно неясное тревожило меня. Пока я и сам не мог понять что именно, но ощущение тревоги не покидало ни на минуту.

А потом снова открылась невидимая дверь, снова Лупоглазенькая вкатила в мою комнату кресло-лежанку. Пригласила лечь. Я осмотрел ее с головы до ног — она была без одежды, как и Лупоглазенький.

И сказал:

— Нет.

Она удивилась. Затем прозвучал ее голос:

— Нынче метиска будет. Покажет танец живота и все такое...

— Нет, — повторил я и подумал: «Ты лучше эту метиску Лупоглазенькому подсунь. Вот испуг будет, заикой станет до конца дней своих».

Лупоглазенькая кресло-лежанку выкатила из комнаты. Я остался.

И нашло, накатило на меня... После того, что увидел и услышал, в моей душе появилось отчаяние. И снова я столкнулся с тем, с чем, видимо, время от времени сталкивается каждый человек — с мрачным одиночеством, когда все, чем жил до сих пор, чем спасал свою душу, кажется пустым, ничтожным, и, словно поглощенный огромной морской волной, начинаешь задыхаться и не знаешь куда податься.

О-о, как жаль человека в такие минуты! И хорошо, если найдется близкая душа, утешит и пожалеет тебя. Не обвинит, не упрекнет, а всего лишь — пожалеет...

Я закрыл глаза и словно сквозь белый туман увидел...

...Увидел лесную дорогу, а по ней, колеистой, — катит легковушка. Вечереет... Золотистое солнце сквозь сосны слепит глаза. Я за рулем сижу, а рядом мой брат руки потирает: «Ну, нынче, я тебе обещаю — клев бу-у-дет!.. Я душой чую». Такой же горячий, дай волю — впереди легковушки помчится к лесному озеру.

В окно машины волнами льется сладкий лесной аромат, в котором слились запах смолы-живицы, земляники, прозрачной воды в колее, далекое, едва уловимое благоухание багульника. И еще над всеми запахами трав царствует дух чего-то — того давнего, полузабытого, что так остро ощущалось в детстве, вытягивало из дома и вынуждало голодными глазами вглядываться туда, за выгон, где текла речушка, за которой высился нерушимой стеной лес, куда дороги вели — аж на самый край света...

Сзади, из багажника, такими же волнами накатывает сладкий запах гороховой каши в ведре. Ею можно накормить роту солдат, а брат только лещам ее приготовил.

Машину нужно вести осторожно, в любой миг можешь днищем на белый песок сесть или корягу подцепить. Их здесь хватает — и еловые, и сосновые — всю дорогу переплели... Уже полчаса катим, и кажется, что городов нигде нет, и деревень нет, а везде, куда ни приедешь, будет лес, лес, лес...

Наконец выезжаем на чистый берег небольшого озера. Справа и слева — тростник в воде зеленеет, с шумом под ветром изгибается. Брат выскакивает из машины и, взглянув на волнистую поверхность, еще более радостно, чем прежде, вопит: «Отлично! Сегодня никого нет. И колья в воде стоят нетронутые».

Конечно, не много найдется дураков, чтобы за две сотни верст в глухомань переться, где комарья полно...

— Давай, шевелись, — торопит брат. Открывает багажник, достает ведро с еще теплой гороховой кашей и говорит: — Я сегодня на две катушки ловить буду. Зада-ам ему!..

Вытаскиваю из багажника резиновую лодку, начинаю накачивать ее насосом. Брат вываливает на полиэтиленовый мешок кашу и смешивает ее с перетертыми семечками подсолнечника. И такой сладкий аромат доносится от той каши, что не сдерживаюсь, подхожу.

— Ты что — не ел сегодня? — спрашивает брат. — Ну, хватит, хватит. Лещам не останется.

Большие круглые комья перетертой с семечками каши снова укладываются в ведро, надутая лодка подносится к воде и в нее загружается все, без чего леща не возьмешь: банки с юркими червями, три катушки. Но не забыть бы подсачек новенький, еще не опробованный, садок для рыбы, фонарики на светодиодах, которые на голову вешаются, как у шахтеров... Что еще?.. А-а, чуть не забыл... А грузила, а ленту липкую, чтобы катушки к кольям привязать, а накомарники на всякий случай... А плащи, если ветер нагонит дождь. А надувной матрас, чтобы брата усадить по-царски...

Выплываем. Брат орлом сидит на матрасе, на волнистое озеро смотрит. И вдруг вспоминаю: а каша?.. Каша в ведре так и осталась возле машины.

— Болван! — заводится брат. — Вечно у тебя порядка нет никакого! Вечно ты все забываешь. Темнеть скоро начнет.

Возвращаемся. Беру кашу. Снова выплываем. Скрипят весла. Сижу спиной вперед и ничего не вижу, брат, как полководец, командует, рукой то вправо, то влево показывает. Выгребаю веслами и все поглядываю на слишком уж худое лицо брата. Операция на сердце просто так не проходит. И страшен, страшен он вечером, когда устает.

К кольям подплываем, когда золотистое солнце касается воды. А работы еще — непочатый край, как мать когда-то говорила... Надо катушку липкой лентой к колу прикрепить, нужно жилку с резинкой отвести от кола метров на сто, не меньше, так как лещ — осторожный, так просто его не возьмешь... Там же, на конце резинки, грузило с поплавком нужно в воду опустить. Назад к катушке вернуться и, зацепив за крайние крючки пластмассовые поплавки, опустить их в воду — резинка тут же потянет поплавки туда, где будем кормить рыбу.

Опять надо отплывать от кола и плыть к поплавкам и кормить, кормить лещей, которые где-то там, под волнистой водой, плавают парами от берега к берегу. Лещи почему-то парами плавают... И снова к колу нужно плыть, юрких червей на крючки цеплять, колокольчик звонкий к леске крепить. Это все — работа с одной катушкой. А таких сегодня три. А еще ветерок легкий лодку постоянно качает, относит в сторону. А брат командует, подгоняет... Спина мокрая…

Когда третью катушку привязываю к колу, в спешке, одной рукой держась за него, неожиданно чувствую, что она выскальзывает из пальцев и в воду — бултых...

Лучше бы я сам туда бултыхнулся.

— Болван! — кричит брат. Лучше бы он мне пощечину влепил. Брат отворачивается и уже глуховато жалуется не мне, а тому, кто все это громадное и безграничное создал и теперь, наверное, сверху на свое творенье с ухмылочкой смотрит. — Такая катушка, еще советская, не сегодняшняя китайская подделка... Лески-кобры сто метров, резинки двадцать... Крючков пять штук, японских... поводки, вертлюжки... Целый вечер угробил... Червяков накопай! Каши навари!.. А-а, что ему, на все готовенькое прикатил... Тот раз подсачек утопил, на этот...

Вот тебе и на... Я думал, что ему одолжение делаю, вывозя на рыбалку, а оказывается...

Но терплю, молчу как проклятый.

Раздеваюсь и, чтобы лодку не опрокинуть, погружаюсь в воду осторожно. А иначе будет, как с другом, который хвастался, что его гены пальцем не прикроешь...

Тот как следует к рыбалке подготовился. Сапоги с широкими голенищами на ноги натянул… Зачем они ему понадобились среди лета? Бинокль цейсовский, дорогой, на шею нацепил. Видимо, щуку в воде хотел рассмотреть. Нож-финку в кожаном чехле к поясу прикрепил. Все сделал по-хозяйски, как дед его делал, который лошадей и овец разводил.

Мы резиновую лодку накачали, друга в нее посадили, весла в руки дали, спиннинг сбоку — плыви, родимый, гениальный ты наш...

Он считал себя во всех делах гениальным, даже в тех, в которых ничего не смыслил.

И поплыл. Да не к камышу гибкому, где щука прячется, а почему-то на середину озера. Заплыл. Смотрим: поднялся в лодке, как памятник на городской площади, возвысился и спиннингом махнул, отчаянный...

И тут спиннинг в одну сторону полетел, он — в другую. Перевернутая лодка сверху его накрыла. Плавать друг не умел, интеллигент несчастный, руками и ногами по воде молотит:

— Базыль! Базыль!..

Думали сначала — десятикилограммовая щука его на дно тянет.

Японский сапог, когда он ногами молотил, в воду навечно канул. Спиннинг не нашли. О бинокле и говорить нечего... Едва откачали.

Потом уже, на берегу, я сказал:

— Ну что, гениальный ты наш, не тебя нам жалко, а гены твои, еще немного — и они навечно в воде остались бы...

Так же, как катушка, — пытаюсь нырнуть, чтобы найти ее.

Ох, какая холодная и неприятная вода! Да и глубина — метра три, не меньше, не зря пятиметровые колья вырубали. Пока руками дно достаю, уже в ушах начинает звенеть, и глаза, чувствую, как у леща, на лоб лезут. Опускаю руку в ил. Он мягкий, как пух. Где ты в нем катушку найдешь... Гори она огнем... Как пробка выскакиваю на поверхность, хватаю ртом воздух. И как там, в этом иле, лещи живут?

— Ну, что? — спрашивает брат.

— Ил там. Не найдешь, — отвечаю и осторожно забираюсь в лодку, угрожающе кренящуюся от каждого моего движения.

— Ладно, — примирительно говорит брат, — на одну буду ловить. На работе магнит возьму. В следующий раз мы ее магнитом найдем. Червей подавай, простофиля.

Терплю, молчу…

Незаметно землю окутывает темнота. Слабые волны ритмично качают лодку, привязанную к кольям. Комарье проклятое ветер унес к прибрежным кустам — тихо, чисто вокруг, и может, поэтому заботы ежедневные выветриваются из души. Из-за невысоких туч показывается месяц и сразу же появляется подвижная серебряная полоса воды — тянется к далекому берегу. Там кто-то развел костер, и как бывает в таких случаях, кажется, что там, откуда доносятся незнакомые голоса, слышится звонкий женский смех и даже песня — не эстрадно-блатная, нет... — кажется, что там и счастье твое...

И такое ощущение, что не на рыбалке мы, не на воде озерной, а в каком-то другом загадочном мире… И только сейчас понимать начинаю, что все мои знания, услышанные от учителей и в книгах вычитанные, — не верны, что мир совсем по-другому устроен.

Я смотрю на воду тихую, на не совсем черное облачное небо, где звезд не видно, и вспоминаю строки из стихотворения поэтессы, преждевременно ушедшей из жизни:

Этот вечер не твой,
Эта ночь не моя,
Ты не будешь со мной,
Я не буду твоя...

Как и многие поэтессы, она была несчастна. Ей хотелось того чистого и светлого чувства, без которого трудно, а то и невозможно жить, и поэтому она...

Поэты вообще несчастные, счастливых, пожалуй, и не бывает, так как чувствуют каждым нервом великую тайну, окружающую человека. Эта тайна окутывает все живое. Осторожным словом поэты стремятся рассказать умным, образованным людям об этой тайне, которую никакими формулами, никакими законами постичь нельзя и без ощущения которой человек, видимо, не может жить.

...Многое могут политики, но они бессильны перед даром поэтов предвидеть будущее.

...Ведь, как сказано в одной книге, сначала было слово, и знают политики, что только через слово можно познать истину, и тогда уже — горе, горе будет политикам...

И еще я думал...

А у брата между тем клев начался.

— Есть...

И машет руками так, что лодка ходит ходуном — вытягивает стометровую леску, тянет торопливо, будто эта рыба — последняя в его жизни.

Не выдерживаю:

— Можешь спокойнее?.. Лодку перевернешь.

— Ты уж лучше помолчи, рыбачок, катушку в воде теряющий. На большее ты не способен. Не учи ученого. Разберусь и без твоих советов.

Что ж, терплю, молчу...

Вытягивает он подлещиков граммов по двести, называет их лещами. Подведя подлещика к лодке, вытаскивает из воды — рыба на удивление спокойно дается ему в руки, словно ручная... Вижу в темноте, как чистым золотом горят

круглые немигающие глазки рыбы. Вижу серебряную чешую. Брат снимает подлещика с крючка и, форсисто подкинув вверх, бросает в садок, качающийся возле борта лодки. Как нарочно это делает, ведь у меня не клюет.

Хоть и темно, но чувствую, что откуда-то появляется жаба, на грудь взбирается и начинает душить, душить, вынуждает меня шептать очередному подлещику: «Да выплюнь ты червя того, выплюнь... Неужели тебе мало каши гороховой?»

Не одного хорошего человека эта жаба придушила. Бывает, как привяжется, так и не отпускает, и тогда уже от человека ничего путного не остается, только одна тень, которая без толку топчет землю...

На лещей мы начали ездить только этим летом, до сих пор брат карасей ловил на закидуху — граммов по сто-двести, их он называет карасищами...

— Тебе, может, подсачек дать? — спрашиваю.

— Не надо мне твой подсачек. Я его рукой возьму. Вот так вот... Ты лучше за своей катушкой смотри, — отвечает он.

Молчу...

Где-то в два часа ночи брат обрадованно шепчет:

— Есть. И приличный, как поросенок.

И руками машет — леску вытягивает.

— Ты хоть леску в воду опускай, «бороду» сделаешь, до рассвета не распутаешь, — говорю.

— Обойдусь и без твоих советов, рыбачок...

Метрах в двадцати от лодки появляется волна — это брат рыбину тянет. И действительно, это его вечер, и ночь его... Огромного леща тащит. И чем ближе к лодке, тем больше тревожится лещ, близкую беду чует — «разгуливать» начинает слева направо... Но ведь и брат не промах, тащит и тащит леща, бормоча одно и то же, как пьяный:

— Хор-роший лещ! Такого я еще не тянул. Хор-рошиий.

— Подсачек дать? — спрашиваю.

— Не нужно. Я его из воды поднимать не буду. В воде возьму, вот так, рукой.

Брат нагибается к борту лодки, тянет руку к голове огромного, килограмма на три, леща.

А тем временем лещ, увидев руку брата, понимает, что к нему не просто пальцы тянутся, а смерть приближается из иного мира. Он резко разворачивается гибким телом, легонько, словно гнилую нитку, обрывает поводок с леской и исчезает — возвращается к своей лещихе, без которой не представляет жизни...

Открыв рот, брат так и застыл с протянутой к воде рукой — хоть с него памятник ваяй, в центре города выставляй и выбивай надпись: «Рыбак, леща проворонивший...»

На брата смотрю, в глаза его. Они у него теперь, как у того подлещика, которого недавно из воды вытаскивал, — круглые-круглые... И — немигающие, конечно же...

И вот, наконец, говорю о том, о чем до сих пор молчал, терпел:

— Ну что, довыпендривался?.. Подса-ачек ему не надо... Руко-ой возьму, — сладеньким голоском передразниваю. — Тебе не лещей ловить, а карасей болотных на закидуху таскать... Тебе только ершей сопливых ловить, на них ты спец. Ду-урила!..

Брат вздыхает, потом выдыхает из себя воздух и как-то, до сих пор не слышал ни разу, тихо, жалобно выводит:

— Хороший был лещ. Килограммов пять, не меньше. Такой поводок оборвать — запросто! Никогда бы не подумал, что у него такая силища...

Я сидел на стуле и, хотя глаза были закрыты, все видел...

Этот вечер не твой,
Эта ночь не моя...

8

...И спросил я у Лупоглазого о самом главном, что тревожило, не давало покоя:

— А вы как относитесь к смерти?

Думал, что он снова лапкой махнет и об очередном этапе развития начнет рассказывать. Но — нет... Уставился на меня молча, видимо, думал, как бы подоходчивее втолковать.

И вдруг начал:

— Чтобы представлять, что такое смерть, нужно хорошо знать, что такое жизнь. Вот скажи, что есть жизнь?

Недаром долго молчал Лупоглазый. Хотя я человек и умный, но от неожиданности руками развел:

— Как тебе сказать... О какой жизни ты спрашиваешь?

— О вашей, конечно, земной.

Сразу же мне представилась Земля, покрытая дымкой облаков. Неторопливо вращается она вокруг своей наклонной оси и кружится вокруг своего целебного светила. И попытался я представить не человеческую жизнь, а эту уйму неимоверно подвижного и неподвижного, крикливого и безголосого, крошечного, что только через микроскоп увидишь, а также — огромного, гоняющегося друг за другом, живущего только за счет другого, сплетенного друг с другом и переходящего из одного в другое, появляющегося из безвестности, погибающего и мгновенно восстанавливающегося...

И как же ему, Лупоглазому, рассказать об этой тайне и загадке, что всю Землю пронизывают, начиная с глубин морских и заканчивая небесными высями?..

Я умолк ненадолго, но Лупоглазый начал мне наводочки делать:

— Ваши великие пророки и предсказатели говорили...

— А, знаю, о ком ты... Нострадамус и баба Ванга...

— Да не-ет... — перебил меня Лупоглазый. — У вас были другие, те, которые о деньгах и прибыли писали. Когда-то Маркс и Энгельс все предсказали.

Я смотрел на него, вытаращив глаза. Сказал только:

— У нас же их, как ты говоришь, на историческую свалку выбросили.

— Напрасно, напрасно... Еще не раз вы будете вытаскивать их из той свалки. Так вот, один из них сказал, что жизнь — способ существования белковых тел, борьба за выживание правит всем... Ты знаешь об этом?

— Учили раньше, — проговорил я, прижатый фактами. — Но это было давно. Сейчас у нас столько новостей в стоканальным телевизоре, в том же интернете столько разных мнений, что и не знаешь, кто кем правит.

— Ну, так я тебе подскажу... В свете учения ваших пророков все проблемы смерти решаются просто: есть борьба за выживание белковых соединений — одно погибает, тут же появляется новое... Есть такая форма существования белковых соединений. Только и всего. Понимаешь?

Или хитрил он, или ничего не понимал. Я сразу же пошел в наступление:

— За другие белковые тела не могу ручаться, но я, человек, — и в горячке кулаком себя в грудь стукнул, — чувствую, что в момент смерти что-то происходит. Какая-то тайна тут есть. Поэтому мы и боимся смерти. Все живое боится смерти... На этом ужасе, может, наша жизнь и держится. На нем, а не на какой-то твоей борьбе. И мудрость народная сводится к тому, чтобы люди не боялись смерти. Что-то тайное есть у людей, то, что важнее борьбы, важнее смерти... Обо всем этом поэты говорят... Понимаешь, о чем речь?

— Ха-ха, нашел кого слушать, поэтов малообразованных... Что они знают, твои поэты? — Лупоглазенький со стула поднялся и стал ходить передо мной взад-вперед. Как лектор какой. Глядя на меня узкими немигающими глазками, он говорил: — Вы еще не доросли до понимания истинной сущности. Что ж, вижу, ты человек разумный, поэтому немного и приоткрою тебе, как ты говоришь, скрытую от живых тайну. Наши ученые узнали, что дело не в белковых телах, здесь все сложнее. Белки и все остальное, что вы называете живым веществом, это только вершина айсберга. Вглубь, вглубь материи мы заглянули, туда, где кварки находятся, где глюоны. И что же мы там нашли, как думаешь, человек умный и сообразительный?

Молчал я, поглядывая на Лупоглазого.

— А ничего мы там не нашли. Вот в чем парадокс парадоксов. Одни сгустки энергополей различного характера. Ядерные — ну, о них ты из квантовой механики знаешь, — глюонные — вы их потом откроете, и полтергейст научитесь создавать. Материя, когда изучаешь ее, исчезает, как мираж... Вот эти невидимые энергополя и создают все то, что вы называете атомами, молекулами, белками, а там уже — лапкой подать — и все остальное, что ты жизнью называешь: и обезьяна крикливая, и лев страшный, и червь изворотливый, и рыба, и птица, и микроб невидимый. Никакой случайности в природе нет и не может быть... Но самый главный парадокс в том, что появляются белки из ничего, как та же манна небесная...

— На что ты намекаешь? — я никак не мог понять сути его логики.

— А всего лишь, что жизнь — это сон, мираж. И нечего глупости нести о некой так называемой загадке смерти. Нет никакой загадки — вот что вы должны зарубить на своих носах раз и навсегда. Конечно, это трудно сделать, легче ухватиться за лживые размышления. Вы должны усвоить новую философию жизни, и тогда вам станет легче жить. Смерти нет, как и жизни нет, есть только переход одних полей в другие...

Вот так-то: времени — нет, одни невидимые фантики с чипами правят жизнью, смерти — нет, а сама жизнь — всего лишь сон...

Видимо, у меня был очень ошарашенный вид. Немного пришел в себя и спрашиваю у своего учителя:

— Так с чего же нам начинать?

Опять глаза Лупоглазенького приблизились ко мне.

— Как и всякая новая философия, эта должна заменить старую.

— Какую? У нас их много: и христианство, и буддизм, и ислам. А еще есть атеисты, те вообще все религии отметают.

— А все религии вместе взятые — на историческую свалку! Там давным-давно лежат никому не нужные ваши перуны, лешие, русалки, водяные. Там же — и олимпийские боги. Вечно вы держитесь за что-то непонятное, чего нет на свете. Кому молитесь? Кому поклоняетесь? Опомнитесь!.. Мифам молитесь. Из-за этих мифов начинаете войны, друг друга готовы сжечь заживо.

— Кого это мы сожгли? — спрашиваю.

— А-а, забыли, святыми хотите быть... А кто ответит за крестовые походы, когда под знаменами религиозными лилась кровь? А кто топил людей в речных водах, когда силой крестили несогласных, тех, кто поклонялся Велесу?.. А кого инквизиция жгла?.. За что Джордано Бруно на костре живьем сгорел?.. Кто Гуса сжег — не скажешь мне?..

— Откуда ты все это знаешь? — удивился я.

— А все оттуда, из информационного поля, окутывающего вашу планету. Вы еще и не знаете толком, что такое информационное поле. Мы к нему через глюонные генераторы напрямую можем подключиться. Мы за вами пристально наблюдаем, ведем точный подсчет. Все, что вам хаосом кажется, в действительности — вовсе не хаос, волос с вашей головы не упадет без нашего решения. Вы еще не знаете, почему грешники счастливо живут до глубокой старости, а праведники раньше времени в небытие уходят... Но наступит день, и вы узнаете. Скоро мы вам такие истины откроем, от которых у вас глаза на лоб полезут...

Вот запел! Вот где соломка подстелена!

— И на что ты намекаешь? Если я думаю, что Земля наша — живая и может думать, то за это и меня могут сжечь?

— Не бойся, жить будешь, — утешает он меня. — У вас других методов хватает. Современных.

— Что же это за методы? — спрашиваю.

— А простенькие... Не надо знать людям о твоих соображениях и размышлениях... Молчи, скрывайся и таись — вот принцип, по которому новые несогласованные с нами идеи глушатся на корню. А думать — думай, хоть вешайся от своих раздумий. Кому это нужно и кому это интересно? За тебя есть кому думать. Политики пусть думают, стоканальный телевизор пусть думает, газеты пусть думают... Люди молчать должны, молчать. Один ваш поэт когда-то сказал: «Паситесь, народы мира, вас нужно резать иль стричь...» После этих слов его, кстати, из пистолета грохнули... Вот и ты не высовывайся, молчи, как рыба, тогда будешь жить.

Помолчал Лупоглазенький. А затем еще ближе ко мне подвинулся с помощью невидимых режиссеров и операторов, стал дальше просвещать:

— Неужели без своих пустых мифов вы не можете жить? Боитесь взглянуть правде в глаза?.. Не существует ни ада, ни рая — в природе их нет... Об этом же некогда и ваши великие пророки говорили — о религии как опиуме для народа.

«Вот прицепился ты к пророкам!» — хотелось воскликнуть мне, но промолчал.

— Ну, а в практическом плане... Бросайте вы глупостью заниматься, на суть, на суть свою взгляните...

— И что? — никак не мог понять я.

— Одежда — долой... Прически там разные, лаки-шмаки, ноготки крашеные, лифчики-шмифчики — зачем вам все это? Танцы-шманцы, музыканты, поэты твои хваленые, певцы, художники — все они населению только мозги пудрят, отрывают от планов, от конвейеров, от работ важных... На суть смотрите открытыми глазами. А то зарплаты тратите черт знает на что... Наши гуманоиды, которые у вас побывали, такие ужасы рассказывают... Что вы делаете?.. Жизнь друг другу сокращаете: измены, любовники и любовницы, убийства, кражи, коррупция неистребимая, ложь сплошная... А из-за чего все, если разобраться на трезвую голову? За чем всю жизнь гоняетесь? Почему в старости каждый из вас,

беспомощный и обиженный неизвестно кем, не может сам себе сказать толком: куда же исчезает тот сладкий огонь, что до сих пор душу грел? И тогда только, на финише, каждый из вас начинает понимать, что ничего ему не надо: ни одежды, ни лаков-шмаков, осознаете, что всю жизнь гонялись за миражами. Вот поэтому мы и утверждаем, что жизнь — сладкий сон, не больше. Нет в ней никакого смысла, который вы ищете веками и тысячелетиями, нет...

Признаюсь честно, у меня и руки опустились, и ответить ничего не мог. Все он как бы правильно говорил, логично, а между тем, между тем... Какой фокус он проделал... Молчал я, а это зеленопузое создание мне дальше о сути жизни рассказывало:

— Конечно же, вы двигаетесь в направлении познания сути, но очень медленно.

Тут я не выдержал, опять руку вверх поднял:

— Подожди, подожди... Дай передохнуть немного.

— Согласен. Новую философию нелегко принять и усвоить. Новая философия, кстати, будет формировать и новый порядок вашей жизни. Без нее, поверь мне, вы никак не выкрутитесь. Отречетесь, наконец, от христианства, мусульманства и буддизма под натиском прогресса, никуда не денетесь, а взамен что получите?..

— Так в чем же суть твоей сверхновой философии? — спрашиваю.

Он отвечает:

— НАМ ВСЕ РАЗРЕШЕНО.

Я совсем растерялся, глядя на этого метрового безносого гуманоида, которому все позволено. И не знал, честно скажу, плакать мне или смеяться... А ему было не до смеха, он дальше пророчествовал:

— Это наша главная заповедь. И еще у нас есть заповеди:

ГУМАНОИД — ВЫСШЕЕ СОЗДАНИЕ В МИРЕ.

ВСЕ В МИРЕ И ВСЕЛЕННОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ НУЖД ГУМАНОИДОВ.

Мы давным-давно решили проблему, над которой ваши философы не одно столетие себе головы ломают. Кто перед кем должен плясать: вы перед Землей и Вселенной или — Земля и Вселенная перед вами? Мы, мы хозяева не только нашей Дзеты, но и Вселенной. Сам видишь, какие огромные пирамиды мы построили для своих нужд, ты видел наши подземные заводы и туннели, огромные корабли на море, наши летающие тарелки, воочию убедился, какой порядок мы навели на Дзете. Мы еще не то сделаем. И поверь на слово, ничто нас не остановит, против прогресса не попрешь... Мы Дзету совершенствуем как хотим, под себя ее подстраиваем.

Тут он неожиданно, ни с того ни с сего, на стульчик вскочил, застыл, лапку вытянул и громким басом, у меня аж уши заложило:

— Мы не можем ждать милости от Дзеты, взять ее в свои лапки — наша задача! — После чего со стульчика спустился, но не успокоился: — И с философией у нас полный порядок. Есть и другие заповеди, на них я тебе намекал:

ФАНТИКИ — ЭТО ВРЕМЯ.

Без фантиков, как и без времени, ни одна цивилизация не может существовать. Нашелся у вас когда-то один человек, который на фантики замахнулся, менял из храма начал выгонять... И что вы с ним за его выходки сделали? На крест его и гвоздями калеными к дереву, гвоздями... Чтобы другим неповадно было на фантики посягать, его, распятого, вы рядом с разбойниками на горе вывесили...

И еще есть заповедь:

ЖИЗНЬ — СОН.

Хорошая это заповедь, хорошая... Она ваших людей будет успокаивать лучше наркотиков...

На основе этих заповедей мы строим новую мораль. Подумай хорошо, ты человек умный и со мной согласишься.

И исчез Лупоглазый, растаял, как мираж.

Я был потрясен. Подумал, еще немного и начну верить, что жизнь — всего лишь сон...

Глаза закрыл и сам с собой, умным, завел беседу. Одиночество на меня хорошо действует. Но не об этом сейчас хочу сказать.

О жизни я думал, о смерти...

Зацепил, очень зацепил меня своими размышлениями этот Лупоглазенький. Как и многие, я не каждый день думал о смерти, о смысле прожитого дня. Я — обычный человек с обычными людскими слабостями. Не философ, и даже не политик — это им все до мелочей известно...

Снова брат вспомнился: как морщится его лицо под вечер, когда он после рыбалки усталый садится в машину и глотает таблетки...

И рыбалку вспомнил. Не летнюю, а зимнюю, когда холодный ветер студит пальцы, когда видишь, как легкий поплавок всплывает на поверхность воды и ложится на бок, и тогда — не проморгать только — рывок удочки вверх... И ощущение льдинисто-холодной рыбы, может, даже и леща, который упруго натягивает жилку... А затем — взгляд в белоснежную даль, где горбятся рыбаки, подстерегающие свое счастье... Смотришь на ворон, кружащих над рыбаками: каркают, переговариваются между собой и все ждут, когда кто-нибудь из рыбаков отвернется, чтобы стремительно стащить рыбу... И понимаешь вдруг, что для тебя, как и для этих притаившихся рыбаков, главное — не рыбалка, нет, главное — ощущение пространства и свободы, радующих душу...

Красавица ненаглядная вспомнилась: пожалуй, от отчаяния телевизор разбила и сейчас с надеждой смотрит в окно, меня ожидает...

И строки поэтессы вспомнились:

Этот вечер не твой,
Эта ночь не моя...

И еще строки одного поэта вспомнились:

А была, только ночка была,
Только ночка на утренней сини,
Когда шел из родного села,
Если кани[1] остаться просили...

Был он тогда молодой, красивый и с легкостью, как это бывает в молодости, покидал родной дом, надеясь на счастье, которое ждало там, далеко...

И еще мне подумалось о ясноглазом семнадцатилетнем парне, заболевшем туберкулезом. Был он в то время далеко от родины, тосковал по ней. Он знал, что умирает. Знал и написал:

У краіне светлай, дзе я ўміраю,
У белым доме ля сіняй бухты,
Я не самотны, я кнігу маю
З друкарні пана Марціна Кухты.

Почему же он был не одинок перед уходом туда? Где энергетические поля, где черные дыры, где ненасытная пустота?

[1] Кани (канюк), птица.

Всего-то и было у него — книга тоненькая, в которой писал, как в барабаны крыш ветер бьет, как в лесу гул мощный слышится — то леший гудит... И еще сказал о нас тогдашних:

Краю мой родны!
Як выкляты Богам —
Столькі ты зносіш нядолі...

9

…Спрашиваю у гуманоида:

— Скажи как на духу, зачем мы вам понадобились, если вы такие умные? Думаю, вы не просто к нам свои тарелки посылаете. Не просто так меня здесь ублажаете: и различными кашами кормите, и кресло-лежанку подсовываете, и достижения свои показываете, секретов не скрывая. Вы же, видимо, и полтергейстов у нас делаете, да?

А он:

— Да, можем делать на расстоянии. Через глюонные связи можем делать где захотим. Не только у себя на Дзете, но и на вашей Земле. Получается полная материализация: и звуки создаем, и запахи, и предметы можем передвигать... Летающие тарелки, те, что вы видете на Земле, есть не что иное, как творение глюонного генератора — он создает иллюзию реальности, поэтому вы никак не можете поймать или сбить наши плазмоиды... Конечно, время от времени мы и сами прилетаем к вам, чтобы понаблюдать и проконтролировать, что у вас происходит. Мы открываем новый этап познания природы. Как человеку разумному, скажу тебе: у нас появилась небольшая проблема.

— Ну, говори, говори о своей проблеме, — тороплю его и чувствую: вот оно, главное, начинается, вот тот крючочек, на который, как на живца, хочет поймать меня Лупоглазенький.

— По непонятной причине в последнее время продолжительность жизни гуманоидов стала сокращаться. Живет, живет гуманоид, только-только наступает пора ему идти на отдых — бац! — и умирает. И еще одно наблюдается: толстые — толстеют, тонкие — худеют... Мутационный процесс резко увеличился. А все это выливается в издержки производства, производительность падает, эффективность деятельности приближается к нулю целых нулю десятых процентов. Планы, а они у нас, поверь, огромаднейшие, рушатся. Ко всему, еще микробы на нас навалились. И травим мы их, и лекарства новейшие применяем, а они мгновенно модифицируются и снова нас донимают. Вот поэтому ты никого на открытом воздухе не видел. Этот воздух мы так стерилизуем, так стерилизуем, а толку — ни на иглу... В лесах и на полях, ты сам видел, порядок отчасти навели: где — повыбивали лишнее зверье, а где — потравили, лишние растения, нам ненужные, пестицидами вывели. В море рыб хищных уничтожили, только семь видов оставили. А вот что делать с вирусами — никак не можем разобраться.

Смотрю, как только он вспомнил о микробах и вирусах, его аж затрясло. Со стульчика вскочил и забегал туда-сюда передо мной. Теперь он уже и на меня не смотрел, а все перед собой, словно там микробов и вирусов видел.

— Они же — живые, гады... И много их, везде пробираются: в зверей, птиц, рыб — целая невидимая цивилизация... Они же определенную форму имеют, почти такие же, как и мы, бывают... Ты представляешь: в клетку живую крошечную забираются, ее генетический код на свой лад переделы-

вают, а затем живут как у бога за пазухой, размножаются, никак их оттуда не выкурить. Не думают, что мы из-за этого страдаем от болезней разных... Более того — между собой они постоянно контактируют, обмениваются информацией, приспосабливаться могут к чему угодно. Они же хитрые... В зверей, птиц, рыб забираются, а затем через них к нам попадают. И они нам войну объявили почему-то. И тут уж — кто кого... Одних начинаем травить ядохимикатами, гормонами, антибиотиками, пестицидами, они тут же с собратьями контакты налаживают, друг другу сигналы передают, форму меняют, мутируют, из птиц в зверей перебираются, из зверей — в рыб, не поймать их никак... С еще большей злостью на нас наваливаются. Мы же не только воздух стерилизуем, воду кипятим постоянно, но и продукты абсолютно все консервируем... И все равно микробы до нас добираются и грызут, поедом едят... Из-за них наша жизнь сокращается. Пар-разиты, одним словом, сволочье проклятое. На деревья залезут, и только в лесу появишься, они оттуда на наши головы пикируют. По траве босиком нельзя пройти — там их кишмя кишит... В море нельзя залезть. После того, как мы колючих, никому не нужных медуз выловили и на консервы пустили, они почему-то вонючими стали. Мы от вирусов круговую оборону держим. Ведь в любой момент наша цивилизация из-за какой-то бациллы может погибнуть. Нечто подобное у вас было, когда монгольская империя развалилась. А из-за чего, из-за кого? Маленькая заразная блоха впилась в монгола, и зараза давай косить их одного за другим... А ваш Александр, который полмира захватил, чем кончил?.. А другие цари и властелины отчего гибли? Из-за них, вирусов проклятых, счастливая жизнь сильных мужей обрывалась...

И снова из него начало исходить то, что до сих пор от меня скрывал тщательно, — злость... Такой маленький, меньше брата моего, тщедушный, а столько злобы, как мать когда-то говорила: полные кости...

Мне не только брат, но и другие говорили, что я слишком люблю советы давать.

— Жрать надо меньше, тогда и жить будете дольше, и толстеть перестанете, и здоровее станете.

А он мне, чуть не подавившись:

— Нет, проблема глубже спрятана. Еда у нас, сам пробовал, калорийная, энергетическая, усвояемость сто процентов, ее и жевать не надо. Антибиотиками, гормонами и стероидами приправлена, генетически под наши организмы усовершенствована, консервантами сбалансирована — прекрасная у нас еда. Мы ее только раз в сутки употребляем. После такой правильной пищи наши покойники, которых в Дзету закапываем, годами не портятся, мумифицируются сами собой... Мы потом их через генетический код и клонирование воскрешать начнем. Но не всех, я тебе уже говорил, только избранных...

— А стволовые клетки не помогают? — ласково спрашиваю.

— Сначала помогали, но не очень... Эти гады, микропаразиты, эти вирусы невидимые к чему угодно приспособятся, не только к стволовым клеткам...

Поднимаюсь со стула, смотрю на Лупоглазенького и говорю:

— А что же вы хотите, дорогие? Ладно вы мне мозги пудрите, пусть... Но вы что, и Дзету красивую, живую и разумную обмануть надумали? Только вам жить хочется, а другим нельзя, не положено? Ни муравьям, ни пчелкам, ни мошкам, ни бабочкам, ни рыбам, ни птицам, ни зверю — только вам можно?.. Только вы умные, а остальные все — дураки, у них одни инстинкты?.. А сами вы откуда на Дзете появились? Скажи мне, откуда вы такие умные появились?

— Мы с деревьев слезли и сразу же за работу принялись. Своими лапками свое счастье строить начали. Вот так мы и появились, — попытался он отбиться от меня. — Работа сделала гуманоида Гуманоидус Сапиенсом. Этим он и отличается от всех зверей и птиц. Ну, и ум, конечно, нам помог. У всех живых созданий есть инстинкты, а у нас — ум всем правит...

— А когда вы на деревьях сидели, в ваших головах был разум или только одни инстинкты?

Заколебался Лупоглазенький. Растерялся даже.

А я его добивать начал:

— Так скажи мне, когда же в ваших головах появился разум?

— Когда с деревьев спустились, тогда разум и появился. Вместе с работой появился... Сначала он был крохотным-крохотным, а потом развился, к информационному полю начал подключаться. Сейчас, сам видишь, какой он стал, всю Дзету охватил наш разум. И мы уже через чипы и суперкомпьютер можем в любой момент подключаться к информационным полям, становимся еще более разумными. У-ух, какие мы сейчас, не то, что прошлые поколения!..

— А поглупеть от большого разума не можете? После чипирования и клонирования опять на деревья не полезете?

— Не-ет, — замотал он головой, — никак не можем.

— А он, разум ваш, из космоса к вам прилетел? Ты мне скажи, наконец, что есть ваш разум? Как же он возник в ваших головах?

— Да что ты ко мне пристал с этим разумом?! Какая разница, откуда и когда он появился в наших головах? Может, из информационного поля мы подпитываемся...

— А я у тебя, умного, хочу спросить, почему вы так смело все живое вокруг себя умерщвляете? Может, у вирусов также разум есть. Может, они для того существуют, чтобы жить за ваш счет? Если вы Дзетой править надумали, то и вирусы не лыком шиты... Вы же сейчас от видеоэкранов и кресел-лежанок оторваться не можете, и скажи мне, что, какая чертовщина вас возле них держит? Инстинкты или разум? Может, хваленый разум заведет вас в такую трясину, откуда никогда не выберетесь? Слепые слепых водят... Дзета думать не может, только вы можете думать? Ужас... По птицам из пушек собираешься палить, химикатами рыбу травите, семь видов в море оставили. Вы же свою Дзету ненавидите, в пирамиды свои залезли, босыми на траву или в лес выйти боитесь. Всех боитесь, не только микробов и вирусов: и птиц, и бабочек, и муравьев... А Дзете только и надо — чтобы ее любили и почитали, как родную мать. Дзета от вашей деятельности стонет... Удивляюсь, как она вас еще терпит, не сбрасывает со своего тела ни землетрясениями, ни цунами. Может, умная Дзета вирусов невидимых на вас и насылает, чтобы усмирить немного, ты не думал об этом?

Гуманоид смотрит на меня, ошеломленный. Даже глазками не моргает. А я дальше ему «деревню темную» припоминаю:

— Почему это я и по лесу могу ходить босиком, и в реке купаться? И никакой черт меня не берет. А в деревне моей, которую ты темной называешь, все люди с животными как с равными разговаривают, клички им дают, покрикивают на скотину, жалеют ее — одной семьей живут... Посмотри вокруг, может, на любви вся жизнь держится. Да, на ней, а не только на разуме, не на работе и какой-то там борьбе твоей. А вы что творите? Чипы в головы детские монтируете... Сладкое детство у ребятишек отнимаете... Вы что, не смыслите, куда полезли? Да по вам не только вирусы, но и те же поля энергетические так долбанут, что атомная бомба, те же Чернобыль с Фуку-

симой раем покажутся... У нас на Новой Земле когда-то такую водородную бомбу рванули, чуть всю планету не испепелили, сами разумники-ученые испугались, а не только политики, — два часа многоверстная огненная сфера пылала, еще немного добавили б мощности — и Мировой океан заполыхал бы... Только ужас перед огненной сферой и остудил ученых и политиков. Правда, перед отправкой к тебе мне стало известно, что они в другом направлении рванули со всей силы — через коллайдер Бога за бороду решили подергать, частичку его, говорят, уже нашли... Не начнется ли здесь то же, что было когда-то с водородной бомбой, с башней Вавилонской, если не хуже?.. Суть, суть вам подавай, полтергейст вы научились делать... Учить меня собираешься, а сам хоть бы шмотки какие-нибудь надел, срам свой прикрыл...

Сам не заметил, как дразнить начал Лупоглазого — голоском его запел:

— Любовь вам не нужна, кресла-лежанки у вас вместо нее. Видеоигры вам нужны, к листикам и экранам так прилипли, что отличить не можете, где жизнь, а где вымысел... Детишек чипами с младенчества морально калечите, не знают, бедные, что такое грех, что такое стыд. А потом, когда подрастают, какими они становятся? Только квантовую механику с энтропией знают. А что еще они знают? Да и ты сам о стыде, о грехе ничего не знаешь. А что такое грех?.. Вы же все границы переступили, Содом и Гоморру узаконили, инкубатории для детей узаконили... Не только все живое на Дзете погубили и испоганили, но и самих себя опаскудили лживым словом... Каждый из вас только сам собой занят. Фантиками, чипами и креслами-лежанками озабочены... Только и думаете, как бы пожить дольше, через клонирование и замораживание в вечность мечтаете залезть, только и грезите, как бы наслаждения побольше ухватить...

Видимо, у меня был очень грозный вид, так как Лупоглазый головой завертел, лапки вниз опустил и давай свой бугорок прикрывать...

Долго я мораль ему читал, а когда на душе немного отлегло, спрашиваю:

— И какие у вас, горемыки, предложения?

А он:

— Ваш генетический материал нам позарез нужен. Кое-какие эксперименты мы уже сделали, когда на Землю прилетали и ваших представителей на тарелки забирали, чтобы опыты провести. Результаты положительные. Наши ученые планируют обновить генофонд гуманоидов вашим генофондом. Этой межцивилизацинной акцией мы резко повысим свой ослабленный иммунитет против различных вирусов.

Тут я рот и открыл. А закрыть его никак не могу, как брат, когда леща проворонил.

А он дальше поет:

— Ничего страшного, нет никакой мистики... Мы вам передаем технологии, наши передовые достижения, а вы нам группку добровольцев высылаете. Не хотите добровольцев, преступников давайте. Чем их в тюрьмах годами держать и деньги на них тратить — нам высылайте. Мы на них быстренько уздечки накинем, через неделю, когда чипованными станут, сами себя не узнают, шелковыми будут... И начнем мы тогда новый исторический этап, где будет господствовать Гомо Гуманоидус. Вау, какой он будет сильный и мудрый! Мы не только начнем клонирование, не только новых существ выведем, вообще новую реальность создадим. Если ты такой упрямый, тогда открою самую большую тайну, которую до сих пор мы скрывали от тебя:

ЭНЕРГОПОЛЯ ПОСРЕДСТВОМ ГУМАНОИДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ САМИ СЕБЯ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ.

Для этого, только для этого в мире мы, гуманоиды, и появились, в этом суть нашей исторической и космической миссии. Тут даже ваши философы вместе с моралистами не смогут к нам придраться, ведь все будет делаться на законной философской основе. Скоро мы во всей Вселенной хозяйничать сможем. Мы все сможем постичь, даже в черные дыры сумеем заглянуть и узнаем, куда же материя исчезает, за радиационный пояс Вселенной выйдем и с Суперразумом прямой контакт наладим.

Я же ему:

— И не думай, и не надейся на мою помощь... Я тебе помогать не буду. Сам лезь в мир параллельный, в черные дыры, откуда выхода нет... Я лучше с братом на рыбалку рвану или на дачу любимую, где дуб стоит, косить траву там буду.

Поудобнее в кресле уселся и, на Лупоглазенького пристально глядя, по словечку начал выговаривать. Теперь уже не он меня, а я его учил:

— Косу отобью, первый покос пройду и не замечу, как за забором, где тропа узкая, красавица появится. Увидит меня, работающего, дуб столетний, клевер зеленый, мягко под косу ложащийся, и спросит удивленно:

— А у вас что — и грядок нет на участке, как у хороших хозяев?

А я ей, работу не прекращая:

— А зачем мне грядки? У меня вместо них дуб растет. Энергетический. Подойдешь к нему, руку приложишь к коре шершавой и вскоре безо всякого врача становишься здоровым.

Она и прилипнет к деревянному забору. Подумает какой же умный человек ей на пути попался!

А я на нее вроде бы и смотреть не буду. Раз пять махану, а потом — косовище в землю, оселок из кармана достану и не спеша начну точить косу. Шах-шах, шах-шах... Глазом ее фигурку окину, взглядами встретимся. Глаза у нее синие, глубокие, как вода озерная. Утонуть можно, если смотреть долго. Поэтому я первым отведу взгляд и буду заставлять себя о работе думать. А она, помолчав, как и всякая женщина, начнет мне давать советы:

— Так вы, может, тарахтелку завели бы, которой траву косят. Сейчас все ими на участках тарахтят. Сейчас все по иностранной моде газоны делают — ни одной лишней травинки на них нет. Культурно получается...

Я ей спокойно:

— Тарахтелкой пусть умные и культурные интеллигенты работают, а я, может, настоящий мужчина. А такой должен уметь косить. Зачем мне лишний шум в голове...

И опять за косовище возьмусь. И снова возле ее ножек: шах-шах, шах-шах...

Она дом мой осмотрит и удивится:

— А у вас что — и телевизора нет? Антенны не видно.

— А зачем мне телевизор? Он же людей зомбирует.

— Как это — сегодня жить без телевизора? — удивляться будет. — Скучно без телевизора. Концерты там бесплатные, сериалы бесконечные... Веселее с телевизором. А тем более, если он цветной, на жидких кристаллах... Новости разные посмотришь, что в Африке делается, в Америке... Образованней становишься.

— И нужна тебе та Африка вместе с Америкой… — начну ее учить. — Ты что, без них обойтись не можешь? Ты лучше своей душой займись, а то уже и сама не заметила, как закодированной стала, сидя у телевизора, наблюдая за чужими размышлениями. Так и не заметишь, как настоящая жизнь меж пальцев уплывет водицей.

— Так что же мне делать? — растерянно спросит. — Только о работе на конвейере думать, только в одних грядах и ковыряться изо дня в день?.. Я же тогда некультурной буду...

Посмотрю я на нее пристально, как она голову вниз опустит. Губы небольшие, полные — значит, не злая... Пальцы ее на заборе белеют, тонкие, нежные... Щеки чистые, беленькие — не пьяница, не курит... Пожалеть придется, утешить...

— Скажу тебе правду: слишком культурные женщины мне не нравятся. Толку мне от их культуры, если я и сам грамотный. Холодные они какие-то, как пыльные справочники в библиотеках... А мне нужно, чтобы рядом был человек душевный, чтобы с ним было приятно поговорить.

— Так я разговорчивая, — голубые глаза засветятся радостью. Признается: — Я поговорить люблю. Только бестолковая немного...

— Ну, — успокою, — это можно исправить. При хорошем муже быстро толковой станешь...

...Косовище в клевер возле ее красивых ножек воткну, опять за оселок возьмусь, и взглянув ей в глаза, скажу:

— Как по мне, то будь ты бескультурной, но душевной. В Житиве, где я родился, девушки были не очень культурные, академий не заканчивали, зато какие душевные песни пели! А частушки какие веселые были!

Я глаза прикрою, вспомню деревенских некультурных девушек. Вспомню, как они пели:

Ты не цісні мяне да плоту
І не лезь абы-куды.
Я табе не гарадская,
Як пажэнімся — тады...

Звучало это в темноте, под звездным небом, когда молодежь расходилась по домам после танцев... И полнились тогда те частушки жизнью, и женщины, услышав свеженький, еще тонкий голосок, спрашивали сами себя: «Чья ж это такой голосок подает?.. Зацветает, как маков цвет…»

Подумаю, может, спеть ей какую-нибудь частушку?.. Я их много знаю... Но спохвачусь: не стоит, начнет обо мне думать как о каком-то хаме... Поэтому скажу:

— О-о, какие искренние и душевные девушки были когда-то в деревнях! А теперь слышала, чтобы культурные женщины песни пели? Им же стыдно песни петь вслух. Так что ты не о культуре думай, а о муже хорошем, о любви. А то одна раньше времени одичаешь... Не только мужчины дичают в одиночестве, но и женщины. Начнешь, как одна моя знакомая в интернете играть. «Жених» игра называется. Мышкой щелкая, она грядки полет, цветы выращивает, одним словом, ведет виртуальное хозяйство. И вот, если все будет сделано, в качестве награды на интернетовском горизонте показывается голова мужчины. Здоровенный. Усы, как у таракана, борода, во-о, — показываю ей, — как у друга моего, который гены изучает, нос длинный. Мышкой щелкая, она его под свой вкус исправляет, — захочет, усы урежет, бороду укоротит, нос исправит. Сделать это — как раз плюнуть, виртуальные технологии что хочешь могут создать: машины, пистолеты... И такого она красавца своими руками вылепит, что начинает аж млеть от радости.

Куда там мужу родному до этого красавца! Голодный, высохший, как и ты, копается он днями в огороде, а она только виртуальным женихом любуется.

Принарядит, по своему вкусу костюмчик на него натянет, галстучек на шею повесит, не будет же он целыми днями голым торсом перед ней светить.

И вот, поверишь, вскоре у них детки появляются. Хотя и виртуальные, но на жениха похожи. Вылитые...

Дальше — больше. Она начинает их воспитывать, за женихом ухаживает с большой любовью.

Вот как сейчас все делается.

Ты, может, тоже жениха в интернете ищешь?

— Нет, — признается она, — я интернетом плохо владею. А без него где ты сейчас достойного мужчину найдешь? — спросит она не то у меня, не то у окружающего мира.

— Как это — где? — теперь уже я спрашивать буду. — На тропинке можешь встретить, на дороге. Мало ли где... Не в телевизоре же, и не в интернете ты его встретить можешь. Или ты, может, как моя знакомая, — только о женихе из интернета и мечтаешь?

И в ее голубые глаза пристально загляну... И снова синева озерная начнет затягивать.

Румянцем щеки вспыхнут, заалеет вся. Глаза к траве зеленой опустит. Если краснеет, значит, не все еще потеряно, не одичала еще...

Не буду, не буду ее до слез доводить...

Точить косу начну.

И тут она увидит, как из трубы моей бани сеется голубой дымок. И спросит:

— А у вас что, кроме дуба еще и баня есть?

Я и не подумаю работу бросать, покос у ее ног гнать буду и говорить:

— Как это может быть — чтобы у настоящего мужчины на даче и не было бани? Я после работы вечерком попарюсь там дубовым веничком.

Тихо так выдохнет:

— Хорошо вам, и дуб энергетический, и баня своя, а не казенная, где дышать нечем. А у меня — одни грядки с сорняками вечными.

Опять утешать буду:

— Ничего, это уж такая ваша женская доля — за мужчиной ухаживать да грядки полоть, хозяйство вести...

Покос мой — само собой получится — вокруг ее ножек ляжет.

И тут снова — глаза в глаза — взглядами встретимся. Опять я косу точить начну, а она тихо:

— А посмотреть можно вашу баньку? Может, если разбогатею, и я надумаю такую построить.

— Конечно можно, — отзовусь. — Хорошему человеку всегда готов помочь. Заходи.

И вот она в бане. На полок смотрит, на печь — я ее сам сконструировал и три раза перекладывал — до толка доводил... На полок сядет, шепнет тихо:

— Тепленько здесь. Хорошая банька. Вы что, так один и будете париться?

— Почему это — один?.. Если хороший человек попадется, могу и пригласить. Я что, жмот какой? Сама видишь, места хватает. А пара мне не жалко. И веничка с моего дуба энергетического хватит не только на двоих.

Голову печальная опустит. Задумается о чем-то только ей известном.

Затем молча из баньки выйдет. Вслед за ней по тропинке к калитке не пойду. Ведь у меня, как говорила мать, работы — по уши: баню нужно топить,

косить. Посмотрю на ее ровную спинку, на фигурку округлую, на полные ножки… В самом соку женщина, не перезрела еще. Пропадает... Ни за грош пропадает... Буду стоять возле бани и молчать.

Как каменный.

А она, к калитке приблизившись, оглянется, и так тихонько:

— Вот бы мне попариться...

Как и положено — помолчу сначала, а потом скажу:

— Как смеркаться начнет, можешь приходить. Веник я сейчас замочу.

Бесшумное солнце к земле припадает — к той недосягаемой линии между полем и небом, которую называют горизонтом. В городе эту линию не увидишь — высотки каменные не дадут посмотреть на удивительное зрелище.

Но если ты за городом, где тишина и простор, перед глазами поле и лес далекий, а ты сидишь на скамейке у дома, тогда посмотри на большой красно-малиновый диск, который тихо клонится к сероватым облакам. И не спеши, ни в коем случае не спеши отводить взгляд от солнца, оно уже не слепит. Тишиной и спокойствием, окружающим тебя, будет наполняться душа твоя. Начнешь думать о дне прожитом.

О-о, как быстро он промелькнул! Только-только было ясное утро. И чистое и нежаркое солнце на востоке веселило и будоражило, согревало душу надеждой на неизбежное счастье. И уверенность была, что за долгий день столько сделать успеешь: и встретиться, и переговорить, и поработать. И ты спешил, хватаясь то за одно, то за другое, и часто средь бела дня, поднимая вверх глаза, видел палящее солнце, катящееся среди облаков. И думалось тогда: еще далеко до вечера, еще успеется... И снова, глаза от неба оторвав, хватался за свое привычное и запланированное, забыв о солнце, которое катится и катится к той недосягаемой линии, границе неба и земли. И вот, когда сидишь на скамейке и тихо смотришь на серовато-светлые сугробы, к которым склоняется малиновый диск, неожиданным чувством полнится душа: таким коротким оказался день!

И что ты успел сделать за этот день?

О-о, если бы этот день смог прожить заново, то совсем иначе провел бы его: не хватался бы за нескончаемую работу, по-другому говорил бы с людьми.

Но день заканчивается.

И тогда грусть окутывает тебя. И о чем-то другом начинаешь думать, словно в душу свою заглядываешь. И если не испугаешься, то увидишь там много лишнего, тебе ненужного, за что жадно хватался целый день.

Ах, если бы снова начался рассвет, то все иначе сделал бы...

Но солнце прячется за низкие серые тучи, стелющиеся над горизонтом, и скоро ночь серым, черным покрывалом опустится на землю.

Окутанный тишиной и величием неба, ты будешь смотреть на светло-розовые облака — солнце закатится за них и оттуда, невидимое, начнет посылать вверх бело-золотистые столбы...

Почему-то вспомнится тихое детство, те вечерние мгновения, когда смотрел на заходящее солнце и думал, что оно каждый вечер начинает светить над другим сказочным краем, где все-все праздничное и золотистое, где люди веселые и красивые, и живут они счастливо и богато. И верил тогда, что скоро, как только вырастешь, рванешь в тот сказочный недоступный край, куда прячется малиново-розовое солнце.

О-о, каким спокойствием и уверенностью в грядущем счастье наполнялась душа твоя, когда смотрел на закат солнца!..

И вот теперь — умный и взрослый, снова, как и в детстве, смотришь на закат. И почему-то — почему, скажите мне, почему? — глаза начинают слезиться, чувствуешь, что за короткий день ты так чего-то и не познал. И не денег тебе жаль, не работы незаконченной...

Для души своей ты чего-то не приобрел...

Но не спеши отчаиваться.

Оглянись, без гнева и злости оглянись — туда, где солнце всходило. И странно: увидишь, как разгораются праздничным розово-белым светом облака. Будто там вот-вот снова появится солнце. Небо станет более глубоким и рельефным, — почувствуешь душой его величие, от запада до востока оно будет пронизано светом невидимого солнца.

И снова, в который раз за вечер, душа наполнится новым чувством, — грусть и скорбь о чем-то потерянном отступят, вдруг почувствуешь единение с огромным небом, с невидимым солнцем. И тогда совсем по-другому подумаешь о неизбежной ночи, — сквозь слезы подумаешь о звездах, что вот-вот появятся над головой и покажут тебе иной мир, дадут новую радость...

В еще прозрачном небе загорится первая звезда. И на тропе покажется она. Сразу же, зайдя в предбанник, скажет:

— Я раздеваться не буду. Стесняюсь. В купальнике буду.

«А ты уверена, — мне так и захочется спросить, — ты уверена, что без купальника мне на тебя будет интересно смотреть?..»

Но не надо обижать горемычную. Говорю с безразличием, чтобы ее успокоить:

— Будь в купальнике, если тебе хочется. Я же — не нахал какой. Я тоже в плавках буду...

Баня горячим духом пахнет. Камни, которые в поле собирал, зашипят сердито, когда плесну на них кипятком. Она тихо сидит на полке, вижу, как ее кожа покрывается белыми капельками — от глаз до пят.

— Ложись на живот, — говорю, — буду парить.

И ведь странно — чем дальше, тем больше она, разговорчивая, молчит. Послушно на липовые доски ляжет. Веничком распаренным по пяткам пройдусь. Она вздрогнет всем телом, тихо выдохнет:

— Ой...

Снова поддав пара, еще раз приложусь к пяткам и опять услышу уже знакомое: «Ой...»

А потом с размаху резко ударю веником по ее лодыжкам, по бедрам, приближаясь к голове. И раз, и второй, и третий... Лифчик — так получится — расстегнется, и под ним покажется полоска белого незагоревшего тела.

— Не жарко? — спрошу и, снимая жар, проведу по ее телу рукой.

Она молчать будет. И тогда уже, пара поддав, со всего размаху начну резко и сильно бить веником по ее мягкой и безвольной спине. И теперь она не скажет ни слова.

— Перевернись, — глухо шепну. И она послушается. И снова буду бить веником по ее телу, снизу доверху, минуя белую незагоревшую грудь. И время от времени рукой стягивать с ее тела лишний жар.

И тогда увижу, как она, безвольная, начинает плакать, — рукой по глазам проводит, стирая с глаз и щек прозрачные крупные капельки...

— Успокойся, — снова шепну. — Не только ты одинокая. Мы все одинокие...

И потом, когда она, выплакавшись, пойдет росистой тропой к своему дому, я тоже выйду под звездное небо. Тихо будет в мире, как под водой. Рядом

высится дуб. Увижу траву скошенную, что валами на земле лежит. И от покосов привяленных запах клевера донесется... И косу недалеко от дуба увижу — косовищем в землю воткнутую. Под лунным светом блеснет серебром изъеденная оселком сталь. Белоснежные звезды будут мигать над головой — куполом сказочным обволакивать меня. Почему-то детство вспомнится, когда чувствовал себя в центре Мира — все кружилось вокруг меня: и солнце теплое, и звезды бесконечные, и дороги гибкие... И подумаю о других дубах, которые сейчас в темноте вырисовываются в поле за речкой извилистой — у неприметного деревенского дома. К дому этому люди ежегодно ходят, чтобы посмотреть на колыбель, в которой когда-то мальчик рос. Так же когда-то над его головой звезды мерцали, и так же луна светила, так же смотрел мальчик на землю тихую, слушал, как мать поет колыбельную, а потом, когда подрос, в свет подался и там, насмотревшись горя людского, тихо выдохнул:

Народ, беларускі народ,
Ты цёмны, сляпы, быццам крот.
І мовай тваёй пагарджаюць…

Давно это было, в иное время…

И за это, только за слово поэтическое, его за решетку посадили... Он же не разбойник был, из храмов никого не выгонял, всего лишь правдивое слово сказал...

Изменилось время, изменился народ, — памятник поэту поставили.

И почему-то закружится у меня голова, и снова до слез пожалею, что я не поэт, не хватает у меня слов, чтобы рассказать о тайнах бесконечных, людей объединяющих.

И как рассказать тебе, Лупоглазенький, об этих тайнах, о любви загадочной? Как рассказать, когда и от чего она вспыхивает?..

А он, как пьяный или как неразумный, свое будет твердить:

— Понимаешь, я тут ни при чем, да и ты не виноват. Мы с тобой — всего лишь представители различных цивилизаций, послы, так сказать, доброй воли... Люди ваши, на Земле, так жаждут встретиться с нами, СЕТИ организовали, в которые миллиарды вбухивают, контактировать хотят, в телескопы нас увидеть, целые международные космические экспедиции создают, чтобы с нами скорее встретиться, а ты — против... Опомнись, деревня темная... Неужели ты против прогресса? Налаживать контакты мы должны. Тебе только и работы — передать наши предложения, а прилететь — мы и сами на летающих тарелках к вам можем. Создадим межцивилизационную контактную группу, условия обсудим. Не будем же мы все делать ни с того ни сего... Главное, передай вашим, что мы — реальность. Передай, что это мы к вам когда-то прилетали и научили ваших жрецов пирамиды строить, разуму научили... И вот сейчас мы снова готовы помогать вам во имя светлого будущего и прогресса...

И что мне оставалось делать?

А что бы вы сделали на моем месте?

Махнул я в отчаянии рукой...

10

...Через иллюминатор самолета, когда домой летел, я смотрел вниз и видел там, в разрывах облаков, безбрежный океан.

Все думал над своими приключениями. И обидно мне стало почему-то... И снова одиночество на меня черной волной накатило.

За чем в этой короткой жизни гоняться и за что цепляться?.. Почему люди стали такими растерянными? Почему они обеими руками хватаются за то, что им никогда не понадобится? Почему люди людям верить перестают? Почему же все время в бедах своих мы ищем виновных и никак не можем найти их?.. Почему радость исчезает из наших душ?

...И тогда я увидел внизу берег океана. На том берегу хижину, а в ней старика, который под утро видел львов — они будто котята выбегали из леса на берег и начинали играть. Днем к старику приходил мальчик из поселка. Старик и мальчик были одинокими, и как бывает в таких случаях, дружили. Говорили на равных о футболе, боксе и, конечно же, о рыбалке, так как старик всю жизнь рыбачил.

Затем привидилось мне, как старик утром выплывает в море. Уходит далеко-далеко, куда рыбаки обычно не заплывают. На сардину он хочет поймать большую рыбу. И ловит ее. Вижу, как борются рыба и старик, и силы у них равные. Рыбина мощная, тянет лодку со стариком в океан безбрежный. И день проходит, и ночь, и новый солнечный день наступает, а они все сражаются, старик и рыба. До кровавых мозолей натираются руки старика, солнце обжигает кожу на плечах... Наконец утомленная рыба всплывает на поверхность океана. Она такая огромная, что в лодку никак не поместится. Старик привязывает ее к лодке и направляется к берегу. И вдруг возле лодки появляются ненасытные акулы. Острыми зубами они отхватывают от рыбины куски. И снова старику приходится бороться — бьет веслом по акулам, но их много, и они такие голодные... И ночью, когда старик подплывает к берегу, от рыбы остается только обглоданный скелет. Измученный, истощенный, с окровавленными руками, старик укладывается в бедной хижине. Я вижу, как утром в хижину приходит мальчик и, увидев окровавленные руки старика, а на берегу огромный скелет рыбы, начинает плакать.

И жаль мне этого старика до слез.

Жаль мальчика…

Понимаю — годы, века пройдут, а все так же старику будут сниться львы, все так же он будет ловить большую рыбу и бороться с акулами до самого конца... И все так же к нему утром будет приходить мальчик и плакать...

И еще увидел, когда сверху на задымленные облака смотрел, другого парня, того, который когда-то из дома ушел, и которого кани остаться просили. Увидел его, одинокого, в городской квартире. Среди ночи не спится ему — воду пьет из крана, а затем садится у окна и смотрит на тихую пустынную улицу, освещенную фонарями. Вспоминает, как осенний морозный ветер с шелестом гоняет листву по остывшей земле, как первый снег кружит над деревенскими домами, над пустыми огородами. И тогда, в ночной тишине, он начинает писать рассказ о жизни, о смерти, о том, как с первым снегом в деревне свежуют вепря, как перед этим сорока, учуяв близкую смерть, из-за забора мелькнет перед глазами и, затрещав, зачекав, заломав хвост, тут же исчезнет.

...А затем я вижу, как он, тот парень, усталый, словно блудный сын, возвращается туда, куда все в свое время возвращаются — к истокам своим...

Тихий летний вечер. Идет он через луг по узкой тропинке, ведущей к тому дому, из которого когда-то ушел в мир... Сеется, шелестя, дождь, и вдалеке, за стеной дождя и тумана, слышно, как звенит цепь, которой спутана лошадь...

И думает он, что скоро, очень скоро, когда душа успокоится, он начнет писать новый рассказ о лошади, гуляющей на воле...

И опять же — понимаю: время не властно над этим несчастно-счастливым поэтом, писавшим о добре и надежде…

И еще увидел голубоглазого юношу, заболевшего туберкулезом. Смотрел, как он сидит на скамейке на морском берегу и смотрит вдаль на белопенные волны. То и дело кашляя, вспоминает свою родину, свой край, как будто проклятый Богом, никогда не бывший счастливым...

И начинает шептать, шептать строки стихотворения про деда, который спустился с печи и сидит у реки, греясь на солнце, и не жалеет, что скоро станет землей. Парень шепчет о своей душе, словно дикий ястреб, рвущийся в небо, на простор...

И не одинок он, ведь книжку имеет…

И опять же, знаю точно, что время не властно над этим парнем, никто над ним не властен — ни философы, ни хохмачи, которые из жизни и смерти очередную шутку лепят, ни политики, наперед все знающие...

И тут словно пелена упала с глаз моих. И подумалось мне...

О-о, не скажу я вам, о чем думалось мне в те минуты, когда домой возвращался и через иллюминатор самолета смотрел свысока на беззащитно открытую землю, без которой человек не может жить...

P. S. С моих слов друг записал все верно, ничего от себя не добавил. Если будет печатать мои приключения, то пусть гонорар возьмет себе. Даю разрешение на публикацию. Под чем и подпись ставлю.

Базыль, родом из Житива.

Перевод с белорусского Максима ПЕЧЕНЯ.





Юрка ГОЛУБ

Да слово — только тень былого

Околица

Балует аист, Богу люб,
Он, не затюканный навечно,
Вперяет в небо острый клюв —
Дозорной башни наконечник.

Роса опала, как берилл,
На травы звездным отраженьем,
И верный пес благодарил
Судьбу собачью за ошейник.

Петух же гнев не остудил
За отстраненье от полетов
И все, что вызрело в груди,
Вдруг выдал миру на воротах.

Уже не трезв, еще не пьян,
Без лишней спешки и огласки
Рубль оттопыривал карман
И не давал уйти в завязку.

Затарахтела, завелась —
Страна прочухалась на тракте.
Дымок поднялся от стола,
И врылся в землю дряхлый трактор.

С гнильцой попался, что ли, дуб:
Стоял — и крив, и несолиден,
Стараясь быть не на виду —
И все же был он очевиден.

Попытка баллады об оборванном проводе

Провода привели
На отрезок исходный.

Хутор — как равелин
Перед сбором походным.

Провод свис со столба
Черным знаком вопроса.
Окривела судьба
Четких фаз перекосом.

Ветер, словно барьер,
Брал пригорок в задоре.
Весть летела в карьер,
Что вестей будет море.

В паучином ярме
Ежевика дичала.
Тронь певучую медь —
Брызнет искра вначале.

Бронзовеющий бор
Не подвержен изъянам.
Не достанет топор
Княжий дух из кургана.

След столетий в ночи
Отсчитай по зарубкам.
Жар икон и лучин
Жадно схватит за руки.

Влажным пальцем века,
Словно книгу, листая,
Кто-то выйдет искать
Стихший голос восстаний.

Мир на грани завис,
Ржавым проводом замкнут,
Что спускается вниз
К равелину и к замку.

Утрата

Все мглится в памяти, как морось:
Снег оплывал, теряя бель.
Молчала дремлющая поросль,
Не веря слухам про капель.

Корою зашуршало слово,
Овеяв оттепелью сад…

Да слово — только тень былого,
А сада не вернуть назад.

Выезд на Кромань

Смеркалось. Предчувствуя сбор,
Сиял полумесяц короной.
Отнюдь не декор, а укор
Отвесила Кромань.

Простор набухал в тишине
За леса полоской.
На Кромань набросил шинель
Туман налибокский.

И дуба раздвоенный шип
Заклинил небесные сферы.
Застыли медведиц ковши
Натянутым нервом.

Терзала струну маета,
А та все терпела.
Вот так и земля на китах
Измучила тело.

И томная, знойная лень
Укутала снами,
И чья-то небыстрая тень
Запала за камень.

Утратила башня легенд
Былую сноровку.
Подсунул задумчивый ген
Ладонь под головку.

А после молва донесла,
Что грянули громы:
Что толку писак посылать
Без дела на Кромань?

. . . .

Бессовестно солнце пекло.
Курилась пылюга, как ладан.
И падал на сломе поклон
Под оси баллады.

Обыденность

Реки решительный браслет
Окрестность обнял за запястье
И закрутил в ее сюжет
Почти шекспировские страсти.

Отсюда только вот на днях —
Понятно, втайне от закона —
Без толку жулики со дна
Тащили клад Наполеона.

А при затменьи на бугор
(Потом не раз припоминали)
Полезла тьма из берегов:
Того и при панах не знали.

И странный слух тогда возник,
О том, как в пору ледохода
Рекой плыл колокол — язык
Его был льдом обложен твердым.

А раньше, где-то с Рождества —
Ну, в общем, накануне Пасхи —
Тут дуб легендой обрастал,
Обмеру неба неподвластный.

А упомянутый браслет
Был сдан в ломбард безродным смердом.
В могиле сплюнул его дед:
И как земля такое терпит?

Перевод с белорусского
Андрея ТЯВЛОВСКОГО.





Ирина ШАТЫРЁНОК

Два рассказа

Русская Катя

Каждое лето наш двор полнился слухами — цыгане пришли. Они объявлялись неожиданно, ближе к апрелю. Людская молва разносилась быстро, как огонь по сухой траве. Говорили, что остановились они целым табором у реки, там, в пригородных лугах пасутся их кони, по ночам на берегу реки горят костры. Дворовые ребята-подростки все лето пропадали на рыбалке, купались в Уше, загорали, выуживали из песчаных берегов раков, варили уху, знакомились с молодыми цыганятами, те разрешали с ними за компанию пасти по ночам лошадей.

Наши мальчишки таскали в ночное из дома огурцы, лук, запекали в горячих углях молодую картошку. От реки тянуло болотной сыростью, в ближних камышах глохли звуки, и теплое июльское небо, как дырявый платок, полный мелких звезд, накрывало всю тихую землю, сонных лошадей, громаду железнодорожного моста на пригорке, и только редкие паровозные свистки напоминали о близком городе.

Днем старые цыганки, некрасивые, крючконосые, с ними молодые, шумные и крикливые, — бродили небольшими стайками по нашим почти деревенским улицам, что лежали в привокзальном железнодорожном районе. Цветастые женщины шли весело, под их резвыми босыми ногами клубилась серая пыль, придорожное облачко поднималось вверх, смешивалось с их резкими голосами, пугало ворон и опускалось легким пепельным налетом на кусты сирени, высокие георгины и мальвы, что так густо росли во всех дворовых палисадниках.

Цыганки нагло стучались в калитки, в двери квартир, жадно шныряли глазами по углам, предлагали погадать по руке, на картах. Хозяйки не церемонились, их гнали, цыганки ругались, гневно сверкали черными злыми глазами. Соседки потом сплетничали, привирали, дескать, в коридорах вещи пропадают — плащи, куртки, сапоги, ботинки и всякая хозяйственная мелочь. Родители строго наказывали детям в их отсутствие никому зря не открывать двери.

Во дворе на общественной лавочке томилась в одиночестве тетя Паша, она увидела меня на крыльце и с радостью, что у нее появилась дармовая слушательница, переключилась на тихую девочку в коротком ситцевом платье в белый мелкий горох.

— Дверь, Ирка, не открывай, придет цыганка, у-у-у, бродячее племя, попросит воды, а сама тебя и украдет… еще чего с собой прихватит… одеяло, подушки, утюг. Слышишь — поняла?

Тетя Паша выговаривала мое красивое имя странно, у нее оно звучало незнакомо — Йира.

Я представила тяжеленный утюг со съемным шнуром, что стоит на полу у двери, мама частенько вечерами отглаживает юбки, рубашки, манжеты, воротнички, утюг неподъемный, кто его потащит, все руки оторвет.

Соседка лениво зевнула, обнажив десны, мелкие сточенные зубы, в глубине ее красного рта вверху справа хищно блеснула золотая коронка. Тетя Паша не работала, целыми днями скучала на лавочке у подъезда, перемывала косточки всем соседям, но как-то успевала сварить на большую семью кастрюлю наваристого борща, нажарить гору котлет и еще поставить студить бадью яблочного компота.

Три ее вертлявые дочки — Люська, Томка, Наташка, — особенно горластая кучерявая Люська, ели много, быстро, налетали к обеду, словно голодная гончая стая, подчищая все припасы матери. Росли они худыми, жилистыми, за все летние каникулы нисколько не нагуляют жирка. И куда в них все идет, такая ненасытная прорва, думала тетя Паша, каждое утро крутила новую порцию свежего фарша. Котлеты у нее получались увесистые, сочные, с коричневой зажаристой корочкой. В тазике на кухонном столе плавали крупно нарезанные помидоры в сметане, лежали пучки с намытой зеленью, а под чистой марлечкой добрый кусок свиной грудинки.

Моя задушевная подружка детства Наташка звала к себе на обеды, но я стеснительно отнекивалась, знала — мама будет ругать, узнает, что хлебаю у чужих людей борщи, но я с удовольствием выпивала по несколько стаканов летнего компота — сливового, вишневого, малинового, черничного, клюквенного, все зависело от сезона.

И зачем закрывать дверь? Общая дверь в нашу коммуналку никогда не закрывалась, толкни ногой — и сразу попадешь в темный коридор. Старый ключ от общей двери давно потерялся, целым осталось лишь узкое замочное отверстие. Наши соседи на ночь закрывали свои комнаты на один оборот замка, да и то не всегда. Ложились спать спокойно, их усталые мужья-машинисты возвращались с рабочих смен поздно.

Пусть тетя Паша побеспокоится о своем добре сама, у них отдельная двухкомнатная квартира, на стене висят часы с металлическим боем, посередине комнаты круглый стол, три кровати, убранные белыми покрывалами, а на них высятся горки подушек в накрахмаленных наволочках. Пусть не открывает свою дверь сама, у нас-то и брать нечего.

Через дорогу за домом — огороды, соседи распахали эти бросовые лоскуты земли, что упираются от проезжей дороги в бетонный забор, за ним сразу начинается железная дорога с ее грохочущими паровозами, шумом, дрожанием рельсов, гарью и дымом.

У мамы несколько грядок, она с любовью ухаживает за кустами рослых помидоров, подвязывает их к высоким колышкам. Соседки завидуют.

— У тебя, Зина, рассада не растет, а прет и прет из земли… и лук, и огурцы, и всякая зелень.

У тети Паши тоже все хорошо вызревало, завидного размера желтые тыквы, сладкий зеленый горох, подсолнухи, бело-розовая редиска. Огородики наши открыты, лежат себе у дороги, все как на ладони, ничем не огорожены. Люди ходят мимо них, никому и в голову не придет что-то воровато вырвать из земли, прихватить для закуски еще бурые, но такие ароматные помидоры или нежные огурчики.

Родители целый день на работе, мы с сестрой остаемся без присмотра одни. Сестра младше меня, у нее своя компания, я не вижу ее до позднего вечера. Но к ужину она появляется вовремя, как скорый поезд, по расписанию. Томка голодная, усталая, ест все, что попадается на глаза, и часто засыпает прямо за столом. Мама ставит перед ней таз с теплой водой, моет ее черные, все в цыпках ноги, вычесывает грязь из ржаных густых волос, опилки, колючки и переносит ее в кровать.

Томка спит беспробудно всю ночь, не ворочается, лежит на одном боку, во сне у нее проглядывает хорошее выражение лица, глубокий сон разглаживает тугие щеки, белобрысые выгоревшие брови, ее темные веснушки бледнеют, во сне сестра напоминает ласкового ребенка. Просто ангелочек. Папа говорит, что даже у такой бандитки, как наша Томка, есть в душе что-то светлое и доброе, но оно проявляется только у спящего ребенка. В обычной жизни она — гроза всего двора. Бедовая папина дочка!

Утром слышу под окнами, как Наташка звонко кричит, зовет меня.

— Побежали, побежали… смотреть цыган, приехали, пришли... пришли!

Наташка запыхалась, девочка она крепкая, бегает быстро, за ней мальчишки не угонятся. Ее медный от летнего загара лоб блестит от пота, видно, бежала долго.

Нам по одиннадцать лет. Наташка выше меня на целую голову, покровительствует мне, но не командует, мы очень дружны, всюду вместе, не разлей вода. Наташка страшная завирушка, я знаю, что врет она складно, без устали, но мне нравится слушать ее завиральные побасенки, заливает хорошо, с настроением. Мне хочется ей верить, и я верю.

Моя мама ругает меня, что я за Наташкой стала тоже понемногу привирать.

— Ты слушай ее, слушай, а сама думай своей головой. Что ты за ней ходишь, как нитка за иголкой? Куда Наташка, туда и ты. Она в речку бросится, и ты за ней, да?

Слышу потом вечером, как мама за шкафом, наша маленькая комнатка наполовину перегорожена светлым новым шкафом, шепчется с отцом.

— У них вся такая семья, Паша сама горазда приврать, глазом не моргнет, и девчонки такие растут... наглые, оторвы.

А мне с подружкой хорошо, она выдумщица, знает все потаенные уголки двора, узкие лазы в сараях, в заборах, лучшие пляжные места у дальнего пруда, близкую дорогу к речке, все полянки с земляникой за мостом, мелкий песочный бережок с прозрачным дном, где водятся головастики, и много еще чего.

Мы бежим огородами, на ходу обрываем стручки молодого сочного гороха. У бетонной стены растет шиповник, со стороны железной дороги доносится запах расплавленного на солнце мазута, старые коричневые шпалы пропитаны его пятнами, они переливаются на солнце радужными бликами. Знакомый запах мазута перемешан с сильным и теплым запахом травы, мяты, клевера.

Под кустом шиповника сидят три молодые цыганки, почти девочки, старшей на вид лет пятнадцать, на голове повязан шелковый платок, из-под него выбиваются угольно-черные пряди пушистых волос. Она держит на животе сверток со спящим ребенком. Ребенку на вид месяцев пять-шесть. Хочется потрогать ребенка рукой, он живой, но издалека похож на куклу.

Мы не прячемся в кустах от черноволосых девочек, уставились на цыганок, что-то сейчас будет.

Ребенок закряхтел, начал тужиться, личико его сморщилось, он зачмокал губами. Молодая мать привычным движением распахнула легкую влажную

кофточку, из нее вывалилась смуглая золотистая грудь с коричневым крепким соском. Не круглая, как у многих женщин, которых я видела в бане, а овальная, похожая на оранжевый кабачок. Ребенок с закрытыми глазами мгновенно уткнулся в грудь, схватил ее для надежности руками, слился с матерью и стал жадно тянуть молоко.

— Чэго уставились? — крикнула нам цыганка. — Лучшэ бы что из дома притащыли.

— А что притащить? — переспросила смелая Наташка.

— Пожрать чэго-нибудь.

Голос ее показался мне злым, отрывистым, хрипловатым и совсем не похожим на голос молодой женщины. Знакомые слова с мягкими звуками она почему-то произносила твердо, нажимая на букву «э».

Мы с Наташкой радостно подхватились и бросились бежать в обратном направлении. У нас на кухне еще не было холодильника, ни у кого тогда в нашем дворе не было холодильников. На кухонном столе стоял эмалированный бидончик с носиком для разливного молока. Мама оставляла нам с сестрой металлическую мелочь на продукты, ходили в магазин за хлебом, молоком, мороженым. В жаркий день много выпивали молока, лакали его, как воду, заедая шоколадными конфетами, кусковым сахаром, ломтями свежего мягкого батона, намазанными толстым слоем варенья, кружки с земляникой, черникой заливали доверху молоком. Молоко за долгий день детства не успевало прокиснуть в эмалированном бидончике.

На столе лежали неначатый батон и пачка шоколадного масла. Я разрезала батон пополам, густо намазала его шоколадным маслом, схватила бидончик с молоком и выбежала в коридор. Там меня дожидалась Наташка.

— Дома мамки нет, ушла в магазин, так я вот…

Наташка открыла большую кастрюлю с картофельным пюре, в нее она щедро свалила горку еще горячих котлет с подливкой, и мы бросились бежать через огороды. По дороге я отпила молоко, чтобы зря не расплескалось.

Юная цыганка уже накормила ребенка, он спал у нее на животе в той же безмятежной сладкой позе, две девочки-цыганки чуть постарше нас сидели рядом. Мне показалось, что цыганки между собой очень похожи, может, они сестры. У всех длинные цветастые юбки, тяжелые косы чуть прибраны на затылке, в ушах серьги, на тонких запястьях браслеты, украшенные синими, бирюзовыми, красными камешками, на груди блестят цепочки с серебряными монетками. От плавных движений их смуглых рук шел мелкий металлический перезвон.

— Что, дэвки, принесли? — спросила хрипловатым голосом молодая цыганка, и ее большие, чуть навыкате глаза, черные зрачки плавают в голубоватых белках, насмешливо, плотоядно блеснули. Без приглашения она потянулась к нашим дарам, не обращая внимания на спящего ребенка.

По узкому лицу пробежала чуть заметная тень. Усмехнулась, жадно припала губами к моему бидончику, тонкая белая струйка побежала из уголка рта, очертив белый край над верхней губой с мягкой полоской пробивающихся чувственных усиков. Несколько молочных капель упали на лоб ребенка, но дитя продолжало спать.

— Садись ты и ты с нами, — великодушно разрешила нам старшая цыганка. — О, какие котлеты, ай-ай-ай, с мою ладонь!

Для убедительности она развернула к нам свою маленькую ладошку, вырвала несколько листьев большого лопуха, положила в них котлеты и картофельное пюре, раздала остальным девочкам. Девочки стали быстро есть, давясь и глотая большие куски, небрежно вытирая руками жирные рты.

— Катя, зачем дэвкам свою линию жизни показываешь? — вдруг резко бросила девочка со странными, не по-цыгански светлыми и прозрачными глазами.

Катя беспечно отмахнулась.

— Что с них взять, они ничэго не понимают… Я — Катя, можно Катька, — сказала нам молодая мамаша. — Это мой сынок, Колька.

— А что, у цыган обычные имена, как у всех остальных, как у нас? — осмелела Наташка.

— А какие ты хотела, самые обыкновенные. Это — Ляля, — Катя махнула в сторону строптивой худенькой девочки с необычными глазами цвета чистой речной гальки.

Мне на мгновенье показалось, что у Ляли глаза холодного небесного цвета, но она отвернулась. У Ляли красный платок обмотан на талии вместо пояса, а в косы вплетены синие атласные ленты, одна лента расплелась и побежала по спине вдоль острых лопаток.

— Другая моя сестра — Маша.

Ляля и Маша молча ждали, когда Катя положит им еще добавку.

Наташка посмотрела, как цыганки с аппетитом вычищают ее домашнюю кастрюлю, еще недавно до краев полную, и выпалила:

— У нас тут недалеко мамкина грядка с огурцами, сейчас принесу. — Подружка вскочила с земли упругой пружинкой и скрылась в кустах шиповника.

— Давай, дэвка, все ташы, мы голодные! — крикнула ей вслед веселым голосом Катя.

Она допила молоко, перевернула бидончик, слизнув с его эмалированного носика последние капли, сыто отрыгнула, вырвала сухую травинку и начала ковырять в сахарно-белых крепких зубах. Ловким движением Катя вытащила из-под юбки папиросу, чиркнула спичкой и закурила, закурила привычно глубоко, с наслаждением, всей грудью. Так заправски курят у нас во дворе опытные мужчины, как мой папа.

В годы моего детства курящая женщина — большая редкость. Юная мама прикрыла глаза, пуская через ноздри сильные струйки вонючего дыма, было видно, что курит она с явным удовольствием. Глаза ее затуманились, наполнились какой-то пьяной сонливостью, безмятежным спокойствием.

Все она делала как-то необыкновенно изящно, красиво, с какой-то особой природной грацией. Ребенок ей нисколько не мешал, она по-прежнему не обращала на него никакого внимания, пускала через крупно очерченные чуткие ноздри, такие бывают у породистой скаковой лошади, сизый дымок. Наверное, мальчик привык к ее родному запаху, и табачный дымок ему не мешал, спал он крепко, был сыт и выглядел хорошо, его круглые розовые щеки отличались нежным, младенческим состоянием, такие бывают у здоровых младенцев, дышал он ровно и спокойно.

Наташка притащила полный подол молодых огурчиков. Ляля и Маша набросились на них, аппетитно захрустели своими белыми как на подбор зубками. Катя удобно прилегла в тенек, вытянулась, положила себе под грудь сверток с ребенком и тут же уснула.

— Разомлела… А я думала, вы родные сестры Кати, — начала разговор Наташка. Она жаждала новостей, готовая слушать чужих девочек экзотического вида и одеяния.

Но девчонки молчали, чувствовалось, у них нет ни малейшего желания с нами разговаривать. Они украдкой переглядывались, живо стреляли по сторонам глазами. Маша что-то быстро сказала на своем языке Ляле. Девочка

тут же вытащила из-под красного платка старую колоду карт и протянула неожиданно мне.

— Погадаю.

— И мне, — следом потянулась к колоде смелая Наташка.

— Нэт. Только ей, — вдруг грубо оттолкнула Маша мою подружку, резко ударив ее по руке.

Я удивилась. Наташка всю дорогу болтала, проявляла к цыганкам расположение, гостеприимство, а я молчала. Почему же цыганка обратилась ко мне?

— Это значит такая благодарность, ага, за мои котлеты, за мои огурцы, — запричитала притворным голоском Наташка. — Мне от мамки еще как влетит за пропажу, за кастрюлю.

Она надеялась, цыганка Маша переменит свое решение, но та молчала и пристально ощупывала меня своими черными глазищами, ее смоляные зрачки плавали в холодном молоке глаз и плавились. Я чувствовала, как силы покидают меня, хотелось встать, но не могла, ноги стали чужими, затекли, появилась тяжесть, все мое тело сковало холодом. В голове слышался какой-то странный звон, как будто я перегрелась на солнце. Мне хотелось сказать Наташке: останься со мной, — но голос пропал, во рту пересохло, обернулась, но подружки уже и след простыл, только примятая трава и несколько брошенных огурцов напоминали о ней.

— Имэ? — настойчиво спросила меня Маша.

— Ира, — невнятно промямлила я.

Маша наклонилась к моему лицу, вблизи разглядела ее сильно поношенную кофточку, юбка тоже была старой, давно не свежей.

— Ой, какие у тебя белые ру**ч**ки, какие пал**ч**ыки, дай посмотрю, все увижу, все скажу, истинно говорю, — Маша широко взмахнула рукавом кофточки, мой тонкий нос уловил тяжелый, кисловатый запах немытого тела, я резко отвернулась и задержала дыхание.

Вспомнилось, как мама отдавала бродячим цыганкам заранее подготовленный узелок, она складывала в него чисто выстиранные, красиво поштопанные ее трудолюбивыми руками детские вещицы, из которых мы с сестрой давно выросли. Потом с чувством какого-то нечаянного сожаления она нехотя говорила, что отдала в чужие, не бережливые и не рабочие руки еще такие крепкие штаны-шаровары, два сатиновых платьица Томки, нарядное бархатное с перламутровыми пуговичками, и еще вязаный костюмчик в придачу. Может, зря?

— Слышала, цыганки не приучены латать, перешивать, чинить старую одежду, а может, и совсем не стирают, люди они кочевые… И моются ли… Ждут, что добрые люди им свое отдадут. Так и попрошайничают. Им лучше сбросить старое, люди подадут, а подшить, подлатать, сберечь — нет, не ценят, трудом не заработали… Странные они люди, — недоумевала мама.

Девочка-цыганка продолжала осматривать меня цепким взглядом, глядела в глаза и профессионально раскладывала на траве карты, она что-то бормотала себе под нос, поплевывая на кончики своих проворных ловких пальцев. Девочка вдруг заговорила быстро-быстро, посторонним, не своим голосом, перед глазами мелькали ее тонкие пальчики, мизинец правой руки был кривой, он не гнулся. Я старалась не смотреть в сторону ее порхающих рук, похожих на крылья птицы, зачарованно уставилась в одну точку, голова тяжелела... надо заставить, надо думать о чем-то другом, не смотри, не смотри... бедный мизинец, наверное, несчастный случай…

— Ай, ай, ай! Дэвочка ты — непростая, непростая, ай, ай, ай! Ты сама про себя ничэго не знаешь, всю правду тебе расскажу… позолоти ручку.

Ляля ухмыльнулась подруге как-то не по-детски вульгарно, ее губы многозначительно растянулись, она толкнула Машу под локоть, та в ответ громко рассмеялась, золотые кольца в ушах задрожали, в них заиграли рубиновые камешки, засветились ночными огоньками.

— Ты беленькая дэвочка, у тебя волосы — шелк, дай потрогать.

Смуглолицая Маша оскалилась фарфорово-белыми зубками, погладила мою горячую голову своей шершавой темной рукой, потом резко передернула плечами, обхватила гибкой рукой свою спину где-то в районе худеньких лопаток, почесала кривым мизинцем волосы на затылке.

Она напомнила мне бездомную дворовую кошку, что так же чесала за черно-белым ухом.

Наконец я очнулась, выплыла из какой-то глубокой дремы, опустила глаза, не хотелось смотреть на насмешницу Машу, перевела взгляд на спящего ребенка.

— Девочки, тише, тише, Колю разбудите! — мне хотелось, чтобы прилипчивая Маша отстала от меня, надо перевести разговор на другую тему, сама уже подумывала, как бы сбежать из этой непонятной странной компании.

— Ты хорошая дэвочка, папу-маму слушаешь, ай, ай, ай, книжки ч**ы**таешь — ч**ы**тай, ч**ы**тай... глазки свои попортишь, зря... уедэшь ты скоро отсюда, — Маша устало вздохнула, развела руками, потянулась, сбросила с головы шелковый платок, почесала кривым мизинцем затылок.

— Уедэшь далеко-далеко… У тебя, дэвочка, ай, ай, всюду книги, книги, одни книги, ай, ай, ай, и зачем тэбе эти книжки, их надо чытать, чытать, глупо, глупо, я вот не чытаю книжки, не умею, в школу не хожу, а твою судьбу враз прочытаю…

Воздух становился душным, ветерок принес сладковатый запах кашки, такие неприглядные белые цветочки, а пахнут медом.

— Маша, брос! Утром не гадают, пустое, — вдруг бодрым низким голосом откликнулась Катя.

Она проснулась, легко вспрыгнула с травы и привычными проворными движениями рук начала перед нами обнажаться — снимать с себя одежду. Под верхней юбкой у нее оказалась другая юбка, потом еще одна, наконец, белая юбчонка из простынного полотна. Она разделась донага, без малейшего стеснения легла на свои сброшенные юбки, вольно раскинув руки, подставив под солнечные лучи свои узкие смуглые бедра, тонкую шею, мягкий живот, манящие овальные груди.

Я поняла вдруг одно — юная цыганка обходится в своей жизни без трусов. Для меня это было откровением.

— Бэз карт вижу, твоя подружка врот без меры, язычок у нее длинный-длинный, надо бы укоротить… Ты тоже будэшь... как это сказать по-русски правильно, будэшь врать, ой-ой, очэнь хорошо, как по писаному, ай, ай, ай, — причитала хитрая Маша.

— Нашу Катю зовут *русская Катя*, — вдруг перебила ее молчунья Ляля.

Ляля расплела свои длинные косы, отложила в сторону синие ленты и начала расчесывать густые, спутанные кудри, что-то вытягивая из них ловкими пальчиками.

— Почему русская, цыганка и русская? — не поняла я.

Мне стало жарко, от июльского ли солнца, высоко стоявшего в бледном, отцветающем небе. Горячее солнце приблизилось к знойному полудню,

вокруг было непривычно тихо, безветренно, даже паровозы умолкли. Может, я устала не от палящего солнца, а от близкого созерцания женской наготы, чужих непонятных разговоров, гортанного говора, черных глаз, не знаю.

— У нее отец — не ц***ы***ган, какой-то русский... и Колю своего она родила от русского... потому все зовут ее русская Катя, — с каким-то ядовитым удовольствием закончила Ляля.

Она уже высоко собрала свои тяжелые косы и заколола их в пушистую корзинку резным гребнем. У Ляли в красном платке на талии было устроено что-то вроде тайного бездонного кошеля на поясе, она все время что-то из него доставала или прятала.

— Чэго болтаешь, Ляля, чибало! — низким голосом тихо прикрикнула на девочку Катя. — А может, Коля не от русского... а от твоего старшего брата Петьки, пшала… Фу, зараза! — Катя гневно фыркнула, потянула хищными ноздрями горячий воздух и плюнула в сторону Ляли.

Девочка, как ужаленная, подпрыгнула, уперлась руками в красный платок на талии и презрительно бросила Кате:

— Русская, русская ты, Катя, халадо, а я — цыганка Ляля, и мой брат Петька ц**ы**ган, и мать, и отец, и моя мами, и прабабка моя Ляля, все мы из румынских… ромалэ, тьфу, а ты — приблуда и рувны!

Ляля облизнула сухие губы, тяжело задышала.

— Не видать тебе, русская Катя, моего брата, тебе это и карты давно сказали. А? Все сама знаешь... Красивая ты, ой, красивая, все привороты знаешь, приговоры... драбакирэс... воду заговариваешь, лечишь, можешь кого хошь заговоришь, а замуж тебя никто не возьмет! У русской Кати — русский ребенок, гяворэ! — как-то не по-детски жестко поставила точку в разговоре Ляля.

Маша молчала, не вмешивалась, но взяла на руки ребенка и встала между цыганками. Где-то далеко-далеко, за речкой ухнул гром, светлое небо подернулось первыми прозрачными тучками, по траве пробежал ветерок, собиралась гроза.

Девочки стояли друг против друга, готовые вот-вот схватиться в нешуточной драке, между ними пробежала давняя враждебная искра. Обнаженная Катя смотрела на Лялю взбешенными глазами, молочная синева ее глаз потемнела, как небо перед грозой, ровная спина напряглась, готовая к прыжку, руки, плечи, гибкая шея, тонкие лодыжки отливались золотистым металлическим блеском, она вся окаменела.

Ребенок вдруг открыл глаза, закряхтел, завозился, но голос еще не подал. Он смотрел на мир необыкновенно ясными голубыми глазами. Катя выпустила из груди жалобный выдох, похожий на стон, качнулась, присела на траву, вырвала сверток у Маши, приложила к груди, загулила с сыном нежным голоском.

— А у нашэго Коли глаза синие-синие, как у папы… Может, скоро у Коли появится братык или с***е***стра, лучше братык... — ласково мурлыкала Катя, опустив длинные пушистые ресницы, пряча в них свой острый взгляд. Под ее глазами проступили синие тени, лицо показалось усталым, измученным глубокими думами.

Ляля сделала шаг к Кате, смотрела твердо, исподлобья, сухие губы потрескались, она больно кусала их, нижняя губа ягодно-алая, сочная, кажется, вот-вот брызнет кровь.

— А такое разве бывает, бывают цыгане голубоглазые? — спросила я и с любопытством заглянула в лицо ребенка, но он уже блаженно зажмурил-

ся, сосредоточенно впился своим маленьким ртом в материнский молочный источник.

— У румынских цыган очень рэдко, но бывают такие глаза, вроде нашего Коли, — ласково приговаривала Катя, а сама не сводила тяжелого взгляда с Ляли.

Ляля нервно повела плечом, выражение ее напряженного лица дрогнуло, сейчас не выдержит, расплачется, но девочка спохватилась, смирилась и снова равнодушно замкнулась.

Катя быстро оделась, обвязалась большим цветастым платком с длинными кистями, перевернула спящего сына за спину, отряхнула шелковые юбки и пошла напролом через кусты, бросив насмешливый взгляд на меня, на свое недавнее пристанище, следом за ней покорно тронулись девочки Ляля и Маша. Они шли налегке, без всякой поклажи, смело ступая закаленными босыми ногами по жесткой траве.

Маша обернулась и помахала мне рукой.

— В другой раз позол***о***тишь ручку, дэвочка! В другой раз.

Я разглядела у Кати какое-то странное, последнее движение рукой, она подхватила с земли кусок газеты, который прибил к ее ногам легкий ветерок, быстро подтерла им что-то под юбкой, отбросила в сторону бумажный мятый комок, и быстрым ходом пошла дальше, удаляясь со своим мальчиком за плечами.

Ляля зорко нагнулась к куску брошенной Катей газеты и вдруг громко засмеялась, смеялась она легко и беззаботно. Маша перестала хмуриться и тоже захохотала вслед подруге. Я отстала от девочек, не утерпела, одолело любопытство, быстро нагнулась к куску газеты. Она была окровавленной от свежей крови Кати.

В нашем дворе старшие девочки делились с младшими своими секретами. Я уже знала из их страшных рассказов, что такое «месячные». Это когда болит живот, каждый месяц из тебя всю жизнь будет вытекать кровь, в школе освобождают от физкультуры и на улицу лучше не надевать светлые платья.

Но не могла понять одного: почему младшие цыганки так громко хохотали над красавицей Катей, русской цыганкой Катей.

Неожиданно с совершенно безоблачного неба ухнул сильный удар грома, казалось, он расколол небо, как огромный орех, из невидимой прорехи на землю обрушился дождь. Все вокруг забурлило, закипело, стало мутным от потоков воды.

Как же маленький Коля за спиной у Кати, а босые девочки Ляля и Маша, куда они спрячутся?

Через несколько минут я сидела дома, вся насквозь промокшая, сбросила на стул старое платье в белый горошек, из которого давно выросла, внимательно рассматривала свои худые руки и ноги. У меня, сколько ни загорай, кожа все лето остается молочного нездорового цвета, такой я уродилась.

Нет, не бывать мне никогда такой не по-здешнему смуглой и красивой, как русская Катя с ее гладкой золотистой кожей, черными бровями вразлет, не звенеть на моих тонких запястьях металлическим браслетам с цветными камешками, не ступать мне легкой походкой по жгучей крапиве, не носить за спиной в цветастом платке не плаксивого и такого чудного ребенка.

За этим занятием меня застала Наташка, она без стука ворвалась в нашу комнатку.

— Выручай! Мне мамка уже ремень приготовила... тебе хорошо, тебя не лупят, а мне сегодня от отца достанется… за котлеты, — выпалила подружка.

— А что я могу, котлет у нас нет…

— Я уже мамке рассказала про вашу орду, — перебила меня находчивая Наташка.

— Слушай и запоминай. Ты привела ко мне орду зайцев-китайцев... ты и виновата, они все и слопали. Пошли, ты все подтвердишь, — она потащила меня на допрос к тете Паше.

— Орда не наша, она Зайцевых, — сопротивлялась я.

«Зайцы-китайцы» — мои троюродные сестры Люба, Верка и брат Витька, совсем еще малышня, а Люба уже барышня, на три года старше меня, бегает на свидания к мальчикам, они ей дарят флакончики с духами, колечки, платочки.

Двоюродная сестра моего папы тетя Надя вышла когда-то замуж за полукитайца дядю Володю Зайцева. В большой семье Зайцевых тогда еще жил их старый дед, настоящий китаец, у него еще была заплетена седая тоненькая косичка, мышиный хвостик. Дед плохо говорил по-русски, но бабка была настоящая белоруска. Как они между собой разговаривали, для меня оставалось загадкой.

Китаец с седой косичкой делал замечательные шкатулки из подарочных открыток, прошивал их красивыми стежками из красных ниток, клеил легкие фонарики из цветной бумаги, детские прозрачные веера, рисовал тонким перышком какие-то странные рисунки-квадратики в паутинке и все время улыбался и кланялся, улыбался и кланялся, как игрушечный болванчик. Он был маленький, сухонький, весь желтый и казался мне странным дедушкой, ненастоящим. Свои ручные поделки китаец продавал у входа на городской рынок.

— Йира, я не могу! Йира, как ты могла привести в наш дом без спроса всю орду… На них не напасешься! По миру пустят! Тут не то что кастрюля с котлетами... — тетя Паша замолчала, подбирая слова, она панически обвела глазами свою закопченную кухню и снова запричитала.

— Йира, тут и соли в солонке после них не останется. Чистая китайская саранча.

— А я тебе, мамка, что говорила... орда пришла, зайцы-китайцы, — привычно завирала Наташка, счастливая, что на сегодня ее пронесет, отец не будет лупить солдатским ремнем.

— Молчи, Наташка, господи, молчи! Сил моих нет, обед на два дня — как корова языком, — тетя Паша незло поддала дочери подзатыльник, щедрой рукой зачерпнула гигантским ковшиком из огромной кастрюли, такие я видела в школьной столовке, и налила нам в тарелки горячего борща.

— Ешьте, ешьте, борща всем хватит, а котлет — нет. А ты, Йира, что стоишь в одних трусах и майке, дрожишь вся, зеленая, худющая, как смерть, садись — и ешь. Потом сырников дам со сметаной.

…Через неделю у меня сильно зачесалась голова, потом Томка начала вычесывать на подушку вшей. Мы спали с сестрой на одной кровати. Мама разволновалась, запричитала, что сестра где-то набралась заразы. У нас уже были приготовлены на август чемоданы в летний лагерь железнодорожников «Зеленое».

— Кто вас примет в порядочный лагерь, выгонят! Ох, точно выгонят, еще скажут, что это за родители, каких они ростят детей. Боже, что за ребенок, горе мое, что за Томка! Где ты набралась такого добра! Позорище! Вас же теперь и в баню не поведешь… Заразные, мои дочки заразные.

На общей кухне все хозяйки готовили на керосинках. Мама отлила в стеклянную банку немного керосину. Первой посадила перед собой меня, обмакивала густую расческу в керосин, потом расчесывала мои длинные,

волнистые волосы. Мама крепко завязала на моей голове платок, приказала, чтобы я не снимала его, пока под ним все вши не задохнутся.

Потом так же основательно мама вычесала у Томки ее короткую вихрастую стрижку, больше похожую на прически наших боевых дворовых пацанов. Перед школой в конце августа мальчишки косяками шли в парикмахерскую, там им почти под ноль снимали их роскошные шевелюры. На школьной сентябрьской линейке ребята стояли одинаково наголо обритые. У младших школьников старый парикмахер из городского Дома быта на головах оставлял еще смешной детский чубчик.

Мы с сестрой сидели притихшие, испуганные и пристыженные страшной процедурой, приструненные строгой мамой, от нас сильно воняло керосином. Я подумала, что у меня окончательно выпадут мои светло-русые волосы, останусь на всю жизнь лысой. Куда пойдешь с такой головой? Даже Томка понимала, что день пропал. Она вдруг не выдержала и заревела белугой, так плачут испуганные маленькие дети. Под платком у меня шевелились, как мне казалось, целые полчища еще живых вшей.

Моя младшая сестра была не виновата. Я-то догадалась, где она набралась такого добра.

Нюся и Жоржик

Жили-были старик со старухой...

Действительно, когда-то давно жили Нюся и Жоржик. Это они в конце жизни стали зваться Нюсей и Жоржиком, а по-настоящему их имена звучали хорошо — Анна и Георгий.

Старики жили на хуторе, недалеко от деревеньки Оленец Сморгонского района. Места там красивые, лесные, сразу за домом течет старица, вода ледяная, а если дальше пройти холмами, выйдешь к Вилии.

Мы там часто отдыхали, старики разрешили нам поставить на своей земле маленький дачный домик.

Старуха была разговорчивой, веселой, на деда своего покрикивала, но незло. На ней все хозяйство держалось: пестрые нагуленные куры и красавец петух с огненно-синим хвостом, пара кабанчиков, корова с теленком.

Нюся все лето по двору бегала босой, ее черные, задубевшие пятки походили на крепкую подошву от старых сапог. Она и в лесок могла выскочить за маслятами босой, знала недалеко свои места, росли у нее маслята как по заказу, что-то вроде лесных грядок.

Рядом у ее худых, жилистых ног ласково трется черно-бело-рыжая кошка, Нюся плеснет ей молока и побежала по своим делам. А дел у Нюси круглый год невпроворот.

Летом собирала ягоды, грибы, лекарственные травы, ездила в базарные дни в Молодечно на рынок, хорошо все продавала.

— Так у мяне легкая рука!

В Молодечно у нее торговля лучше шла, чем на рынке в Сморгони. В Сморгони на рядах соберутся такие же, как Нюся, бабки и недобро посматривают друг на друга. Конкуренция. А в Молодечно электричкой много столичных из Минска приезжает. Все берут, налетят, деньги не считают.

Возвращалась Нюся на хутор с выручкой, по дороге купит в магазине себе вина, «красненького». А дома у них всегда был припасен крепкий первач, Жоржик гнал самогонку.

— Для сябе, Сяргееўна, не для чужых..., сыны прыедуць, пачаставаць трэба? Трэба, — оправдывалась передо мной Нюся, глаза у нее синие, васильковые, и в старости не выцвели.

Побежит на огород, пощиплет быстрой рукой зеленого лучку, соберет в подол нежных огурчиков, вывернет из земли головку молоденького чеснока, зубк***и*** у него белые, сочные, хорошая закуска, нарежет лустами черный хлеб, достанет кусок старого сала и зовет своего Жоржика к столу.

Любили старики выпить, водилось за ними такое. Не каждый день, но могли пропустить по граненому стакану, а Жоржик и больше хватить.

— Ведай меру, чорт стары!

Но больше положенного Нюся Жоржику не выдавала.

Зимой у них жизнь затихала, занесет снегом все дороги, сидят старики на хуторе одни. Нюся была запасливой, затарится мукой, сахаром, крупой, подсолнечным маслом, все брала мешками и ящиками.

— Не сядзець жа на хутары ў холадзе і голадзе, — шутила Нюся.

На православное Рождество Жоржик бил хорошего кабанчика килограммов так на двести.

— Спраўны, добры быў кабанчык, але і яму час, — ставила Нюся какую-то ей одной ведомую точку.

Старики разбирали тушу, долго, почти любовно возились, все как давно положено, делали домашние колбасы «пальцам пханые», вяндлину, сальтисоны, закатывали в банки тушенку. Под *спраўнага* кабанчика, святое дело, Жоржик крепко перебирал. Все были сыты и пьяны. Трехцветная кошка тоже пировала с хозяевами, объевшись не в меру, спала беспробудно несколько дней.

— Пайшла, пайшла, гультайка, лави мышэй, — ругалась Нюся у печи, но на мороз кошку не прогоняла.

— Живая душа, — поддакивал вслед Жоржик.

Из города на свеженинку приезжали взрослые сыновья-погодки, рослые, высокие, сгибались под притолокой, прежде чем войти в низкую хату.

К Новому году Нюся писала мне поздравительные открытки. Они часто задерживались и могли прийти к нам в Гродно в феврале или даже в марте. Но эти детали не такие важные. Я понимала, Нюся самостоятельно добралась до почты и бросила открытку в почтовый ящик.

Текст открыток повторялся на протяжении десятилетия, поздравления не менялись. А может, у нее в столе лежала заготовка на такой случай, не знаю. Разными были сами новогодние открытки. За официальной частью *«Уважаемые..., желаем вам харошего здаровя и долгих льет жызни...»* обязательно следовала приписка *«грыбы вас ждуц, хутараники».*

Почерк у Нюси был плохой, дрожащий, шариковая ручка в ее мозолистых, грубых руках смотрелась странным и каким-то лишним предметом. Она привыкла доить корову, выгребать из хлева навоз, замешивать тесто, копать огород, перебирать весной картошку. Любила пройтись быстрым шагом по ближнему лесу, что подступал к дому сразу за огородом. Собирала в сентябре черные мясистые грузди, знала свои, давно примеченные ее вострым глазом, заветные участки. Засолит грибы холодным засолом на сорок дней, пересыплет чесноком, семенами «каляндры», а потом к празднику седьмого ноября, к «ноябрьским» достает закуску, готовые грузди из дубовой кадушки, щедро заправит густой сметаной, и выпьют они с Жоржиком за всех советских вождей — за Ленина, за Сталина и «і хто там яшчэ».

Как-то ранней осенью, день стоял тихий, прозрачный и золотистый в такую пору года, зашла Нюся за хлебом в деревенский магазин, хотела еще домой соли и спичек прикупить, но вдруг тихо ойкнула, схватилась за сердце, как-то виновато улыбнулась молодой продавщице, дескать, извини, ерунда, сейчас пройдет, и медленно стала оседать вдоль стены.

— Антоновна, что с вами, валидолу? — испуганно закричала продавщица, но было уже поздно.

Нюся умерла мгновенно, легкой смертью. Старики часто между собой мечтают о такой быстрой, никому не докучливой кончине. И было-то Анне Антоновне всего шестьдесят семь годков, по нынешним меркам — всего ничего. На Западе местные пенсионеры только подумывают в такие годы пожить для себя, попутешествовать по миру, посмотреть, как другие люди живут, увидеть Венецию, Париж, Афины...

...Недосмотренный своей бабкой Жоржик сгорел в ту зиму, в самом прямом смысле. Наверное, выпил с горя лишку самогонки. Не пропадать же добру, еще с осени выгнал, пригодилась на поминках старухи. Жоржик остался без присмотра Нюси, закурил по заведенной привычке и заснул в своей одинокой постели. От искры пошел дымок, во сне Жоржик и задохнулся. Не проснулся.

А может, веселой бабе Нюсе стало одиноко на небесах, не с кем выпить по стаканчику, вот и позвала она своего Жоржика за собой.

От хаты осталось одно пепелище. Дети похоронили останки старика, кучку пепла, рядом с Нюсей.

Дело было в конце восьмидесятых годов, в тех местах стали активно давать людям землю под дачи, места грибные, ягодные, чистые, рядом холодная старица, полная щук, за холмами, с пригорка видна Вилия. Недаром Вилия — виляет здесь быстрым течением, как та щука хвостом. Набежали желающие купить землю, пристали купцы к наследникам, продайте да продайте, чего держаться за пепелище. Хату не вернешь, а земля в цене.

Продали сыновья хутор, хороший погреб, еще крепкие сараи, недавно крытые шифером, просторный хлев. Стоял он уже пустой, без теплой коровы с теленком, без пары кабанчиков, без пестрых нагуленных кур и красавца петуха с огненно-синим хвостом. Разобрали чужие люди рыбацкие снасти, бочки, тазы, ведра, всякое добро, что осталось после Нюси и Жоржика.

Следом за сыновьями Нюси и Жоржика мы тоже продали свой дачный домик, не с руки нам стало ездить в те места, далеко от Гродно.

Открытки Нюси с ее незатейливым, наивным содержанием, как и все другие частные письма от моих подруг, многих давно уже нет на этом свете, храню.

Возьму новогоднюю открытку, ясно и отчетливо вижу перед собой растрепанную, непокрытую платком голову Нюси. Сейчас она достанет ломаный гребешок, быстро подберет волосы, утрет мокрое, в испарине лицо, заулыбается щербатым ртом, нальет мне полную бутыль только что надоенного густого молока. Я буду совать ей деньги, она отмахиваться, но обязательно возьмет. У нее был такой со мной ритуал, вначале деньги не брать, клясться и божиться, а потом ловким движением заскорузлых рук спрятать рубль за пазуху.

Нюся улыбается щербатым ртом, и на ее загорелом, еще не старом, румяном от солнца лице ярко цветут глаза-незабудки. Жили-были старик со старухой…



Андрей СКОРИНКИН

О законе Божьем размышляя…

Сон

Я видел сон:
В нем Аваддон[1]
Над бездной мрачною парил
И зверь из бездны выходил...
Его щетина багровела,
На лбу помета пламенела —
Три буквы «С», как цифры «6»
(Вот как я то сумел прочесть),
И «Р» из пасти вырывалось...
За зверем все испепелялось...
Он шел сразиться с Пастухом,
И было сумрачно кругом...

Крушение империи

Державы нет,
Рассыпалась держава,
Остались от державы только слава
Да гром побед.

Железный Рим
Великое крушенье
Постигло за грехи, и нет прощенья —
Господь не с ним.

* * *

Разорили Россию злодеи,
Обездолили русский народ;
Не сбылись коммунистов затеи
Или, может быть, наоборот?..

[1] Губитель (*евр.*).

Послание к царям

Вы, жадною толпой стоящие у трона...
М. Лермонтов

Правители земного мирозданья!
Точу на вас железное посланье,
Большую честь оказываю вам,
Прислушайтесь к сверкающим словам!
С тех пор, как вы мечтали о престоле —
Намеренно, а может, поневоле, —
Немало рек кровавых утекло...
Приходит время отвечать за зло!
Вы знаете, что судят мир святые?
Не те, что с вами вина пьют сухие,
А те, что признают один нектар...
Готовьтесь отражать судьбы удар!
Вы помните, в часы коронованья
Из ваших уст летели обещанья?
И вот теперь, когда под вами трон,
Скажите, вас волнует черни стон?..
Вы лицемеры с самого рожденья,
Явило вас на свет не Провиденье;
Отец ваш — дьявол, он вас наделил
И властью без границ, и бурей сил,
И все лишь для одной безумной цели,
Чтоб самому прийти на Землю в теле
(В одном из вас) и с Господом в бою
Излить всю злобу черную свою...
Мне жалко вас, слепые лицедеи!
Вы жертвы химерической затеи;
Напрасно вы считаете себя
Монархами земного бытия!
Не звери вы, и даже не зверюшки,
А серые, дешевые игрушки
В руках судьбы и в лапах сатаны,
Но это не снимает с вас вины!
Кто хоть однажды трогал жезл Владыки,
Уж никогда не будет в райской книге!
Как вам спастись? Увы, не знаю сам...
Как ни крути — вы чужды небесам!..

* * *

Я вам читаю вещие стихи,
Вы вид при этом делаете умный
И хвалите меня. Но вы глухи
И в сердце помышляете: «Безумный!..»

Преложение Псалма 1

Счастлив муж, который стороной
Обойдет преступный мир земной,
О законе Божьем размышляя,
Вольности себе не позволяя.
Будет он, как дерево у вод,
Что приносит вовремя свой плод,—
Лист на этом дереве не вянет;
Всякий труд ему подручным станет.
С нечестивым все совсем не так:
Он — как разносимый ветром прах.
Путь его судилищем прервется,
В книгу жизни он не занесется.

Узник

Живу с дьяволицей который сезон!
Ее мне лукаво подбросил дракон.

Он свел нас за картами в те времена,
Когда занялась перестройкой страна...

И той и другой я был искренне рад, —
Я в лучшее верил!.. И вот результат:

Тюрьма за окном, и в квартире тюрьма...
Немного еще — и сойду я с ума.

Скорее на волю! В пустыню скорей!
Туда, где заждался меня Назорей!..

Пусть лучше кусает меня сатана,
Чем цены на рынке, чем злая жена!..

Утро на Машуке

Поутру заберусь на Машук,
Устремлю свои взоры на юг:
Как виденье, Кавказский хребет
Забелеет сквозь легкую дымку;
Я подумаю: давший обет,
Что придет осудить этот свет,
Может быть, через несколько лет
Так же снимет с Себя невидимку...

Цветок любви

Я терзаюсь вновь
В дождь и при луне…
Как убить любовь,
Что живет во мне?..

Кто любви цветок
Может оборвать,
Чтобы я не смог
Плакать и страдать?..

Золотая рыбка

Старик забросил невод вглубь морей,
Поймал он рыбку с золотом на брюхе…
Взмолилась рыбка: «Ешь меня скорей,
Чем исполнять желания старухи!..»





Раиса ДЕЙКУН

Полевики и полешуки

Рассказ

Из картошки в воскресенье
Мама испекла печенье!

Арсений ТАРКОВСКИЙ

Полевики приезжали в этот поселок на заготовку леса из соседнего района зимой, когда снег хорошо и плотно закрывал землю и скрипел под ногами.

Почему сюда? И почему зимой? Да потому, что поселок находился в лесу и в нем располагалось лесничество. Оно, в лице лесничего, заранее договаривалось с дворами о постое полевиков. Оплата была дровами-обрезками, которые под конец сезона заготовщики (по выписке лесничества) привозили хозяевам с лесных делянок, отведенных под вырубку-трелевку. Тем, кто соглашался держать квартирантов в своих избах, лесничество шло навстречу и при выписке делового леса — для строительства жилья или других каких нужд.

А почему зимой? Так известно же, что от весны до глубокой осени и, как говорят, от темна и до темна деревенский люд занят на земле. А еще добавьте сюда дороги-летники. Той же весной или осенью, бывало, и не поткнешься в лес на телеге или машине — в колеинах-выбоинах аж переливается через край застоявшаяся вода. Потому и ждали зимника.

* * *

— Ну что, будем брать на постой полевиков? — спросил Василий Прохоров жену Татьяну, прибежав из конторы на обед.

— А как же. Чего не взять? Разве лишние дрова помешают? Да и где они, лишние? Ты же из своей конторы только арифмометр можешь принести, да и тот после отчета назад понесешь, — ответила та, расторопно подавая мужу обед.

Их младшие дети — четырехлетняя Даринка и шестилетний Сашка, которого вслед за матерью все звали в семье Шурка, носившиеся до этого по избе, играя в прятки, на это время загонялись на печь — чтобы не путались у отца под ногами. У того всегда было мало времени. Трусцой он прибегал на обед и быстро возвращался назад. Бывало, что не успевал толком пообедать, как уже начинал звонить-заливаться телефон-селектор, и отец срывался из-за стола к нему, а потом — из дому. Он работал дорожным мастером на железной дороге, ходил в черной форме с блестящими пуговицами, фуражке с кокардой, и его дети, включая старших, очень гордились им. А арифмометр он приносил из конторы раз в месяц, когда вечерами делал отчет в дистанцию, что находилась в Гомеле.

— Ну хорошо, тогда я скажу лесничему, чтобы внес нас в списки, а заодно и про выписку леса договорюсь. Будем со старшими хлопцами дом пере-

страивать: из сеней хорошая кухня получится, печь туда перенесем, веранду пристроим. Детвора наша уже не помещается в этих «хоромах», — говоря все это и одновременно ополаскивая под умывальником руки, Василий разогнулся и обратился к своей малышне на печи: — Ну что, конопляники, будем строиться-расширяться?

— Будем, папочка, будем! — в один голос отозвались-прощебетали с печи «конопляники».

— Значит, решили! Пускаем квартирантов на этот сезон, а там видно будет,— подвел черту под разговором хозяин, приступая к еде.

Быстро управившись с наваристым рассольником с мясом и сушеными грибами, Василий приступил к бабке, запеченной в глиняном горшке. К бабке жена подала ему небольшую глубокую мисочку сметаны. На десерт, который назывался в семье третье, были компот из сухофруктов-дичек и пышные, сдобные, желтые от домашних яиц, пахучие и очень вкусные коржики. Плотно поев, Василий поблагодарил жену и подошел к печке: малышня в момент очутилась на припечке-ступеньке, а с нее — в родных отцовских объятиях. Подержав каждого на руках, подкинув (одного за другим) к потолку, а затем поцеловав обоих где-то за ушами, отец опустил своих гавриков на лавку за столом, схватил с самодельной вешалки фуражку и через минуту уже бежал рысью по улице в сторону переезда. За ним находилась длинная деревянная казарма, в которой кроме квартир путейцев размещалась еще и «контора». За хозяином наступала очередь обедать хозяйке с младшими детьми. Позже — старших детей, когда те придут из школы, что находилась на другом конце поселка и другого края леса.

— Мама, а мама, а кто это такие — полевики? — Шурка задал этот вопрос с полным ртом бабки.

Мать, оторвавшись от еды, посмотрела на сына и, на минуту задумавшись, коротко ответила:

— А это те, что живут в полях.

— А мы кто? — тут же последовал новый вопрос.

— А мы — полешуки.

— А почему полешуки?

— А потому, что живем в лесу.

— А почему мы живем в лесу, а они в полях?

— Так получилось. Нужно же и там кому-то жить. Земля не должна пустовать.

— А вы нам расскажете о полевиках и полешуках? (В семье Прохоровых к родителям дети обращались на «вы».)

— Расскажу, как спать ложиться будете.

— А когда к нам приедут полевики? А где они будут спать? А на чем они приедут? А что они привезут с собой? А почему… — вопросы сыпались один за другим.

— Ну, хватит уже гдекать и почемукать, кушайте, детки, и мне дайте спокойно поесть. Я же сказала, что на ночь расскажу вам и про тех, и про других, — сразу остановила мать малышей. — Мне вон нужно печь с запечком готовить для короедов. Вы же так их замусолили, что стыдно будет перед людьми.

— Каких короедов? Жуков? А почему печь, а мы куда? — закричали дети в один голос, забыв даже про сладкие коржики.

— А божечки ж мой родненький, вы же хоть чужим людям такого не скажите, потому что короедами дразнят полевиков. А спать вы будете там, где спали, — в спальне на своих кроватях.

В тот день малыши не могли дождаться вечера. То обычно спать их не загонишь — ни в какую, а то не переставали теребить материн подол: «Мам, а мам! Давайте быстрее, вы же сами сказали, что расскажете нам о полевиках-короедах». Та, чтобы быстрее отцепиться от детворы, вынуждена была все бросить и отправиться с ними в спальню. Присев на краешек самодельной деревянной кровати дочери, подоткнув перед этим одеяла под бока обоих детей, Татьяна не спеша, видно, вспоминая, начала рассказывать…

«Жили-были отец с матерью. И было у них двенадцать сыновей-богатырей. Жили они посреди огромного леса, в котором была большая поляна…»

— А лес был такой, как наше Будище, где мы желуди собираем на сдачу? — тут же включился в рассказ матери Шурка.

— А поляна такая, как у нас за огородом? — высунула голову из-под одеяла Даринка.

— А… — Шурка не успел задать новый вопрос, его перебила мать:

— Если и дальше вы будете акать и перебивать, так возьму и пойду на кухню, я еще не все дела там поделала из-за вас, голубочки мои. У меня там еще и конь не валялся.

Малыши притихли, как мыши под веником. Татьяна продолжила свой рассказ…

«Жили те люди тихо, мирно, в согласии. Всем заправлял отец. Он сидел на завалинке большой избы и говорил, что кому делать. Сыновья его охотились в лесу на дичь, птицу; помогали матери вести хозяйство. Со временем парни те взяли и поженились. У них родились свои дети. Большенная семейка образовалась. Но, как и раньше, все слушались отца, и все было хорошо.

Но вот отец неожиданно помер. А известно же, как говорит ваш отец: без команды войско гинет. Так и здесь получилось: начали жены тех братьев-богатырей доказывать одна одной — которая из них более расторопная да умная, а которая — неряха-нетюпаха. Крик-гвалт стоит в том лесу — хоть беги и прячься.

Посмотрели братья, посмотрели на такой беспорядок и решили, что надо бы им всем разделиться и жить своими хороводами. Взялись они за дел-передел. Делили-делили, кое-как растянули отцовское добро по углам, каждый в свой закуток, а ту поляну-землю никак не могут разделить. Переругались все — в дым! Даже передрались, стали врагами. Косятся один на одного: и старые, и малые. Не жизнь стала, мука-мученическая.

Насмотрелись на этот непорядок младшие два брата и решили отправиться по миру: поискать другую поляну. Стянули в кучу все свое добро, забрали своих жен и детей и отправились в дорогу.

А в ту пору у людей не было ни машин, ни поездов, ни даже возов. Это же мы живем — анигадки себе и в ус не дуем: тут тебе под носом паровоз бегает-чухкает, над головой самолеты-вертолеты летают-мелькают туда-сюда, а о машинах разных так я уже и молчу. Так вот, у братьев тех были только огромные сани-лаги да волы. Те лаги были сделаны из дубов: крепчайшие, но очень тяжелые, даже для волов. Потянули-потянули они нагруженные добром всяким, да еще женами с детьми, сани по корням да по пням, а то и по песку кое-где, и встали как вкопанные. Что ты будешь делать?

Почесали затылки братья и додумались подложить под те полозья-лаги круглые колодки. Попробовали, получилось очень ловко. Они тогда еще раз, и еще давай подкладывать те колодки. Но и это дело оказалось очень уж тяжелым. Вспотели братья, устали. Отдохнули они немного и давай снова чесать затылки: если уж придумали такое, так, может, что-то еще надо придумать, чтобы легче стало?

И что бы вы думали? Додумались они продырявить в тех колодках отверстия посередине, а в них вставить по бревну, без коры. Это для того, чтобы крутились те колодки вокруг скользкого бревна. Взяли да еще жиром звериным смазали в середине те дырки. А чтобы колодки не соскакивали при езде — позабивали палки с двух сторон. Попробовали свои приспособления и... ого-го-шеньки! — как обрадовались! Это же они придумали первые катки-колеса! Веселей пошло дело. Мужчины заскочили уже и сами на возы и чешут себе, как паны. И волам не так тяжело.

Ехали братья, ехали и к реке большой приехали. А как же через нее перескочить, переправиться? Да еще и с таким грузом: у них же кроме жен и детей утварь была, какая-никакая живность. Сели братья на берегу реки, пока их жены еду готовили, стали снова чесать свои затылки. А та река глубокая-преглубокая, дна не видно, ее не перейдешь, не переедешь на санях, хоть они на колесах уже. И увидели братья, что плывут по реке целые деревья, сбившись в кучу. Сметливые были наши герои. Они мигом скумекали, что надо делать. Взяли и привязали те деревья-колоды одно к одному и получили большущий плот. Вот тебе и переправа! На том плоту и переправились братья вместе со всем своим добром на другой берег.

А там — ужас! Стоит лес густой-прегустой! Глухомань. Пальца, и того не просунуть, ногой — не ступить, возом — не проехать. Начали братья через него пробиваться. Валят деревья так, что щепки летят во все стороны, один день, второй. А лесу тому и конца-края не видать. Устали оба — попадали на земельку, лежат. Отдыхают. Вот один другому и говорит:

— Дорогой мой братик, натеребился я уже этого леса вдоволь. Не век же мне его теребить. Наверное, я здесь останусь со своей семейкой. Коли хочешь, и ты оставайся — леса всем хватит. Будем с тобой ***полешуками****. Вон сколько дичи да птах разных здесь водится, не умрем с голоду.*

— Нет, — отвечает ему другой брат. Я хочу свет в лесу увидеть, на земле работать. Поеду дальше.

Расстались братья: обнялись, расцеловались, как ведется, на дорожку. Остался один брат в лесу на тех просеках, а другой дальше двинул. Стал он уже один пробиваться из того заповедного леса. Долго или коротко он сек просеки, строил переправы, но всякому делу бывает конец. Так и тот брат-богатырь, наконец, выбрался на прогалины да огромные поляны, которые не люди делали, а природа-матушка. Решил тогда этот брат осесть в тех местах. Начал он их обрабатывать: земельку ту пахать да рожь на ней засевать. Ну, и к ней всякое-разное — овощи, одним словом. И стал этот брат с того времени и весь его род прозываться ***полевиками.***

Так с тех давних давен и повелось: людей, что осели в лесу, прозвали полешуками, а тех, что осели в полях, — полевиками. И сейчас они живут все по своим местам, ездят один к другому в гости и делятся тем, что у кого есть. У полевиков вот нет своего леса, так они едут заготавливать его к нам, потому что у нас он начинается за огородом...»

— Ну все, детки, спите себе с Богом, а я побегу еще по хозяйству управляться, — закончила свой рассказ Татьяна и, увидев, что ее малые непоседы уже устали слушать, перекрестила детей и направилась из спальни.

— А откуда вы, мама, знаете про полевиков и полешуков? — Шурка поднял голову от подушки, его сестра уже несколько минут тихонько посапывала. У малышки не хватило сил дослушать мать.

— Так нам, малым, наша мать, а ваша баба Анна рассказывала. А ей — ее мать, прабабка ваша — Марфа.

— А почему полевиков дразнят короедами? — донеслось ей вслед.

— Вот же Господи! И не забыл, видишь, малый уедник[1]. Потом как-нибудь расскажу, спи уже…

Полевики-короеды приехали где-то через неделю. Вначале по улице пронеслась новость, что «короеды» уже находятся около конторы лесничества, там они получают наряды и фамилии хозяев, давших согласие на их поселение к себе в избы. Позже дети первыми увидели в начале улицы целый конный обоз. Пары лошадей разной масти были запряжены в кары — длинные, с огромными рассоединенными полозьями сани. Такими санями обычно люди вывозили из лесу стволы огромных деревьев. Когда сани приблизились, женщины и дети увидали, что они нагружены до половины сеном, а наверху сидят по двое мужиков в огромных тулупах и шапках-ушанках. Они громко выкрикивали фамилии хозяев и, получив утвердительный ответ, исчезали во дворах соседей.

Вместе с матерью Шурка встречал на улице «свою пару короедов». Отец был где-то на перегоне — там от мороза лопнул рельс, и он вместе с рабочими-путейцами менял его. Даринка оставалась в избе и не отходила от окон. Чтобы она не плакала, что ее не взяли с собой встречать полевиков (стоял добрый мороз), девчушке наобещали всяких гостинцев. А Шурка даже дал честное слово, что расскажет ей «все на свете про тех короедов» и не будет больше ей давать болезненных щелчков по лбу, а когда будут играть в прятки, так не станет ее пугать, выскакивая внезапно из своих укромных местечек.

Загодя открыв вместе с матерью ворота во двор и закрыв в конуре собаку Шарика (тот на дух не переносил никого чужого во дворе и мог цапнуть, чего доброго, за ноги тех полевиков), мальчишка не мог дождаться — когда же они уже заедут во двор и их можно будет хорошо рассмотреть. Ну, наконец: последняя пара лошадей, управляемая одним из мужиков, направилась прямо в их ворота. Мать, поздоровавшись с незнакомыми людьми, стала показывать, куда поставить лошадей, а куда скинуть сено. Коней завели в сарай, где стояла до этого корова Лыска. Ее переселили к телке Рябке, за перегородку. Сено перекидали с саней к стене свиного сарайчика.

«Вот хорошо, свиньям теплее будет, а то мороз аж трещит», — подумала про себя Татьяна.

Под сеном на санях оказались мешки с овсом для коней и еще чем-то. Овес хозяйка показала занести в сарай-одрину. Его мужики тут же отсыпали в фанерную коробку и высыпали зерно лошадям в корыто, потом отнесли пару вилошников сена в ясли.

— Хозяйка, а куда нести наш провиант? — обратился к Татьяне один из них.

— Так в сени несите, люди добрые, пока что, а там разберемся. Шурка, сынок, открывай двери, — наказала мать мальчишке, а сама тем временем закрывала засовы на дверях одрины и сарая со скотиной — своей и чужой.

Идя за Шуриком, мужики позаносили в сени мешки. В одном из них находилась картошка, в другом — крупа, мука, лук и сало. (Это Шурка подслушал, когда один из полевиков говорил матери, что где находится, потому что ей предстояло готовить им еду.)

Когда уже хорошо стемнело, с работы прибежал хозяин. Он тут же познакомился с гостями: темноволосого звали Филипп, а русого — Прокофий. Были они двоюродными братьями. Лес заготавливать приехали от своего колхоза, который взялся строить-расширять новые корпуса фермы. Взрослые перекинулись еще кое-какими вопросами-ответами, и Василий, пере-

[1] Уедник — въедливый, настойчивый.

одевшись, побежал смотреть, как что прибрано в его сараях и на подворье. К этому времени мужики немного освоились в избе: свои кожухи они отнесли на печь и в запечек, валенки (сняв с них бахилы) позасовывали в печурки, сами переобулись в самодельные бурки. Мешок с картошкой, отобрав немного на печёники (чтобы испечь ее в печке-голландке на ужин и назавтра с собой в лес), вместе с хозяйкой они укрыли старым тряпьем, чтобы не замерзла, в сенях было холодно. Из другого мешка взяли кое-что в избу.

Старшие дети хозяев в это время в чистой половине избы при большой лампе учили уроки. Младшие же — Шурка с Даринкой, крутились возле матери. Им очень хотелось ближе познакомиться с полевиками-короедами. Особенно мальчишке. Ему не давал покоя вопрос: «Почему эти люди короеды?» Да и деваться детям было некуда: их же обычное место нахождения зимой за дымоходом на печи и широком полку за печью было занято чужими людьми. Теперь им туда и не сунуться несколько недель. Правда, мать сказала малышне, что днем, когда короеды поедут в лес, печь снова будет в их распоряжении.

Дождавшись печеников, Филипп и Прокофий сели к столу на кухне. Из небольшого полотняного мешочка они вынули добрый кусок сала, из другого — какую-то плоскую хлебину-блин. Отломив по куску от того блина, Прокофий протянул его детям:

— Ну что, малые короеды, опреснока попробовать хотите?

Те зыркнули сначала на мужиков, а потом на мать:

«Унё? Почему это они — короеды? И можно ли брать тот блин, опреснок какой-то?» — молча спросили они. Получив ее кивок: «можно» — несмело взяли те куски. Начали есть. «Нет, что-то не то, к чему они привыкли, но есть можно. В их поселке была своя леспромхозовская пекарня. Там пекли большие, пахучие, по целому килограмму, буханки кирзового, как его называли в поселке, ржаного хлеба. Стоил он четырнадцать копеек за буханку. А еще по железной дороге в деревянных ящиках железнодорожникам — путейцам местного околотка и станционным специалистам, привозили два раза в неделю хлеб черный, серый и белый. Прямо из Гомеля! Этот хлеб, все три вида, был намного вкуснее. Особенно теплая корочка. Магазинный же! А здесь какой-то самодельный, суховатый опреснок», — читалось на лицах обоих детей.

Увидав, что ее малые вредники крутят носами от того гостинца, Татьяна поналивала им по кружке молока. Еда пошла веселее.

— А почему мы короеды? Это же вас зовут короедами. А вы что, кору едите? А что это у вас за опреснок такой, он из коры? А из какой? — выбрав момент, когда мать выскочила на двор, забросал вопросами мужиков Шурка. Те, едва не подавившись, глянули один на другого и громко рассмеялись.

— Вы короеды, потому что, как те жуки-короеды, жуете-точите все подряд. А опреснок у нас не из коры, а из ржаной муки, из пресного теста. Это хлеб такой. Он долго лежит, не плесневеет. А нам же вон сколько долго тут у вас быть: когда и где мы того магазинного хлеба наберемся? Мы же темно в лес будем ехать и темно приезжать, — рассказывал детям тот, что звался Филиппом. Даринка с Шуркой сидели на маленьких табуретках и внимательно его слушали, забыв про недоеденные опресноки.

— Так значит, нас тут зовут короедами? А знаете почему? — в разговор включился старший на вид Прокофий.

Дети вместе замахали головами: «Нет! Не знаем!»

— Тогда слушайте, — развернулся от стола Прокофий. — Лес мы будем трелевать с корой. Так? Так. Взвешивать и мерять нам его будут от нитки и до нитки. С корой. А это же сколько лишних килограммов, а нашему колхозу

лишние деньги-копейки платить? В школу еще не ходите? Ну так когда пойдете, так посчитаете. Так что кору с деревьев мы будем очищать прямо в лесу по этой причине. А еще и потому, что под ней через год-другой шашель заведется и будет себе потихоньку точить те коровники или избы. Они от этого быстро струхлявеют, и что тогда? Снова стройся? Так что заготовленный лес повезем домой чистый. А что до коры, что мы ее едим, так во время войны все ее попробовали: и полевики, и полешуки. И мне довелось, потому что я уже был в ту проклятую войну на белом свете. Слава Богу, вы не знаете, что это такое, так и не дай Бог, чтобы узнали…

Полевики, убрав за собой со стола, пошли укладываться спать: старший, кряхтя, залез на печь, младший занял полок. Они были утомлены, с дороги же, да и завтра вставать им нужно было раным-раненько. Вскоре с печи и запечья раздался мерный храп. Малыши молча сидели на своих табуретках около закрытой печки, ждали со двора родителей. А вот и они, наконец!

— А что это вы принишкли[1]? Может, вытворили уже что? Какую шкоду сделали, признавайтесь, — мать подступилась к детям.

— Да нет, мама, мы ее не делали, мы только узнавали: почему полевиков называют короедами, — за себя и за сестру ответил Шурка.

— Что? — мать от неожиданности перешла на шепот. — Как вы это сделали? Вот же чемер[2] несусветная: куда ни посей — так взойдет. Что мне, бедной, с вами делать? Из-за вас стыдно будет людям в глаза смотреть. А ну, упекники[3], рассказывайте, как что было.

Назавтра, еще до рассвета, взрослые были уже на ногах: пока хозяин задавал корм своей скотине, постояльцы управлялись возле лошадей и саней, готовя их на целый день в лес. Татьяна тем временем сноровисто крутилась у печи. Филиппа и Прокофия, когда они зашли в избу, ждали большие тарелки пахучего, с зажаркой, супа, который по-местному назывался бульон, и добрая горка учиненных оладий с кружками молока.

— Ого-го, хозяюшка! Так мы же так не договаривались: нам и бульона хватит, а с собой сала возьмем да по опресноку с печениками. Ребятне своей молоко оставьте, — запротестовали чуть ли не в один голос мужики.

— Да нет, дороженькие, вы же ни ног, ни пилы той не потянете. А целый день на морозе гакать топорами, это же сколько силы надо? И слушать не хочу вас. А что касается ребятни, так хватит и им, живы будут! Наша Лыска недавно отелилась. Им, слава Богу, не привелось пережить того, что вам, бедолагам, да нам — старшим. Садитесь, кушайте на здоровье, и с собой оладий возьмете и хлеба нашего вот по ломтю, — горячо и от всего сердца предложила Татьяна. Ее поддержал и хозяин, который зашел в избу.

Филипп с Прокофием больше не стали отнекиваться от предложенного. Поблагодарив хозяев за «приязнь и ласку», плотно поев и взяв с собой еду, они направились на свой промысел.

Так побежали день за днем. Когда уже хорошо вечерело, с конца улицы, что тянулась в сторону леса, показывалась одна пара лошадей за другой. И кони, и люди были очень уставшими, едва тянулись — одни в теплый сарай, другие — в еще более теплую избу. У Прохоровых лошадей ждало в кормушках-яслях сено и в деревянном корыте овес, людей — чугун теплой

---

[1] Принишкнуть — затаиться, притихнуть.

[2] Чемер — ядовитая самосейная луговая трава чемерица.

[3] Упекник — настырный, въевшийся в печенку.

воды для ног и вкусный ужин, не говоря уже о натопленной печи с чистыми постилками.

Татьяна «своим короедам» (кроме оговоренного бульона утром и печеников на ужин) каждый день готовила что-то вкусное: то жаркое из картошки и к нему подсунет миску засоленных в бочках огурцов с капустой; то картофельные котлеты-парамоники подаст со сметаной мужикам; то драники со здором или жареным салом и луком; то кашу на молоке; то вместо опостылевшего (чего греха таить) бульона возьмет да наварит борща или рассольника с грибами. (Слава Богу, за лето сама с детьми натаскала-насушила тех грибов полные фанерные бочечки, что сохранялись в огромном деревянном сундукеларе.) А в лес постояльцам к их своему, не очень богатому пайку-наедку она выделяла полторачку (полуторалитровую бутылку) молока и к ней добавляла краюхи хлеба, намазанные черным (черничным) вареньем — «на закуску».

Филипп с Прокофием, благодарные за такую, как они говорили, «приязнь» хозяев (которой, они знали от других заготовителей леса, те не получали от своих, кроме простейшего бульона и спанья на печи), отвечали им тем же. Каждый вечер меньшие дети, которые не могли дождаться своих постояльцев из лесу, получали от них гостинцы: «зайчиков хлеб», букет (уцелевшего непонятным образом во всей красе) бересклета, целые вязанки кистей рябины с терпковатыми кисло-сладкими ягодами, ветки сосны, облепленные шишками…

Увидав рисунки и поделки, вырезанные из фанеры лобзиком средним из сыновей хозяев — Матвеем, они нередко привозили ему из лесу разные замысловатые выворотни, из которых способный парень делал причудливые сказочные существа.

Хозяева тоже были довольны своими, такими отзывчивыми, как и они сами, квартирантами. Ни одного разу, пока находились на постое, те не приехали из лесу с пустыми санями — на них всегда что-то лежало: то дубовые чурки — для скамеек во дворе; то березовые жердочки — городить забор; то из крушины ровные палки — на вилочники; а то просто палочки и колочки — хозяйке подвязывать помидоры и цветы…

Месяц пролетел незаметно. Привезя хозяевам два воза (по одному на человека) отборных дров, постояльцы Прохоровых вместе со своими товарищами начали собираться в обратную дорогу — домой. За несколько дней до их отъезда по улице в сторону леса проехало несколько МАЗов с прицепами, а за ними — автомобиль-кран. Малышня не отходила от окон. Позже они первые и увидели, как те огромные машины возили-вывозили заготовленный полевиками лес-долгомер, — ошкуренные и обрезанные бревна.

— Видишь, без коры те колоды. Потом кору лесники приберут на растопку в свою баню (в лесничестве была своя баня), Филипп говорил отцу. А может, еще куда денут. И никакие они не короеды, наши полевики! — говорил Шурка своей младшей сестренке, стоя вместе с ней на табуретках около уличного окна. Та согласно кивала головой. Ей, как и брату, было жаль, что добрые полевики уже поедут от них.

Их мать в это время вытягивала из печи противни-бляхи с картофельными парамониками[1] — пухлыми и вкусными. Их можно было есть и без ничего, а когда с молоком или сметаной — так от миски не оттянуть никого.

---

[1] Парамоники — изделия из картошки типа котлет и коржиков, как из натертого на терке сырого картофеля с добавлением «горсти фарша, горсти укропа», так и из толченого — с добавлением разных ингредиентов — яиц, муки или поджаренного с луком сала.

Картофельные коржики Татьяна готовила в дорогу для своих короедов и складывала их в торбу. К ним добавила «гостинцев детям» — сладких коржиков из муки: у Филиппа и Прокофия дома было по пятеро детей.

После того как колонну МАЗов замкнул тот кран на колесах, в скором времени из лесу показались лошади с санями-карами. Подъехав к «своему» двору, Филипп и Прокофий сняли с огромных саней и занесли во двор три дубовые обтесанные «ушулы на новые ворота и калитку» хозяевам. Затем побросали вместо них на сани пустые мешки из-под овса и своей провизии, которая вот уже несколько дней как закончилась, как ни старалась Татьяна ее растянуть, добавляя мужикам каждый день что-то свое.

Вот и сейчас вместе с детьми она вышла с добрым свертком для своих постояльцев, ее Василий был на работе, старшие дети — в школе. Те топали около саней, ожидая команду на отправку от своего бригадира, который еще не показывался из избы соседки Прохоровых Боконойчихи, у которой стоял на постое.

— Хозяюшка, а ты не будешь против, если мы на следующую зиму снова приедем к вам лес заготавливать? — спросил, с благодарностью принимая торбу с гостинцами для своих и Филиппа детей, Прокофий. Татьяна еще не успела и рта раскрыть, когда ее малые шкодники запрыгали, заскакали рядом от радости. А Шурка во все горло закричал так, чтобы услышали товарищи-погодки, которые вместе с матерями тоже провожали своих постояльцев:

— Ура! А к нам снова приедут наши короеды и привезут нам зайчиковых опресноков!

Получив по загривку от растерявшейся от стыда матери за такие крики, он сначала тоже покраснел и растерялся, поняв, что снова что-то не то «бовкнул», а затем, увидав, как зашлись от смеха «ихние» полевики-короеды, и сам захохотал.

— Мама, я же вам говорил, что они не обижаются на такое слово, потому что и мы же короеды добрые! — отсмеявшись, обратился к матери мальчишка. Потом обернулся к мужикам с вопросом:

— А вы правда приедете следующей зимой к нам?

— Дай Бог, будем живы, так приедем, куда денемся? Приедем только так. И только к вам! Ты, Шурик, передай отцу, что мы ему нашей варёнухи[1] привезем. И печь береги — никого на нее не пускай. Договорились? — Прокофий, а за ним Филипп, протянули, как взрослому, мальчишке руки. Тот аж зарделся от большой чести — на него же смотрели его закадычные дружки от своих дворов. Мальчишка краем глаза видел, что никому из них дядьки-полевики не жали рук.

— Будьте спокойны, дяденьки-короеды, никого мы туда с сестрой не пустим! А самогонки можно и не везти, наш батечко сам нагонит ее с картошки, «чимиргес» она называется, — под хохот Филиппа и Прокофия и под очередной подзатыльник матери твердо заверил тех «малый уедник».

Долго еще с посиневшими носами стояли на улице и махали руками вслед «своим» полевикам, до тех пор, пока те не скрылись из виду за переездом, Шурка и его малая сестра.

Перевод с белорусского автора.

[1] Варёнуха — самогонка с медом и приправами.



Инна ФРОЛОВА

И заранее зная ответ

* * *

Столько лет я живу наугад,
Безнадежно влюбленная в жизнь.
То малиновый звон, то набат,
Как на холст, наношу я на лист.

Мне на райские кущи порой
Не хватает ни зла, ни белил.
А смывает водой дождевой
То, на что не жалела чернил.

И заранее зная ответ,
Не полжизни потратила — всю —
На сомнительный памяти след —
Рядовой оставаться в строю.

* * *

Дай мне руки — я их обогрею,
К ним прижавшись горячей щекой.
Охмелею тобой, осмелею,
Не смогу надышаться тобой.

Прошепчу над тобой обереги,
Чтоб в чужой стороне не пропал.
В сумасшедшем по времени беге
Этот миг будет — тихий причал.

Так легко мне в усталости вечной
Оборваться в холодную грусть
И пропасть в суете бесконечной.
Дай мне руки — и я удержусь.

Я слова — не смогу, не сумею —
Брошу под ноги, словно старье.
Дай мне руки — я их обогрею,
Запоздалое счастье мое.

* * *

Стал привычным маршрут до тебя –
уложился в полсотни тревог,
Он пролег через море причин,
пробежал миллионы дорог.

Завязал в кольца версты путей,
уместив знаки памятных дат.
А сегодня на шаг стал длинней:
это я повернула назад.

* * *

Все в мире когда-то не раз повторится:
Поэту о Родине сны будут сниться.
Пророча судьбу на далекой чужбине,
Он тихо сгорит, как бывало доныне.

Все в мире людей, как и было вначале, —
Во все времена их пороки венчали.
Но кто-то найдется, пускай однокрылый,
И правду глаголить найдет в себе силы.

Все в жизни людей еще раз повторится:
Как дни, замелькают события, лица,
В пустой суете, в пустословье забавном
Вновь люди не скажут друг другу о главном.

И мудрость осенняя вновь повторится,
И листья вновь под ноги будут стелиться
Небесной зарей, вспоминая о лете,
Чтоб вновь повториться началу на свете.





Ольга НОРИНА

Тает льдинка тоски

Песенка для Веры

Солнце клены целует.
Птицы — снова в полет.
Вера чаем торгует.
Вере это идет.

Если я замечаю —
Потеряла покой,
Отправляюсь за чаем
И за новой строкой.

Остряки и зануды
Без друзей и подруг —
Ждут сюрприза и чуда
Все из Вериных рук.

Улыбается первой:
«Как житье да бытье?»
Подбирает нам Вера
Колдовское питье.

Утихают печали,
Тает льдинка тоски
От горячего чая
И от новой строки.

Мы друг другу спасенье.
У Вселенной в гостях
Верин месяц рожденья —
Златолистый октябрь.

* * *

М.

Ведет судьба — по терниям босой.
Учусь терпеть и радоваться меди.

Да вот все чаще меж друзей — с косой
Мелькает несговорчивая леди.

Нам не предугадать ее маршрут.
Невыносимо холодно на тризне.
Там есть ли рай, не знаю я, а тут
Жестока жизнь, что длится после жизни.

* * *

Прощай, кораблик юности, плыви
За горизонт, где время бьет баклуши.
Нет ничего нелепее старушек,
Что пишут вдохновенно о любви.

* * *

Незнания стена, надежды нить.
Бежит клубок, за ним душа — босая.
И вот опять мучительно решаю,
Зачем и для кого мне стоит жить.

* * *

Как бы ни было страшно остаться чужими людьми,
Как бы ни было плохо одной, и обидно, и грустно,
Если я разобьюсь о преграду твоей нелюбви,
То всего лишь отправлюсь прокладывать новое русло.

Строка, аккорд и ветер ноября

Хандру дожди осенние несут,
И давит на зонты прохожих небо.
Душа пустой, как треснувший сосуд,
Покажется. Играя в быль и небыль,
Последний лист слетит на дно балкона.
Но не грусти, что жизнь проходит зря,
Раскрой ладонь — и ощути: в ладони
Строка, аккорд и ветер ноября.





Дарья ДОРОШКО

Я находила нужные слова

Кем быть?

Когда мне было около пяти,
Я маму огорчила заявленьем:
«Вот вырасту и стану парк мести —
Кленовый, Луначарского, осенний!..»
Я дворником тогда мечтала быть —
В оранжевом, с метлой и с вечным правом
Спасать от грязи солнечную быль —
Сметать с тропинок желтый лист упрямо.
Из-под сапог прохожих вырывать
Остатки лета, чтоб не затоптали.
Я находила нужные слова,
И люди, улыбаясь, расступались.
Я, словно ветер, в мир вдыхала жизнь
И листопад баюкала-качала...
— Эй, девочка! Кем хочешь быть, скажи!
И я чуть слышно:
— Ветром, — отвечала.

* * *

Я с радостью гуляю под дождем,
Не понимая тех, кто хмурит лица.
А я не вижу смысла веселиться,
Когда земля от засухи — коржом;
Когда душа в плавильне тысяч солнц
Тупеет, раздражается и хнычет;
Когда под неумолчный гомон птичий
Глядишь свой триллер под названьем — сон.
Дитя зимы — люблю дожди и лед.
Люблю людские лица — под зонтами...
Люблю, когда снежинки-оригами
На окнах завершают свой полет...

* * *

Непостижимость солнечного утра
Не беспокоит жадных голубей,
А золотая солнечная пудра —
Всего лишь пыль в бабсониной судьбе.
Романтики и реалисты света,
Глядим на небо в прорези для глаз,
А где-то там, за облаком, планета —
С немым восторгом изучает нас,
Смешных, невысыпающихся, жалких.
Живущих в долг, наотмашь, налегке...
Мы с собственной душой играем в салки
И носим звезды в старом рюкзаке.
Когда в ночи достигнув перевала,
Мы выпускаем звезды в небеса,
То понимаем, как нам не хватало
Ликующего солнца в волосах!
Оно взойдет и золотистой пудрой
Осыплет голубей и купола.
Непостижимость солнечного утра
Пытаются воспеть колокола.

Гастрономия счастья

Я тебе приготовлю кофе.
Заварю, как ты любишь: в кружке.
И хрустящий куплю картофель.
И слоеные, с маком, ушки.
Я тебе приготовлю ужин —
С той любовью, что сны венчает
Со Вселенной во мраке стужи.
Я тебе приготовлю чаю.
Я твое отогрею сердце,
Ты не станешь полночным Каем,
Что не может никак согреться,
Что для солнца недосягаем.
А потом приготовлю завтрак
На огне василька конфорки.
И погаснет фонарь над аркой...
А покатится солнце с горки,
Утопая в вечернем чае, —
Мир со счастьем нас повенчает.





Джо АЛЕКС

Ты всего лишь Дьявол[*]

Роман

Глава XVI

«Папочка! Папочка!! Папочка!!!»

— Роббер! — сказал Алекс и посмотрел на часы. Без двадцати четыре. Все четверо встали из-за стола.

Ни ланч, ни бридж у сэра Александра Джилберна не были сегодня тем, что можно было бы считать удавшимися мероприятиями.

— Идем? — Джоан подошла к открытому окну, а затем вернулась. — Я знаю, почему так люблю твой дом, дядюшка. Здесь нет этих проклятых решеток. Норфорд Мэнор — как тюрьма... Нет, клетка!.. А ночью кто-то поворачивает картины лицом к стене! — Она была очень бледна, и ее губы дрожали. Спокойствие, которое отличало ее утром, а затем не оставляло во время завтрака и игры в карты, внезапно исчезло. — Полиция должна, в конце концов, что-то предпринять!

— Пойдем, — Николас взял ее под руку. — Вы ведь тоже идете, правда? Небольшая прогулка всем нам пойдет на пользу. Не нервничай, малыш. Надвигается гроза, и потому мы все немного возбуждены. Это такие маленькие игры электричества в атмосфере с электричеством в серых клетках нашего мозга.

— На всякий случай возьмем плащи, — Джилберн позвонил Остину, а потом они маленькой группой направились через луг к калитке в стене.

Алекс окинул взглядом далекий, возвышающийся над лесом дом на скале. В маленьких окнах Норфорд Мэнор по-прежнему отражалось голубое небо, но воздух сменил цвет, и казалось, будто что-то грозное повисло вокруг.

— Не знаю, что со мной? — Джоан щелкнула пальцами, словно маленькая девочка, показывающая фокус, которому только что научилась. — Хорошо, что Томас там остался... Но, в конце концов, не нужно все принимать так близко к сердцу... Напрасно вы нас так напугали. — Она повернула голову к идущему следом Алексу. — Я столько о вас слышала, что мне сразу показалось, будто Норфорд должен стать местом какого-то ужасного происшествия, того, что встречается в ваших книгах: умный преступник и жуткая тайна... Вы понимаете, что я имею в виду? А тем временем, вы приехали сюда и уедете отсюда, а тут, может, ничего и не случится... я надеюсь... — закончила она тихо. Потом подняла голову. — Мы все должны уехать отсюда. Не знаю почему, но у меня такое чувство, что это не бабушке что-то угрожает... поэтому она могла бы остаться. А мы не должны быть здесь... Я хочу уехать отсюда, Ник. Забрать папочку и уехать в Лондон.

---

[*] Окончание. Начало в № 9, 10 за 2016 г.

— Боюсь, я последний человек на земле, который мог бы убедить твоего отца в чем бы то ни было. — Николас улыбнулся. — Кроме того, если мы впадем в панику, то, кажется, сделаем именно то, чего добивается этот шутник. Но, конечно, если хочешь, через пять минут после прихода в Норфорд Мэнор я могу вывести из гаража машину, и поедем. В конце концов, я приезжаю сюда только затем, чтобы спокойно поработать и видеть тебя бегающей по лесу в хорошем настроении. Если это не получается, вся игра не стоит для меня половины пенса.

Луг закончился. Они прошли через калитку и вышли в лес.

— А все же, не скажете ли вы, зачем так рано пошли сегодня в пещеру? — Алекс говорил спокойно, но в его голосе прозвучала легкая нотка настойчивости, на которую Николас немедленно отреагировал.

— Я, конечно, мог бы сказать. Но хотелось подождать до вечера. То, что я намерен добавить к своему рассказу, требует еще... — он умолк. — Ну, давайте уж подождем до вечера! — И улыбнулся. — Прошу не обижаться, но я не столь впечатлителен, как моя маленькая жена... — Он обнял ее за плечи, но тотчас же отпустил руку, как бы устыдившись своей фамильярности. — Я знаю, что, когда мы войдем в дом, Джоан успокоится и все будет по-прежнему. Видите ли, это окружение всегда хорошо влияет на нее перед большими соревнованиями, а у меня тоже есть несколько колористических проблем, которые я хотел бы решить. У здешнего мира есть свои магические краски, и я хочу их уловить. В белизне этих скал и в зелени леса есть что-то такое, что в совокупности придает воздуху совсем другую фактуру, чем где бы то ни было. А может, мне только так кажется? Но все равно: в искусстве убеждение является наивысшей истиной.

— О, наверно, ты прав, а я напрасно впадаю в панику... — Джоан выпрямилась. — Когда мы придем, я заварю нам всем хороший крепкий чай. Мистер Алекс поговорит с папочкой о рогах и копытах, а дядя Александр, Томас, ты и я сыграем во что-нибудь, и может, гроза, наконец, начнется, потому что, в конце концов, она же должна когда-то начаться и... И все будет отлично. — Она слабо улыбнулась. — Хорошо, что вся прислуга пошла в Блю Медоуз. Я займусь хозяйством, а кухня всегда возвращает женщине равновесие.

Джилберн, который шел рядом с ними, тихо постукивая своей тростью, вдруг поднял голову.

— Весь этот оптимизм был бы уместен, — сказал он тихо, — если бы не тот факт, что мистер Алекс абсолютно не верит в самоубийство Патриции.

— Что? — Николас не замедлил шага, но в его взгляде Джо увидел почти неприязнь. — Вы всерьез так думаете?

— К сожалению. Кроме многих доводов, которые, в конце концов, можно было бы оспорить, я вижу один, который является непоколебимым. Думаю, что с полной уверенностью я могу констатировать: миссис Линч не совершила самоубийство. Но я не виню ни местную полицию, ни коронера, ни суд присяжных, который утвердил результаты следствия. Мой довод… он довольно деликатного свойства, если можно так выразиться.

— А на чем вы его основываете? — сейчас, пожалуй впервые с того момента, как Алекс его увидел, Николас выглядел взрослым мужчиной, а не взъерошенным, безответственным художником, принявшим позу большого капризного ребенка.

— Насколько я знаю... — Джо посмотрел на него спокойно, — у вас тоже есть свои маленькие тайны! Разрешите и мне сохранить мою до тех пор, пока оглашение ее принесет наибольшую пользу следствию.

— Но это означает, что убийца находится среди нас! — сказал Робинсон с изумлением. — А если он среди нас... — он не закончил начатой мысли. — Во всяком случае, несмотря ни на что, Джоан уедет отсюда сегодня же и не вернется в эту дьявольскую дыру, пока все не выяснится. Убийца — не самое подходящее общество для женщин, даже для таких, которые могут убежать быстрее остальных.

В его последних, на первый взгляд, шутливых словах не было улыбки. Он снова посмотрел на жену.

— Я еду с тобой и буду караулить тебя и днем, и ночью, пока полиция не схватит этого человека. Нет никаких причин здесь оставаться. Я не детектив и ничего в этом не смыслю. Я никогда ни на что не пригожусь, хотя никто не назовет меня трусом. Зато я могу обещать тебе, что даже на тренировке ты увидишь меня на трибуне! — Он обратился к Алексу: — Ну хорошо, а почему полиция спокойно смотрит на это?

— Потому, что смотреть на это неспокойно тоже не имеет смысла, — сказал Джо несколько более сухо, чем того хотел. — Убийца очень ловок, — добавил он мягче, — настолько ловок, что, как вы сами видели, он сделал невозможными любые версии расследования, кроме версии самоубийства. Но, к счастью или к несчастью, он не ограничился этим. Он действует дальше, хотя еще не убивает. И если вы полагаете, что я против того, чтобы все нынешние обитатели Норфорд Мэнор разъехались и ничего бы не случилось, то, возможно, лишь потому, что в данный момент Дьявол действует в том месте, которое мне уже известно, а потом он может начать действовать в других местах, мне неизвестных. Ведь трудно было бы до бесконечности держать полицейскую охрану при каждом из вас. Кроме того, это проклятое дело не оставляет никакой зацепки для нового следствия. Он действует безошибочно.

— Кто?

— Дьявол.

Все замолчали.

— А что, полиция и в самом деле не намерена действовать? — Николас покачал головой. — Но это значит, что нас всех обрекают на возможную резню, надеясь, что при каком-нибудь очередном покойнике Дьявол совершит какую-то маленькую ошибку и разоблачит себя. А что будет, если не разоблачит?

— Тогда мы окажемся перед лицом убийств, загадки которых властям не удалось раскрыть. — Сейчас Алекс уже вполне владел собой, хотя слова, которые он высказывал, впервые в жизни давались ему с трудом. — Вы ведь знаете, что и так бывает. А если речь идет о полиции, то, по крайней мере, пока, полиция — это я. А если бы сэр Александр и мистер Кемпт не отнеслись серьезно к шутке с портретом в прошлое воскресенье, не было бы здесь и меня. Конечно, я в состоянии устроить, чтобы перед Норфорд Мэнор стоял полицейский, а двадцать других разместились во всех свободных комнатах дома. Но это не поможет найти убийцу, и он останется по-прежнему неизвестным. Вы можете также все уехать. Тогда здесь останется леди Элизабет с доктором, медсестрой и прислугой. Что случится тогда, не знаю. Вся трудность заключается в том, что если все уедут в Лондон, тогда, вероятно, ничего не случится. И в этом случае следствие окажется в тупике. Ибо из данных, которыми я располагаю, о смерти миссис Патриции Линч, я могу с полной уверенностью утверждать, что она была убита, однако сейчас уже никто в мире не сможет предъявить преступнику доказательств, что он ее убил. Попросту говоря, не хватает данных. Если бы я приехал сюда месяц назад, сразу после трагедии, возможно, я смог бы сказать нечто большее. В эту минуту я стою перед уравнением с сотней

неизвестных и несколькими сомнительными данными. Я всего лишь человек. А поскольку я человек, который много лет борется с преступлением, я в отчаянии. Вот и все.

— А у вас нет какой-нибудь версии? Джоан говорила мне, что у вас всегда есть какая-нибудь версия, которая вначале кажется абсурдной. А затем оказывается правильной и чудесным образом оправдывается.

— Ваша супруга была ко мне слишком любезна. Да, у меня бывают версии, и порой они действительно оправдываются, потому что всегда основаны на элементарной логике. Но логика требует данных, мотивов и возможностей. Того, что я знаю сейчас, не хватило бы для содержания под арестом в течение даже получаса того лица, о котором я думаю…

— А о ком вы думаете?

Этот вопрос задал Джилберн. Причем так быстро, что Джо машинально открыл рот, чтобы ответить, но так же машинально удержался.

— Вы же юрист, сэр Александр, и прекрасно знаете, что человек, публично подозревающий другого человека в совершении преступления, не имея для этого хотя бы соответствующих логических предпосылок, сам является преступником, хотя и меньшего калибра. В данную минуту я беспомощен, хотя знаю уже очень много, быть может, больше, чем вытекает из моих слов. Но нескольких его действий я не понимаю. Они не согласуются между собой. А ведь все должно быть взаимосвязано. Во всяком случае, с того момента, как я поселюсь в Норфорд Мэнор, я всерьез постараюсь кое-что предпринять... И вы можете быть уверены, мистер Робинсон, что даже если вы сегодня уедете отсюда, вы услышите о результатах расследования. Ибо в эту минуту единственный способ, который остается у Дьявола, чтобы прекратить мое расследование, это только убить меня.

Джоан растроганно взглянула на него, и в ее глазах засветилась улыбка.

— Мы все будем вам сердечно благодарны, — сказала она тихо. — Просто страшно, когда вы с такой уверенностью говорите о Дьяволе и о смерти тети Патриции.

Они вышли из леса. Вдали, возвышаясь над обширной территорией, уже виднелся Норфорд Мэнор. На далекой террасе, словно маленькая статуэтка из белого фарфора, передвигалась женская фигурка, суетясь вокруг чего-то, чего нельзя было разглядеть, но они знали, что это старая, сидящая в кресле женщина.

Джоан вздохнула с облегчением.

— Слава Богу, все в порядке... Это так действует на нервы, что я уже начала бояться... Агнес копошится возле бабушки... Хорошо, что вы с нами... — она посмотрела на Алекса почти умоляюще, как бы прося об опеке и охране от чего-то, чего боялась и не понимала.

— Думаю, что прежде всего надо искупаться, — Николас посмотрел на небо. — Пожалуй, я не припоминаю такой парящей жары в этих…

Он не закончил предложение, потому что из-за деревьев вдруг выбежала красивая немецкая овчарка, остановилась, посмотрела на идущих, а потом спокойно вернулась к молодому человеку в полицейском мундире, который медленно поднимался в гору, приближаясь к дому со стороны леса.

— А что же это вы здесь, сержант? — воскликнул Джилберн, который, видимо, знал его. — Почему не в Блю Медоуз? Там ведь у вас сегодня много людей.

— Да, сэр, — сержант Кларенс остановился и вытер потное лицо, снимая фуражку. — Именно поэтому я здесь. Каждый год на празднике появляется пара сомнительных личностей, а учитывая, что Велли Хауз и Норфорд Мэнор единственные дома в окрестности, где воришка может поживиться, и что вся прислуга обычно уходит на весь день... — он развел

широко руки, улыбнулся, отдал честь и двинулся дальше, обходя владения Эклстоунов широким полукругом.

Джо посмотрел на дом. Он был даже доволен, что рослый сержант и его служебный пес гуляют по парку. Хотя какое это имело значение? Дьявол — не то создание, которое боится собак и полицейских. Джо опять бросил взгляд на дом. Медсестра прошла по террасе и скрылась за входной дверью. Даже на расстоянии нескольких сот ярдов ее золотисто-рыжие волосы блеснули на солнце, словно отлитые из металла.

— Привет, Том! — крикнул Николас и взмахнул рукой.

Джо повернул голову.

Томас Кемпт, одетый в белый купальный халат шел босиком по газону со стороны бассейна и потряхивал головой, с которой сыпались серебристые капли.

— Чудесная вода! — закричал он. — Вы все должны немедленно искупаться! Я окунулся на пару минут и чувствую себя, будто родился заново!

Он подошел к ним.

— Как удался бридж, сэр Александр? Джоан опять разнесла всех? В пух и прах?

— Опять...

Алекс резко повернулся.

Со стороны дома донесся приглушенный звук выстрела.

Не размышляя и не пытаясь усомниться, Джо изо всех сил бросился бежать к дому. Одновременно он увидел белую фигурку, которая выбежала на террасу и остановилась, глядя куда-то вправо вверх и указывая на что-то рукой. На окна Ирвинга Эклстоуна. Алекс ускорил бег и сейчас мчался в гору как безумный.

— Папочка! — услышал он за собой женский крик.

Краем глаза он увидел сержанта Кларенса, который тоже рванулся к ним. Собака бежала у его ног. Сержант, не замедляя бега, вынимал из кобуры пистолет.

Кто-то легко обогнал Алекса, словно он был не взрослым, хорошо натренированным мужчиной, а хилым старцем, едва передвигающим бессильные ноги. А ведь он знал, что бежит очень быстро.

Джоан Робинсон бежала босиком. Это тоже он заметил подсознательно. Он успел ее опередить, когда она срывала с ног туфли на высоких каблуках. Она неслась, как ураган, словно подъем, жара и платье не существовали. Даже в эту секунду, когда он бежал с сердцем, полным ужаса и страшного предчувствия неизбежного краха, его охватило восхищение. Прежде чем он пробежал три четверти дистанции, она уже влетела на террасу и исчезла в черном прямоугольнике открытой входной двери.

Агнес Стоун, смертельно бледная, стояла на террасе и прижимала руки к груди.

— Там! — закричала она. — Наверху!

Джо сразу прыгнул на несколько ступенек вверх, но споткнулся и на долю секунды потерял равновесие. В эту ничтожную долю секунды, когда он повернул лицо назад, он увидел Кларенса, который был уже близко, а по главной аллее бежали Николас, а за ним Кемпт, который слегка отстал, путаясь в полах халата. Еще дальше, смешно раскачиваясь и резко опираясь на трость, приближался Джилберн.

Эта картина мелькнула в его глазах, и в ту же минуту к Джо вернулось хладнокровие.

— Оставайтесь здесь и охраняйте оба входа! — крикнул он Кларенсу. Джо выпрямился и, вбегая в холл, потянулся к заднему карману. С пистолетом в руке он вбежал в дом.

Сверху доносились частые и сильные удары, гремящие, как барабанный бой.

Он бросился на этот звук, перепрыгивая через три ступеньки сразу. Джоан Робинсон, отчаянно рыдая, колотила маленькими кулачками в дверь кабинета своего отца.

— Папочка!... Папочка!!... Папочка!!!..

Глава XVII

Облава на того, которого не было

Все произошло так быстро, что когда Джо позже пытался восстановить подробности тех нескольких минут, ему удалось это сделать с большим трудом.

Он взбежал по лестнице и очутился рядом с Джоан.

— Папочка! Папочка!!! Открой!!!

Мягко, но решительно он отодвинул Джоан и наклонился к замочной скважине. Ключа в ней не было. Хотя на дворе ярко светило солнце, в комнате горел свет. В кругу света лампы, которая стояла на столе, Алекс увидел то, чего не хотел увидеть: голову человека, лежащую на поверхности стола так, будто Ирвинг Эклстоун к чему-то прислушивался, приложив ухо к лежащим на столе бумагам. Лицо было обращено в другую сторону от двери. Джо не видел его.

— Он там? — спросила Джоан, жадно хватая воздух.

Алекс молча кивнул. В эту же секунду Николас Робинсон очутился возле них. Внизу Джо услышал быстрые шаги, хлопанье дверью, а потом те же шаги, бегущие наверх.

— Ломайте дверь! — закричала Джоан. — Он там, Ник! Ломайте дверь! Вы слышите?

Джо отступил, чтобы взять разгон. В этот момент на лестничном пролете показался Кемпт в расстегнутом халате, под которым виднелись его атлетическая грудь и мокрые голубые плавки. В одной руке он держал револьвер, а в другой — маленький мешочек с патронами, которые по дороге торопливо засовывал в барабан.

Джо всем телом ударил дверь. Она глухо задребезжала, но не дрогнула.

— Попробуем вместе! — Кемпт положил свой револьвер на стол возле шара с розами и встал рядом. Они налегли на тяжелую дубовую дверь вместе. С оглушительным треском одна из досок филенки расщепилась с внутренней стороны, и дверь прогнулась. В верхней части двери показалась узкая щель. Джоан стояла у стены, прижав к щекам ладони жестом испуганного ребенка.

— Еще раз, вместе! — они ударили с отчаянной силой, которой нет у человека, но которая рождается в нем из неизвестных источников, когда появляется необходимость. Замок лопнул, и дверь распахнулась. Джо, который находился посредине, влетел в комнату и остановился, удерживая равновесие. Того, что он увидел, оказалось достаточно. Он мгновенно повернулся и схватил Джоан, которая влетела следом за ним, расталкивая остальных мужчин.

— Прошу вас вывести жену, мистер Робинсон. Здесь... произошло... Одним словом, она не должна здесь оставаться.

Молодая женщина замерла неподвижно в его руках. Потом, не спуская глаз с отца, тихо сказала:

— Он мертв, правда? Вы можете меня не держать. Я никому ни в чем не буду мешать...

Джо тут же отпустил ее и подошел к письменному столу. Он склонился, потом выпрямился.

— Ваш отец умер мгновенно... — Джо проглотил слюну. — Я должен попросить вас всех, чтобы вы сюда не входили. Мне очень неприятно, но вы, миссис Робинсон, тоже... по крайней мере, не сейчас... — Он посмотрел на Николаса. — Вы все должны выйти из дома в сад. Лучше всего соберитесь за домиком садовника. Если... если это не было самоубийством... убийца еще может находиться в доме. Поэтому вы, миссис, не можете здесь оставаться. Вы все тоже...

Джо увидел Джилберна, стоящего в проеме выбитой двери. Известный юрист держал теперь трость в левой руке. А в правой руке он держал небольшой пистолет малого калибра. Мимолетно Джо подумал о том, как мало говорили эти люди об опасности и как много каждый из них думал о ней, если, как по волшебству, из четырех мужчин, находящихся в комнате, трое имели при себе оружие. А был еще пятый... он тоже держал в сжатой руке пистолет. Только он уже никогда из него не выстрелит.

— Я должен остаться здесь на некоторое время... — сказал Джо, обращаясь к Джилберну. — А вы, пожалуйста, спуститесь в холл и позвоните в полицию. Где сейчас может быть доктор Дюк? А может, найдется какой-нибудь другой врач. Пусть немедленно приезжает. Все должны покинуть дом... — Он посмотрел на Джоан. Она начала тихо плакать, спрятав лицо на груди мужа, который гладил ее по волосам и шептал:

— Тише, малышка, тише, тише...

— Я хочу, чтобы все присутствующие собрались за домиком садовника и никуда не уходили оттуда. Если это не самоубийство, убийца по-прежнему находится здесь, и тогда может возникнуть опасность... — Он кивнул Николасу, который ответил незаметным кивком и вышел, уводя с собой плачущую жену.

Кемпт вышел за ними. На пороге он на момент задержался.

— Не считаете ли вы, что я должен остаться здесь? Я вооружен и...

Джо отрицательно качнул головой.

— Нет. Это дело полиции. Идите с ними. Там находятся три женщины, и вы можете им понадобиться, если возникнет какая-нибудь необходимость... А где ваше оружие?

— Боже! Я оставил его на столе возле двери! — Томас выбежал из кабинета. Джо услышал его шаги на лестнице. Он тоже подошел к двери и остановился. Внизу Джилберн говорил по телефону.

Алекс вернулся и осмотрел комнату. Потом подошел к окну, осторожно отодвинул штору, открыл окно и выглянул. Это окно выходило не на ущелье, а на главную аллею парка. Прямо под ним находилась терраса. Он увидел сержанта Кларенса, спокойно прохаживающегося на расстоянии нескольких десятков ярдов от дома. Собака шла возле его ног, как будто их соединяла какая-то невидимая нить, не дающая возможности ни приблизиться, ни удалиться. Он увидел в руке сержанта блеск темно-оксидированного служебного пистолета.

— Все ли уже находятся за домиком садовника? — крикнул Джо.

Кларенс остановился.

— Да, сэр.

— Никого постороннего не заметили?

— Нет, сэр.

— Хорошо. Я сейчас спущусь вниз.

Он открыл шторы второго окна, выходящего на ущелье и Дьявольскую скалу. Потом медленно подошел к письменному столу. Перед Ирвингом

Эклстоуном и под его неподвижной головой лежали исписанные листы бумаги. Рядом с ними открытая авторучка. Слева несколько книг. Джо быстро наклонился. Нет. На этот раз Дьявол не захотел оставлять свою визитную карточку.

Осторожно, кончиками пальцев, Джо поднял старый, натянутый на тонкую дощечку переплет книги. Боден[1], «Demonomanie des sorciers», — великолепный редкий экземпляр первого издания 1575 года.

Он отошел от стола и осмотрелся. Потом вынул из кармана пистолет, который сунул туда, когда выбивал запертую дверь. Краем глаза он заметил какое-то движение в углу комнаты и молниеносно направил туда пистолет.

Длинная зеленая змея медленно ползла вверх по искусственному дереву, в центре террариума. На дне, между камнями, лежала вторая змея. Она свернулась в несколько колец, на которых покоилась ее голова. Некоторое время Алекс молча смотрел на змей.

Чувство, которое охватило его, когда он услышал выстрел, внезапно ушло, и он словно выбрался из кошмарного сна. До этой минуты он действовал автоматически: он говорил, но его собственные слова не доходили до его сознания, он знал, что живет, бежит, ломает дверь, отдает распоряжения беспомощным, испуганным людям... Но он сам продолжал оставаться в каком-то совершенно нереальном состоянии. Случилось то, чего не могло случиться. Не могло случиться. Не могло случиться...

Он потряс головой. Жизнь накатилась огромной волной, и в мозгу вспыхнули тысячи маленьких ярких лампочек. Опять зазвенели в подсознании тревожные звонки. Теперь он обязан действовать быстро, как можно быстрее. Он еще раз посмотрел на стол. Но не осмотр был сейчас самым главным. Длинная струйка крови, вытекшей из виска умершего на стол, а затем исчезающая за его краем, начала засыхать. Джо еще раз внимательно осмотрел комнату, стараясь запомнить каждую мельчайшую деталь. Потом он вышел и, держа пистолет в руке, начал спускаться вниз, с обостренным зрением и напряженными мышцами останавливаясь и прислушиваясь на каждом шагу.

Когда он появился на террасе, то не увидел никого, кроме сержанта Кларенса, который на расстоянии в несколько десятков ярдов от дома продолжал прохаживаться то быстрее, то медленнее, но не спуская глаз с входной двери. Джо, знавший, что Кларенс меняет темп ходьбы, чтобы затруднить прицел возможному стрелку, повернулся и внимательно осмотрел все окна в радиусе его поля зрения. Потом он направился в сторону сержанта, испытывая неприятное чувство, что его спина выросла до размеров огромной мишени для стрельбы, в которую без всяких усилий мог бы легко попасть любой ребенок. Но одновременно он хотел, чтобы человек, скрывающийся в доме (если, конечно, в доме кто-то прятался!), проявил бы хоть какую-нибудь деятельность и вступил в борьбу. Тогда все стало бы ясно...

Он шел не спеша и отдавал себе отчет, что им сейчас руководит не здравый смысл, а обыкновенный мальчишеский стыд, как бы кто не подумал, что он боится.

— Сэр Александр Джилберн соединился с нашим управлением в графстве, — сообщил ему сержант. — Через несколько минут полиция должна быть здесь. Они сказали также, что сейчас же сообщат в Лондон. Похоже на то, что Скотленд-Ярд велел им информировать о каждом происшествии здесь…

[1]Жан Боден — французский мыслитель (1530—1596).

— Да… — Джо стоял с пистолетом в руке, чувствуя на своей спине солнечный жар, не уменьшившийся с приближением вечера. — А доктор?

— Сэр Джилберн звонил также к аптекарю в Блю Медоуз. Доктор Дюк ездит туда каждое воскресенье играть в бридж. На этот раз он тоже там был, но почувствовал себя плохо и уехал на своем автомобиле в час дня, то есть три часа назад.

— Куда уехал?

— Сэру Александру сказали, что домой.

— Домой? Это значит сюда?

— Да, сэр. Может, в дороге у него испортилась машина, а может, его плохо поняли?

— Узнаем, — Джо еще раз окинул взглядом мертвые окна дома. — Думаю, что мы попросим сэра Александра и мистера Кемпта вести наблюдение за домом. Они оба вооружены. А мы с вами вместе с собакой обойдем все комнаты внутри. Не будем терять времени...

Он хотел еще что-то прибавить, но не сказал ни слова, потому что из-за деревьев послышался характерный звук автомобильного мотора, работающего на первой скорости. Потом звук утих. Машина въехала на ровное место. Через минуту Джо увидел доктора Арчибальда Дюка за рулем автомобиля. Три часа назад доктор выехал из Блю Медоуз, до которого всего-то пятнадцать минут езды.

Глава XVIII

«Чего ты от меня хочешь?..»

— Чего ты от меня хочешь? — устало спросил Бенжамин Паркер и посмотрел на Алекса почти с неприязнью. Они стояли друг против друга в кабинете Ирвинга Эклстоуна, останки которого уже давно исчезли за выломанной дверью, вынесенные двумя рослыми санитарами в серой форме.

— Я хочу только одного... — Джо тоже выглядел уставшим. Его лицо выражало столь сильное напряжение, что походило на маску, застывшую в судороге боли, — чтобы ты довел это расследование до конца и дал мне возможность понять, что здесь, собственно, случилось, Бен.

— Что случилось?! Человек умирает в собственном кабинете, запертый в нем на ключ, от пули из собственного пистолета, и экспертиза это подтверждает. Даже ты сам можешь заявить под присягой, что в момент выстрела в доме не было никого, кроме него. Мы осмотрели весь дом и не нашли никакого тайного хода, коридора или какого-либо иного способа сообщения с домом извне. Все окна дома забраны решетками, а единственные два выхода находились в момент трагедии под твоим наблюдением. К тому же, словно чудом, на месте оказался сержант полиции со своей полицейской собакой. Вы обыскали весь дом. В нем никого не оказалось. Вся окружающая территория обследована и обыскана в течение получаса после происшествия... Нет никакого физического способа, чтобы кто-нибудь мог убить этого человека. Снаружи его тоже не могли убить. Не говоря уже о том, что он точно погиб от пули из того же пистолета, который держал в руке. Однако, чтобы в этом деле уже все абсолютно было ясно, Провидение велело этому человеку работать днем при закрытых окнах и плотно задвинутых шторах... В комнате не оказалось никаких тайных приборов или устройств, которыми любят щеголять авторы криминальных романов. Никаких автоматов, ловушек, подъемников и тому подобного… Нет никакой физической возможности, чтобы это ***не было самоубийством***! Никто

в мире не может подвергнуть сомнению этот факт, не рискуя быть всеми осмеянным. А если речь идет о моей скромной персоне, то ты знаешь, что я работал с тобой в самых разных необычных ситуациях. Но ты ведь не хочешь сказать, что предлагаешь мне провести вечер и ночь для разбора того, что фантасты называют ***идеальным преступлением***? Разве что сам Дьявол принимает в этом участие. Но в этом случае ты должен пригласить на помощь не полицейского, а священника. Мои компетенции и возможности находятся в реальном мире, и я ничем не могу тебе помочь. Мы должны собрать свое барахло и сваливать отсюда. А по дороге я напишу рапорт для местных властей. Через пару дней соберется жюри коронера и даст свое заключение... На этом дело будет закончено. Хочешь мне еще что-нибудь сказать?

— Да... — Джо устало кивнул головой. — Я ничего не имею против твоих рассуждений... Но я хочу... я хочу попросить тебя лишь об одной услуге. Я еще не понимаю всего... Это, в некотором смысле, ***невозможно*** понять. Но прошу тебя, Бен, лично, поскольку ты всегда был и остаешься моим другом, и у меня никогда не было оснований сомневаться в твоей дружбе... прошу тебя, давай задержимся здесь еще немного, и ты, авторитетом своей власти, поддержишь все мои абсурдные идеи. Пообещай мне, что ты и твои люди останетесь со мной, пока я не скажу тебе, что сдаюсь. Согласен?

Паркер пожал плечами, а потом посмотрел на него исподлобья.

— Джо… Пойми — я не могу! Это бессмысленно. Это так, будто ты хочешь убедить меня в том, что человек может находиться в двух местах одновременно... Но... — он заколебался. — Я видел твои победы, Джо. Я знаю, что у тебя, действительно, огромный талант. Ты оказал нам столько услуг, что я не могу тебе отказать, если настаиваешь. Но если ты говоришь о нашей дружбе, то лично, как друг, должен тебе сказать, что...

— Спасибо... — Джо кивнул головой. — Не заканчивай. Я знаю, что ты хочешь сказать. Но я ловлю тебя на слове, Бен.

— Хорошо. Но ты должен четко и точно определить, чего от меня требуешь.

— Мы должны допросить этих людей. В этом деле есть несколько моментов, которые мне непонятны, и я хочу их прояснить.

— А когда ты прояснишь эти моменты — что потом?

— Потом, может быть... — Алекс прервал, затем покивал головой. — Да, я хорошо тебя понимаю. Это должно выглядеть идиотизмом. — Тебе, вероятно, стыдно за меня, да?

— О!.. — Паркер сделал неопределенный жест рукой. — Я просто думаю, что ты зашел в тупик уже тогда, когда этот бедняга Джилберн, мечтая о том, чтобы самоубийство его любимой оказалось чем-то менее для него неприятным, пришел к тебе и подействовал на твое воображение всякими там дьяволами. Теперь то же самое воображение толкает тебя к абсурдным поступкам. Но я слишком хорошо тебя знаю и слишком высоко ценю твой ум, а потому уверен, что это не продлится долго. Я готов помочь и я — к твоим услугам... — Он улыбнулся, подошел к Алексу и положил руку на его плечо. — Не огорчайся. Все проходит... С другой стороны, я не понимаю, почему ты, имея перед собой ***стопроцентное*** самоубийство, хочешь навязать какому-то ни в чем не повинному человеку ответственность за него?

Но Джо, как бы не обращая внимания на его слова, вглядывался в маленькую зеленую муху, которая прогуливалась по темному пятну на письменном столе.

— Посмотри, Бен... — он указал пальцем. Муха, как бы угадывая, что жест касается ее взлета, сделала круг и снова села на то же место, откуда взлетела. — Дьявол Вельзевул был богом мух. Не он один. Киренейцы почитали Акарона, бога мух, а греки — Зевса ...

— Что? — спросил Паркер. — И что из этого?

— Да нет, ничего! — Алекс подошел к письменному столу. — Как ты смотришь на то, чтобы заглянуть в ящики письменного стола? Даже если принять гипотезу самоубийства, ты бы хотел, вероятно, в своем рапорте отметить предлагаемый мотив. Сэр Ирвинг Эклстоун не был рядовым серым человеком, смерть которого не заслуживает даже пары строк в газетах. Он был наследником огромного состояния, нашим крупнейшим знатоком дел Дьявола и Инквизиции, а кроме того, отцом нашей самой знаменитой спортсменки. Если добавить к этому обстоятельства, о которых пресса узнает раньше, чем мы себе воображаем, а также тот факт, что его сестра погибла месяц назад при столь же таинственных обстоятельствах, не говоря уже о том, что над этой семьей тяготеет проклятие, которое — о чудо! — сбылось в десятом поколении, можешь себе представить тот шум, который поднимется в прессе и обществе, когда новость о его смерти станет широко известной?! Хотя бы по этой причине я советую тебе быть очень внимательным и аккуратным...

— Да... — Паркер покивал головой. — Я уже думал об этом. Но в моей профессии это неизбежно. И в конце концов, полиция существует не для того, чтобы удерживать взрослых людей, живущих в деревне, от самоубийства... Однако думаю, что тут ты прав. Мы должны пробиться сквозь все дебри неясностей до конца. Уже сам факт того, что здесь совершилось два самоубийства в течение одного месяца, даст общественному мнению обширную почву для размышлений. Мне следует все об этом знать.

И не ожидая Алекса, он выдвинул верхний ящик стола. Они бегло просмотрели заметки и бумаги, которые не дали ничего интересного и касались исключительно библиографии. В другом ящике почти ничего не было, за исключением нескольких писем из-за границы. Паркер перелистал их. Джо открыл ящик с другой стороны стола. Он вынул из него завернутый в бумагу пакет, взвесил его в руке, потом открыл. Некоторое время он разглядывал его содержимое. Потом тихо свистнул.

— Что случилось? — Паркер бросил в ящик последнее письмо и повернулся к нему. — Что это?

Алекс осторожно, через платок взял первый из двух находящихся в пакете предметов. На первый взгляд они производили впечатление слегка отесанных кусков дерева, с какой-то резьбой в нижней части.

— Можешь передать их на дактилоскопию, — пробормотал Джо, — хотя могу поспорить, что на них не будет найдено никаких отпечатков пальцев... Они влажные... — прибавил он через секунду. Потом насупил брови и некоторое время стоял не двигаясь.

— Но что это такое? — Паркер склонился и непонимающим взглядом скользнул по деревяшкам.

— Если я не ошибаюсь, а видимо, не ошибаюсь, это и есть дьявольские копыта, оттиски которых вызвали такой переполох в доме...

— Ты хочешь сказать, что он сделал оттиски в гроте и на книге своей умершей сестры...

Паркер склонился над предметами с внезапным любопытством.

— Постой! — воскликнул он. — Я начинаю понимать!

— Что понимать? — Джо поднял взгляд, как бы внимательный, но на деле лишенный всякого выражения.

— Ты знаешь, что... — Паркер остановился, а затем быстро продолжал: — Это, конечно, только временная гипотеза... Я подумал, что этот человек, как-никак, слегка чокнутый демонолог... ведь все о нем так говорят, правда?... Мог... мог так проникнуться этим предсказанием, что сам... понимаешь?

— Ты хочешь сказать, что он убил свою сестру, а потом себя, чтобы привести в исполнение приговор, вынесенный его семье несколько веков назад? Я тоже подумал о такой вероятности...

— Правда? Ну, во всяком случае, это объяснило бы сразу оба этих дела. Ты абсолютно убежден, что Патриция Линч не совершила самоубийство?

— Абсолютно.

— А почему?

— Именно из-за этих копыт, — сказал Джо тихо. — Цианистый калий она могла привезти с собой, письма могла не оставить, дверь с грехом пополам могла закрыть и ключ положить на стол, но я не могу понять, как случилось, что на книге, взятой в тот же вечер у сэра Александра Джилберна, оказался утром оттиск дьявольского копыта. Она сама наверняка так бы не поступила. Прежде всего, в комнате не нашли никакого копыта. Во-вторых, психологически совершенно невозможно, чтобы женщина, находящаяся в депрессии по совершенно человеческой, бытовой причине, могла с заранее обдуманным намерением поставить оттиск дьявольского копыта на чужой книге, а затем вынести это копыто в такое место, где его никто не мог бы найти, а потом вернуться и совершить самоубийство. При этом лично для нее этот символ не имел никакого смысла. А если даже допустить, что существует нечто, о чем мы не имеем ни малейшего понятия, и символ этот имел для нее смысл, то как объяснить факт повторения таинственных явлений после ее смерти? Это означало бы, что Патриция Линч имела сообщника, который остался и действовал дальше. А это очевидный абсурд, потому что: 1) самоубийцы не имеют сообщников, 2) если даже один на миллион и имеет сообщника, то не могла его иметь женщина, которая приехала сюда спустя много лет, находилась в Норфорд Мэнор очень короткое время, и практически лишь один Джилберн был для нее близким человеком. А Джилберн, в свою очередь, не мог бы переворачивать портрет сэра Джона в Норфорд Мэнор. Таким образом, Патриция Линч могла совершить самоубийство, но без сопровождения дьявольских штучек, или могла быть убита, и тогда эти фокусы являются лишь частью общего плана, в котором ее смерть — только эпизод... Ты понимаешь?

— Понимаю. Но это не исключает того, что Ирвинг Эклстоун мог убить свою сестру, а потом совершить самоубийство, правда? И даже подтверждает это.

— Да. Этого нельзя исключить. Но сначала мы должны быть уверены, что Ирвинг Эклстоун ***совершил самоубийство***. Если же он его не совершил, то как его смерть, так и смерть его сестры относятся к плану какого-то третьего лица, которое я предлагаю условно назвать Дьяволом.

— Но ведь Ирвинг Эклстоун ***совершил*** самоубийство! — Паркер развел руками и покачал головой, как бы желая сказать, что перед человеком, который упорно не хочет признавать фактов, любая аргументация бессильна... — Должен ли я тебе повторять, что человек, который стреляет себе в голову, находясь в совершенно пустом доме, в запертой изнутри комнате, и делая это на глазах многочисленных свидетелей, из которых, по крайней мере, двое достойны всяческого доверия, не может быть убитым кем-то другим? Или ты действительно веришь в сверхъестественные силы? Джо, дружище, скажи, чего ты от меня хочешь?

Глава XIX

«А рядом с ней змея...»

— Чего я от тебя хочу? Не знаю. Если бы знал, мы могли бы через пять минут распрощаться с этим очаровательным уголком нашей страны и уехать в менее очаровательный Лондон, где мне, быть может, удалось бы закончить в срок эту кошмарную книжицу и улететь в Грецию... Но я уже перестал в это верить. Однако оставим мечты и давай попробуем все это привести в какой-то порядок.

— Я буду счастлив, — пробормотал Паркер. — Потому что, как только ты приведешь в порядок то, что собираешься, мы тотчас уедем. Так мне подсказывает интуиция...

Паркер вздохнул и сел в кресло напротив письменного стола, с явным отвращением разглядывая змею мужского рода, которая прогуливалась по дну террариума, время от времени прикасаясь головой к боковому стеклу, будто пыталась найти в этом хорошо знакомом ей окружении что-то новое.

Алекс выдвинул ящик стола, где еще раньше заметил чистую писчую бумагу, вынул один лист и положил перед собой.

— Прежде всего, я хочу выписать фамилии всех проживающих в этом доме лиц, а потом установить, где они находились в момент убийства...

— Зачем? — Паркер оторвал взгляд от змеи и с тоской посмотрел на друга. — Ведь ты сам можешь под присягой показать, что никто из них не убил Ирвинга Эклстоуна.

— О господи... — Джо вынул платок и отер пот со лба. — Ты обещал мне помочь. Так хотя бы не мешай сейчас...

— Но ведь... — Паркер умолк.

— Начнем с прислуги... — Алекс вынул перо: —

1. Джозеф Райс — лакей
2. Марта Коули — кухарка
3. Синди Роуленд — горничная

И садовник. Как же его фамилия?

Паркер посмотрел в свою записную книжку.

— Филд.

— Точно. 4. Садовник Филд. Кто дальше? Медицинский персонал, если можно так сказать. А именно:

5. Доктор Арчибальд Дюк
6. Агнес Стоун, медсестра.

Дальше идет семья:

1. Джоан Робинсон
2. Николас Робинсон
3. Томас Кемпт.

Можно сюда добавить еще сэра Александра Джилберна, которому дадим номер десятый. И на этом закончим наш список.

— Но ведь в расчет может входить и кто-то чужой? — заметил Паркер.

— Ты сам сказал, что в расчет не может входить никто... — Алекс невольно улыбнулся, но тут же стал серьезным. Он посмотрел в окно.

Над полосой поросших деревьями холмов по-прежнему раскинулось безоблачное вечереющее небо, но вдруг где-то далеко на нем возник и погас отблеск далекой молнии.

— Гроза... — Паркер глубоко вздохнул. — Наконец-то. Лишь бы только не прошла мимо... — Он подошел к террариуму, на дне которого непод-

вижно лежали змеи. — Даже эти создания потеряли все свои силы... — Он склонился над ними. — А это еще что такое?

Алекс оторвал взгляд от бумаги, на которой делал маленькие, ему одному понятные отметки рядом с фамилиями.

— Что случилось? Ты что-то нашел?

— Да. Это похоже на отмычку. А рядом с ней змея.

Джо подошел и посмотрел.

— Они не кусаются? — спросил заместитель начальника Департамента уголовного розыска Скотленд-Ярда с детской неуверенностью, которая Алексу, знающему его безграничную храбрость в борьбе с вооруженными людьми, показалась почти трогательной. — Надо это как-нибудь достать.

— Попробую, — Джо открыл дверцы клетки. Одна из змей подняла голову и зашипела.

— Осторожно! — сказал Паркер.

Алекс взял металлический предмет в руку, и тут змея нанесла удар. Ее голова молниеносно метнулась к ладони и ударилась о нее. Джо тряхнул рукой. Змея упала на дно. Она тихо зашипела и отклонилась назад для второго удара.

— Она тебя укусила! — Паркер быстро закрыл дверцу террариума. — Сейчас позвоню нашему доктору! — и двинулся к двери.

Алекс остановил его.

— Они не ядовитые. И к тому же она меня не укусила.

— Покажи...

На ребре ладони виднелось два небольших покраснения. Зубы, удары которых могли нести смерть лягушкам и ящерицам, не смогли пробить человеческую кожу.

— Ты слишком слаб — ведь ты всего лишь Дьявол.
Отбрось обличие людское и уйди,
Змеей пятнистой ползая на брюхе!
Моих заклятий сила правит даже адом,
Ты первый мощь их ощутишь! — тихо продекламировал Алекс.

Где-то над скалами снова сверкнула молния. Послышалось эхо далекого грома.

— О господи! — тряхнул головой Джо. — А ты знаешь, что в подлиннике сразу за этим текстом следует ремарка: «Гром и молния над скалами. Скала поглощает Дьявола».

— О чем это ты говоришь? — Паркер протянул руку, чтобы взять у Алекса предмет, вынутый из террариума.

— Это отрывок из пятого акта пьесы «Рождение Мерлина», частичное авторство которой приписывают Шекспиру.

— Что? — Паркер покачал головой, разглядывая предмет.

— Это часть...

— Я слышал, но что *это* такое?

— Вероятнее всего, ключ.

— Наверно. У него очень интересный узор на ободке, как бы предназначенный для старинного сложного замка. Но изготовлен недавно...

— Да. И если следовать твоей теории о том, что сумасшедший демонолог убил свою сестру, то ключ должен точно подходить только и исключительно к двери комнаты, в которой умерла Патриция Линч... — сказал Алекс тихо.

— Что? — Паркер быстро взглянул на него. — Я не подумал об этом...

— Может, проверим это сразу? — Джо взял ключ из руки друга, подошел к двери и попробовал вложить в сломанный замок. — Здесь точно не подходит...

Он вышел в коридор, по которому прохаживался полицейский в мундире, миновал его и приблизился к двери комнаты, которую Джилберн указал ему вчера.

— Если я хорошо запомнил расположение комнат, то, кажется, вот эта...

Джо остановился и подождал, пока Паркер поравняется с ним. Потом нажал ручку двери, открыл ее и заглянул в комнату. Ключ торчал в замке по ту сторону двери. Алекс вынул его и вложил в замочную скважину ключ, найденный в клетке. Замок легко и бесшумно сработал, закрывшись и открывшись.

— Действует! — Паркер попробовал сам, а потом положил ключ в карман. — Проклятая гроза! — пробормотал он. — Совсем забыл об отпечатках пальцев. Эта духота может самого Дьявола вывести из равновесия.

— Не думаю... — Джо вложил в замок ключ, который находился там раньше, потом медленно направился в сторону кабинета Ирвинга.

— Ну, уж теперь-то, я думаю, ты полностью убежден, — Паркер остановился посреди комнаты, — все настолько ясно, что не требует ни слова комментариев. Он убил ее, а потом себя. С детских лет этот человек находился под впечатлением всяких историй о Дьяволе. Потом это перешло в тихое безумие. У этих спокойных пожилых джентльменов иногда бывают странные увлечения. Такого рода увлечение и свело его с ума. Впрочем, ***ничего другого и не могло случиться***. Никто не мог его убить, а в его комнате найдено доказательство, указывающее на то, что он сам был убийцей.

— Вот именно... — сказал Джо очень тихо. — Вот именно.

— Не понимаю! — Паркер подошел и положил руку ему на плечо. — Я действительно перестаю тебя понимать, Джо. Пожалуй, впервые в жизни я перестаю тебя понимать, причем настолько, что не знаю, как с тобой разговаривать. Подумай! — он невольно повысил голос. — Ты отдаешь себе отчет, в какой смешной ситуации мы сейчас находимся? У нас есть все доказательства самоубийства, абсолютное доказательство убийства, совершенного безумцем, у нас есть мотив его действий, и мы со стопроцентной уверенностью знаем, что этот человек ***должен был*** отнять у себя жизнь. Что тебе еще нужно?

— Во-первых, чтобы ты перестал на меня кричать. А во-вторых, — он умолк на секунду, — в твоих рассуждениях есть один небольшой изъян.

— Изъян? — возмутился Паркер. — Не шути со мной!

— Прежде всего, — Джо выпрямился, — я хотел бы обратить твое внимание на то, что именно я сразу сказал, к какой двери подойдет этот ключ. Во-вторых, — и это самое главное, — если мы примем гипотезу, что Ирвинг Эклстоун был безумцем, то зачем он оставил столь явные и убедительные улики, указывающие на него как на убийцу собственной сестры? Безумец (насколько я понимаю мотивы поведения такого склада ума) старался бы показать всем, что проклятие, действующее в десятом поколении, исполнено не им, а Дьяволом. Поэтому я не очень понимаю, зачем он так ясно дает понять, что именно он, а не Дьявол, убил Патрицию Линч? Ведь в первом случае найден оттиск дьявольского копыта, найдены следы в Гроте, а портрет сэра Джона повернулся лицом к стене. Сэр Джон действительно является лицом, которому проклятие было брошено, и поворот лицом к стене его портрета без отпечатков пальцев на раме — весьма эффектное событие, демонстрирующее действие сверхъестественных сил так же, впрочем, как и остальные необыкновенные и сверхъестественные явления, о которых я уже говорил. Но тогда возникает вопрос: почему Ирвинг Эклстоун действует столь непоследовательно? Он ведь мог легко

спрятать в совершенно недоступном месте и этот ключ-отмычку, которым, как ты предполагаешь, он запер дверь комнаты Патриции Линч, положив ее собственный ключ на стол после совершения убийства, и эти деревянные обрубки с дьявольскими копытами. Но он не сделал этого, уничтожая раз и навсегда весь эффект, достигнутый им в результате предыдущих хитроумных, хотя и несколько театральных действий. Все это вместе взятое как-то не вяжется, правда?

— Я полагаю, ты не требуешь, чтобы я ожидал от безумца полной последовательности его действий, Джо? — Паркер развел руками. — Я не психиатр. Но я думаю, что даже десятилетний ребенок, если представить ему: а) факт, что Ирвинга Эклстоуна никто не мог убить и б) факт, что он держал все эти приспособления при себе, — должен был бы сделать только один вывод.

— Знаю... — Алекс кивнул головой. — К сожалению, я не десятилетний ребенок и не хочу верить тому, что вижу, а хочу увиденное понять. Ты уж не сердись на меня за это.

Паркер упал в кресло.

— Я ни за что на тебя не сержусь. То, что в этом сумасшедшем доме ты ведешь себя, как безумец, тоже меня не удивляет. Ничего меня не удивляет. Но я сыт всем этим по горло. Ты просил меня во имя дружбы, чтобы и я вместе с тобой вел себя, как безумец. Ты — мой друг, и настал день, когда ты решил испытать мою дружбу. Хорошо. Я буду с тобой до последней секунды, если даже с завтрашнего дня все мои подчиненные будут громко хохотать при моем появлении. Делай что хочешь. Я и весь мой полицейский аппарат — в твоем распоряжении. Но очерти какие-нибудь границы этого абсурда, а когда ты поймешь, что действуешь вопреки законам элементарной логики, тогда сдайся, как честный, побежденный в честном бою солдат, хорошо?

Джо не ответил. Он смотрел в окно. Наступали сумерки. На линии высокого горизонта, разорванного верхушками деревьев и высоким пиком скалы, выросла темная туча, первый предвестник наступающей грозы. Далекий гром глухо перекатился и утих. Алекс повернулся и подошел к Паркеру. Он остановился перед ним и, положив руки на подлокотник кресла, в котором сидел его друг, наклонился к нему. Паркер увидел вблизи его худое бледное лицо, с которого ни на секунду не сходило выражение болезненного усилия. Короткие, почти рыжие волосы слегка шевельнулись, когда сквозь окно в комнату проникло первое парное дуновение грозового ветра.

— Знакомо ли тебе, Бен, такое странное чувство, которое интуитивно твердит тебе: «здесь что-то не в порядке»?

Он говорил очень серьезно и тихо, почти шепотом. Паркер кивнул головой.

— Ты имеешь в виду некую неопределенную мысль, которую нельзя ухватить, и в то же время кажется, что ее можно каким-то образом конкретизировать, только неизвестно, каким именно?

— Да. Я думаю об ощущении, что я нечто увидел, заметил, но это нечто в тот момент не сформировалось в моем сознании, а спряталось где-то в глубине и не дает покоя. Мне все время кажется, что это нечто припомнится, картинка сразу сложится целиком, и тогда я внезапно в одну секунду все пойму. А потом это ощущение вновь исчезает, и я опять беспомощен. Но это пройдет, Бен. Я знаю, что это пройдет. Я даже знаю, ***когда*** это ощущение у меня возникло! Это было два раза.

— И ты никак не можешь сформулировать его?

— Нет. Кроме того, что я наверняка знаю...

— Что знаешь? — Паркер невольно наклонился вперед.

— ...знаю, что в обоих случаях это ощущение не имело ***ничего общего с Ирвингом Эклстоуном.***

Глава XX

Лакей — кухарка — горничная — где садовник?

Паркер встал и начал прохаживаться по комнате. Затем остановился.

— Джо, — сказал он почти ласково, — если причина твоего беспокойства кроется лишь в этом, то это тебя полностью оправдывает. Но ничто не может оправдать меня в этой абсурдной ситуации. Ведь мы оба знаем, что...

— Да, да, конечно. Мы знаем, что никто не мог его убить, что мы обнаружили доказательства, объясняющие смерть его сестры, что... одним словом, что я безумец. Но позволь мне действовать... еще немного.

— Ну ладно, хорошо! Действуй сколько хочешь. В конце концов, в противоположность покойному Эклстоуну, твое безумие имеет хоть какую-то логику. Ну и потом — это ведь ты открыл этот ключ в террариуме...

— Теодорос из Самоса... — пробормотал Джо, склонившись над листком с записями.

— Какой Теодорос? А это еще кто? О чем ты вообще говоришь?

— Я говорю — Теодорос из Самоса открыл, точнее, изобрел ключ. Приблизительно в пятисотом году до рождества Христова... Джозеф Райс, лакей...

— Что?

— Я думаю, что надо попытаться допросить этих людей... у меня есть к ним несколько вопросов, Бен, если ты не имеешь ничего против.

— О, конечно нет... Чем скорее ты их допросишь, тем скорее мы уедем отсюда. Я надеюсь, что успеем выехать еще до грозы.

— Я хотел бы начать с прислуги. Точнее говоря, с Джозефа Райса, лакея мужа леди Элизабет, который живет здесь как бы на пенсии.

Паркер подошел к двери и тихо отдал распоряжение дежурившему в холле полицейскому.

Некоторое время они ожидали молча. Паркер просматривал разложенные на столе письма. Раздался тихий стук в дверь. Джо сказал: «Войдите!», выломанная дверь громко скрипнула, и в комнату осторожно вошел широкоплечий старик высокого роста с гордо поднятой головой. Густая сеть морщин на его лице, потемневшем от многолетнего загара под тропическим солнцем, указывала на его возраст. Он остановился у двери и чуть склонил голову, приветствуя присутствующих. Джо заметил, что старик невольно взглянул на письменный стол, но тотчас отвел глаза.

— Садитесь, пожалуйста, — Алекс указал ему на свободный стул возле книжного шкафа.

Старый слуга заколебался, но потом медленно подошел к стулу и присел на краешек.

— Скажите нам, пожалуйста, — быстро спросил Джо без каких-либо вступлений, — где мистер Ирвинг Эклстоун хранил свой пистолет?

Старик вздрогнул и поднял голову.

— Пистолет?.. — переспросил он, как бы не понимая, но тут же ответил: — Пистолет всегда находился в спальне. Мистер Ирвинг держал его в ящике ночного столика.

Джо поднял брови.

— Неужели он чего-нибудь опасался? В таком доме, как Норфорд Мэнор, где все окна закрыты решетками, а ночью никто не может войти, и где, как-никак, всегда находятся несколько взрослых мужчин, такого рода средство безопасности кажется странным... Вас это никогда не удивляло?

— О, нет, сэр... — тень улыбки промелькнула по лицу слуги и тут же исчезла. — Мистер Ирвинг, как я думаю, не хотел расставаться с пистолетом, потому что им гордился.

— Гордился?

— Да, сэр. Мистер Ирвинг очень плохо видел. Уже с ранних лет он носил очки, а потом, когда прочел столько книг и так много писал при электрическом освещении, его глаза еще больше испортились. Когда началась война, он хотел, как все, поступить в армию, но его не приняли как раз из-за слабого зрения. Зато его назначили офицером территориальной обороны в нашей местности, и тогда он купил пистолет. После войны он сохранил его... Мистер Ирвинг всегда гордился своей службой в территориальной обороне. Если вы заглянете в спальню, то увидите большую фотографию мистера Ирвинга в мундире. Он сам всегда чистил и смазывал этот пистолет. — Старый слуга вдруг умолк. Потом посмотрел на Алекса. — Это из него, если можно спросить, мистер Ирвинг застрелился?

— Да, — Джо кивнул головой. — Этот ящик ночного столика, конечно, не закрывался?

— Нет, сэр. Детей в доме нет, а в спальню кроме мистера Ирвинга входили лишь горничная Синди Роуленд и я. Впрочем, у ночных столиков нет запирающихся замков.

— Теперь я хочу спросить вас о другом. Вы работаете в семье Эклстоунов уже много лет, не так ли?

— Свыше пятидесяти, сэр. Но двадцать из них я провел в Малайзии со старшим хозяином.

— А родом вы отсюда?

— Да, сэр, из деревни Норфорд, как и вся прислуга.

— Не слышали ли вы когда-нибудь о каком-либо тайном ходе, коридоре или подвале, словом, о каком-то никому не известном сообщении между домом и внешним миром? В средние века здесь находился небольшой укрепленный замок, и наверно, должен был существовать путь для бегства или для доставки продовольствия на случай осады.

— Нет, сэр. То есть, да. В скале внизу вырублен вход в какой-то коридор, который идет наверх. Но, как видно, во время строительства этого дома коридор засыпали, потому что я был там несколько раз и добирался только до груды развалин и щебня. Со стороны дома этот ход начинался от котельной в подвале. Но он завален камнями и замурован. Еще в те времена, когда тут был замок…

Паркер тихо встал, вышел в коридор и что-то сказал дежурному полицейскому. Потом просунул голову в дверь и показал жестом, что уходит.

— А где вы находились в тот момент, когда произошел этот трагический случай?

— Из того, что мне известно об этом случае, — то я в это время был в Блю Медоуз, в трактире «Под Уткой и Львом». Я беседовал там за кружкой пива с парочкой знакомых с давних времен, с теми немногими, кто еще жив, потому что мне семьдесят пять лет, сэр, а в этом возрасте у человека остается уже мало знакомых со времен молодости... Так вот, я с ними разговаривал, а потом приехал полицейский автомобиль и забрал всех слуг из Норфорд Мэнор, то есть, Марту Коули, нашу кухарку, и меня, потому что ни Синди, ни садовника Филда не нашли. Ну, я и приехал на этом автомобиле сюда, сэр.

Джо встал с кресла, и старый слуга поднялся почти одновременно с ним.

— Большое спасибо, мистер Райс... Ага, еще одно. — Он подошел к столу и приподнял платок, который прикрывал обе деревяшки, найденные в столе Ирвинга. — Вы видели когда-нибудь эти предметы?

Старик подошел, вынул из кармана футляр, а из него очки в тонкой серебряной оправе, надел их и низко наклонился.

— Только не прикасайтесь к ним... — Джо сделал предупредительное движение рукой. Но Райс тут же выпрямился.

— Нет, сэр. Похоже, будто кто-то обработал два куска березового дерева и вырезал на них какие-то узоры... Нет я не видел у нас ничего похожего.

— А мистер Ирвинг или кто-нибудь другой из домочадцев занимался когда-нибудь мелкими столярными работами в доме?

— Нет, сэр, пожалуй, никто... Разве что Филд? Я иногда вижу, как он что-то строгает возле цветов, какие-то колышки, деревянные решетки... Но для всех столярных работ мы привлекаем Брэдли, столяра из Норфорда.

— Так... — Джо склонил голову. В эту минуту вошел Паркер.

Алекс подошел к нему и вернулся к старому слуге. — Вы видели когда-нибудь этот предмет?

Выцветшие глаза посмотрели на странный блестящий ключ.

— Нет, сэр. Никогда.

— Это все. Спасибо большое.

Когда дверь за Райсом закрылась, Паркер сказал:

— Он прав. Тот средневековый ход замурован, и не только замурован, но и перекрыт котлом центрального отопления. Стена не дает никакого отзвука. Очевидно, и здесь часть коридора засыпана и завалена камнями. Что теперь? Ты хочешь еще кого-нибудь допросить?

— Конечно. Я должен, Бен. Сейчас я хотел бы поговорить с Мартой Коули, кухаркой.

— Если должен... — заместитель начальника Департамента уголовного розыска пожал плечами, но сразу овладел собой. Уж слишком он любил Алекса, чтобы не понимать, чего ему стоит в эту минуту бессмысленная борьба с логикой и непреодолимыми аргументами, которые подсовывала действительность.

Марта Коули оказалась полной женщиной неопределенного возраста, между сорока и шестьюдесятью годами. Это была особа со взрывным, динамичным характером, что выяснилось после первого же вопроса.

— Где я была? В Блю Медоуз! Это все могут подтвердить. Слава Богу, я живу здесь со дня рождения и никогда не имела никаких дел с полицией! И я не знаю, за что меня так осрамили! Приехали за нами на полицейской машине — за стариком Райсом и за мной — и забрали нас среди бела дня, как каких-то воришек, а ведь там полно людей, и при этом все знакомые! Я теперь никогда уже не смогу показаться людям на глаза! И все потому, что бедный мистер Ирвинг покончил самоубийством... Все постоянно говорили, что над ними висит проклятие и когда-нибудь оно исполнится... Но кто просил полицию забирать нас и почему? Ведь полиция для того, чтобы ловить воров, а не порядочных женщин, которые в своей жизни даже пенса не украли, хотя легко могли бы, потому что мне здесь доверяют, как родственнице, и все покупки я сама делаю и плачу поставщикам, да, сэр!

Она умолкла так же внезапно, как и начала говорить, и посмотрела на мужчин глазами, говорящими о ее готовности произнести десять слов в ответ на одно и что она никому не позволит сказать последнее слово, даже если ее повесят, как тех четырнадцать женщин из ее деревни много столетий назад.

— Мы должны были это сделать... — Джо спокойно покивал головой. — И вы, и мистер Райс живете здесь издавна и наверняка знаете больше всех посторонних об этой семье и ее обычаях... Но не о семейных делах Эклстоунов мы хотим с вами говорить... — прибавил он быстро, заметив жест протеста. — Я хотел спросить вас о другом. Человек, который так же хорошо знает этот дом, как вы, и который, безусловно, является наблюдательным и сумеет заметить всякое необычное явление, мог бы, возможно, сказать нам, не случилось ли здесь в течение последних часов, а может быть, дней, что-нибудь такое, что вызвало ваш интерес или, скажем, что-то такое, что вы посчитали необычным?

Джо произносил эти слова легко, без нажима, но одновременно внимательно смотрел на ее круглое лицо, и внезапная перемена, которую он заметил, заставила его встать и подойти к сидящей на стуле женщине совсем близко.

— Прошу вас не забывать, что мы здесь ведем расследование по делу о смерти вашего хозяина, и каждая, даже мельчайшая деталь может иметь значение.

— Но ведь... — голос Марты Коули потерял свое воинственное звучание. — ... Этот бедняга, то есть, я хочу сказать — мистер Ирвинг, он ведь сам себя убил, верно? Все говорят, что сам, сэр.

— Сам себя убил или не сам, но обязанностью каждого честного человека является помощь полиции в этом расследовании, правда? Раз мы ведем следствие, то, очевидно, еще не знаем всего наверняка и хотим установить некоторые факты. — Он умолк и тут же услышал за своей спиной тяжелый вздох Паркера.

Марта Коули сидела неподвижно и молчала. Но ее короткие, толстые пальцы нервно теребили край белого фартука. Вдруг она подняла голову.

— Я не хотела говорить об этом, сэр, потому что это меня не касается. Даже если девушка немного свихнутая, то ведь это ее дело, верно? К тому же я с детских лет знаю ее родителей, и мне бы не хотелось нанести комунибудь вред своей болтовней...

Она снова умолкла.

— Расскажите нам все. — Джо наклонил голову. — Полиция не сплетничает и уж точно не обидит невиновного. В этом вы можете быть уверены.

Кухарка кивнула.

— Ну, я так и подумала. Но все же лучше не говорить чужим всего, что знаешь. Разве что мистер Ирвинг умер... Ну, вообще-то, ничего такого я вам не скажу… Просто ночью стояла жара, а у меня слабое сердце, ну не то чтобы я болела, но я всю жизнь толкусь у огня, а стало так душно, что нечем дышать, и я не могла уснуть. А потом сердце начало сильно стучать, и я испугалась... Я лежала и думала, что, наверно, умру, если что-нибудь не сделать, потому что пот лил с меня ручьем. Тогда я встала и подошла к двери и подумала, что разбужу Синди, которая спит в соседней комнате. Я боялась, что могу умереть и у меня даже не хватит сил, чтобы крикнуть. А ведь у нас в доме есть доктор, и она бы легко сбегала и разбудила его. Так вот, значит, я вошла к ней, повернула выключатель... и увидела, что никого нет!

— А кровать была застелена? — быстро спросил Джо, помня о вечерней прогулке в Грот.

— Нет. Покрывало снято, и видно, что она спала в кровати. Я подошла, даже подушка была еще теплая... Я подумала, что она на минутку пошла в ванную и сейчас вернется, и я присела на край кровати и стала ждать. Но она не возвращалась. Сидела там я, наверно, с полчаса и даже забыла о своем

недомогании... Я даже подумала, что, может, ей стало плохо, и пошла заглянула в нашу ванную комнату для слуг, но там ее тоже не было. Я начала прислушиваться и заглянула на кухню, потом в кладовую, но ее нигде не было. Тогда я проверила ход для слуг, потому что уже не знала, что и думать, но и та дверь была заперта, как всегда. Тогда я вернулась к себе и легла, а потом, наверно, как-то уснула. А утром, когда я встала, она была уже на ногах и сказала, что ходила на верхний этаж, потому что подумала, будто кто-то возится во дворе у входной двери — так ей якобы показалось. Но как ей это могло показаться, если окна ее комнаты, так же как и мои, находятся прямо с противоположной стороны и выходят на скалы?.. И что она там так долго делала? Но я не тогда подумала об этом, а утром, когда узнала, что портрет снова перевернулся, сразу все вспомнила, что ее не было у себя в комнате ночью, потому что эта Синди немного чокнутая, особенно если с ней заговорить о чертях. Вот... А больше я ничего не знаю, сэр.

— Так... — впервые отозвался Паркер. — А который мог быть тогда час?

— Было два часа, а потом полтретьего, потому что, помню, я два раза смотрела на мой будильник возле кровати, сэр, первый раз, когда выходила, а второй раз, когда вернулась.

Паркер хотел еще что-то сказать, но Джо неожиданно встал и, показывая Марте Коули ключ, а потом деревяшки, обратился к ней с тем же вопросом, с которым обращался к старому Райсу.

— Нет, я никогда их не видела, сэр... — ответила кухарка без колебаний.

Алекс поблагодарил ее и отпустил прежде, чем его друг заговорил.

— Не понимаю, — Паркер поднял брови, — наконец-то ты получаешь какой-то смутный пункт зацепки, хотя, правду говоря, не знаю, за что тут цепляться, но тут же отбрасываешь его, не задавая никаких дополнительных вопросов и не пытаясь свести этих женщин на очную ставку.

Алекс медленно повернулся к нему. Выражение драматического напряжения, которое отражалось на его лице с момента взлома двери после смерти Ирвинга Эклстоуна, вдруг исчезло, уступая место выражению легкой растерянности, которое Паркер так хорошо знал и которое никак не ожидал увидеть сейчас на лице друга.

— Что случилось?

— О, ничего, — Алекс махнул рукой. — Так, вспомнил кое-что, Бен.

— Что ты вспомнил?

— Я уже говорил тебе об этом. У меня сегодня дважды возникало чувство, будто ***что-то не так***. Теперь я понял, в чем дело. Мне только хочется точно узнать, почему все происходило именно так, а не иначе... — Он повернулся в сторону письменного стола и некоторое время смотрел на него. Потом перевел взгляд на изумленное лицо Паркера. — Я думаю, что надо допросить Синди Роуленд. Как ты считаешь?

— Боюсь, ты и в самом деле свихнулся, — сказал Паркер серьезно.

— О нет... — голос Алекса зазвучал иначе. — Я не свихнулся, Бен. — Он замолчал, потом покачал головой. — Хотя не знаю, может, ты и прав... Потому что либо я сошел с ума, либо...

— Либо?

— Попроси сюда мисс Роуленд, а потом подумаем, как меня лечить. Я ведь не слишком буйно себя веду, правда? Наверно, это такое легкое, тихое помешательство. Наверно, просто я слишком долго занимаюсь делами о насильственной смерти. Мне полагается отпуск, Бен.

— Я в этом абсолютно уверен, — сказал Паркер и подошел к двери, чтобы отдать распоряжение дежурному полицейскому.

Но Синди Роуленд оказалась трудной собеседницей.

— Нет, сэр, я ничего об этом не знаю, чтобы я не спала у себя в комнате... — сказала она спокойно, хотя ее лицо при этих словах покрылось густым румянцем. — Я выходила только, чтобы проверить, не шатается ли кто-нибудь перед домом, потому что мне показалось, будто я что-то слышу...

— Но ведь ваша комната расположена со стороны скал, в противоположном конце дома.

— Ночью все очень хорошо слышно, сэр. Иногда, когда собаку еще не отравили, я слышала ее через весь коридор, когда она бегала по ту сторону дома. Я пошла наверх в холл, а потом, когда подошла к двери и ничего не услышала, остановилась у окна и смотрела на луну. Ночью стояла очень большая луна, сэр, и видно было всю долину... А потом я возвратилась к себе и уснула. Я не знала, что Марта заходила ко мне, сэр. Я бы, конечно, сейчас же пошла к ней, чтобы помочь, раз она плохо себя чувствовала.

Синди говорила с подчеркнутой уверенностью, и мужчины заметили это. Но Джо не задал ей никакого вопроса по этому поводу. Когда так же, как и ее предшественники, она отрицательно ответила на вопросы о ключе и деревяшках, он указал на террариум со змеями.

— Вы заботитесь об этих созданиях, правда?

— Да, сэр. И я как раз хотела попросить вас, не могу ли я принести им лягушек, сэр, потому что они всегда едят после захода солнца. Мистер Ирвинг велел их так кормить.

— Может, немного позже... — Алекс кивнул головой. — Мы скоро уйдем отсюда, и вы сможете привести комнату в порядок. Я хотел только спросить: часто ли вы убираете террариум?

— Два раза в неделю, сэр. Я меняю песок и воду.

— А когда вы убирали в последний раз?

— Сегодня утром, сэр. Перед самым уходом в Блю Медоуз.

— А вы были в Блю Медоуз?

Лицо Синди Роуленд опять покраснело, и пожалуй, даже больше, чем в первый раз.

— Я подумала, сэр… было слишком жарко, чтобы находиться там весь день в толпе, и я пошла в лес... а потом уснула.

— Это точно? — Джо пристально посмотрел на нее.

— Да, сэр.

Она сжала губы и посмотрела ему прямо в глаза. И хотя Алекс и Паркер видели, что она лжет, Джо не стал припирать ее к стенке, а когда она ответила отрицательно на показанные ей ключ и деревяшки, отпустил ее, и они остались вдвоем.

Почти одновременно в дверях показалось симпатичное, круглое лицо сержанта Джонса, одетого в безукоризненный костюм из серого твида, являющийся, очевидно, результатом строгой экономии в рамках скромного бюджета полицейского.

— Мы нашли садовника в лесу, сэр. Он так напился, что не ощутил бы вскрытия собственного тела. Что с ним делать? Он сейчас в своем домике и лежит на кровати, а Томсон сидит возле него.

— Привести в чувство, — резко сказал Паркер. — А когда будет в состоянии разговаривать, мы, возможно, с ним побеседуем.

— Слушаюсь, сэр, — Джонс исчез.

— Слуги этого дома проявляют большую склонность к продолжительному пребыванию в лесу... — пробормотал Алекс. — Меня интересует, не отдыхал ли сегодня с ними еще кто-нибудь?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Не знаю, — искренне сказал Джо. — Но, по крайней мере, знаю, что чего-то не знаю на определенную тему!

— Эта девушка лгала как по нотам... — Паркер вздохнул. — Но ведь это ее дело, где она была. Может лгать. По сути дела, я даже не имею права ее допрашивать, хотя она не знает об этом. Она ни в чем не подозревается. Она не могла ни убить Ирвинга Эклстоуна, ни даже помогать в убийстве Ирвинга Эклстоуна, и не может знать ничего интересного о смерти Ирвинга Эклстоуна. Никто не мог убить Ирвинга Эклстоуна. Ирвинг Эклстоун несомненно покончил жизнь самоубийством.

— Аминь, — Джо склонил голову. — Все это мы знали с самого начала.

— И столько же будем знать в конце, потому что никто ничего не добавит к этому самому убедительному из фактов. Что ты намерен делать сейчас?

— Теперь я хотел бы допросить Агнес Стоун и доктора Арчибальда Дюка, если позволишь...

— Пожалуйста, пожалуйста, ни в чем себе не отказывай... — Паркер подошел к двери и остановился. — Но, быть может, в конце концов, ты будешь так любезен, что скажешь мне, о чем ты вспомнил и что тебя так беспокоило в течение нескольких часов?

Алекс улыбнулся своей обычной вежливой, несколько рассеянной улыбкой.

— Я боюсь, что это наблюдение слишком незначительно и касается сущего пустяка... Ты можешь подождать еще полчаса? Если через полчаса я не скажу тебе, о чем думал, соберем пожитки и уедем, а тогда ты узнаешь обо всем в машине, во время поездки вместе с твоим окончательно сломленным другом, согласен?

— Согласен, — Паркер кивнул головой. — Пусть будет даже час. Но мне уже хочется уехать отсюда. Очень уж это скверное дело — вести следствие в условиях, когда правда известна заранее, а факт, что допрашиваемые лгут или нет, не имеет никакого значения.

— Хм... — Джо спокойно посмотрел на него. — Об этом мы узнаем через полчаса... А может, даже раньше. Однако, пригласи, пожалуйста медсестру Агнес Стоун, ладно?

— Я буду счастлив оказать тебе эту маленькую услугу, — сказал Паркер с мрачной улыбкой.

Глава XXI

Медсестра — врач

В тот момент, когда Агнес Стоун вошла в комнату, за скалами сверкнула молния, грянул гром и первые капли дождя затрепетали на оконных стеклах. Паркер быстро повернулся, чтобы закрыть окно, и одновременно подумал, что будь мисс Стоун убийцей, трудно было бы представить себе более эффектное появление на сцене событий.

Агнес по-прежнему была одета в фартук безукоризненной белизны, а белая шапочка закреплена на огненно-рыжих волосах с легким женским кокетством.

«Вполне симпатичная девушка, — подумал Алекс, — но слишком уж опрятная, будто эта опрятность не обычная человеческая черта, а сам человек является придатком, нужным лишь для того, чтобы эта чистота могла себя продемонстрировать».

Все движения медсестры тоже быть ограничены до необходимости. Она спокойно остановилась у входа, слегка кивнув головой, и стояла неподвижно, пока Джо широким жестом не пригласил ее сесть. Она даже не взглянула в сторону стола, за которым недавно разыгралась трагедия, а просто прошла мимо и села, прямая и стройная, с ногами, идеально соединенными в коленях и ступнях.

— Мисс Агнес Стоун, не так ли? — спросил Джо с улыбкой. — Я имел удовольствие быть представленным вам, если память мне не изменяет?

— Да, сэр, — она еще раз кивнула.

— Вы выступали в качестве свидетеля при подписании завещания леди Эклстоун, не так ли?

Джо задал вопрос очень непринужденно, но, как видно, он оказался настолько неожиданным, что Агнес подняла голову и посмотрела на него с легким удивлением, которое тотчас исчезло.

— Да, сэр.

— Вы говорили кому-нибудь об этом?

— Нет, сэр. Я дала обещание соблюдать тайну.

— Вы совершенно в этом уверены?

— Да, сэр.

— Даже дома, во время отпуска в разговоре с семьей?

— У меня нет семьи, сэр. Я поступила в школу медсестер из сиротского дома для подкидышей.

И снова полное отсутствие интонации, будто сиротский дом для подкидышей или полное отсутствие родственников относятся к самым незначительным и не заслуживающим внимания эпизодам ее жизни.

— Понимаю, — кивнул Джо. — Значит, вы с полной уверенностью утверждаете, что никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушили даже малейшей части тайны завещания?

— Да, сэр.

— Не могли бы вы коротко рассказать все, что вы делали… ну, скажем, с момента окончания ланча?

— Да, сэр. Сразу после завтрака я измерила давление и температуру больной. Все было в норме, и я немного почитала ей, как обычно это делаю. Солнце сильно пекло, и я задержала больную в комнате, а позже, когда солнце немного опустилось, вывезла ее на террасу. Еще раньше я приготовила томатный сок, но оставила его в комнате, и теперь взглянула на часы и увидела, что пора его подавать. Тогда я вошла в комнату и тут же услышала выстрел наверху. А поскольку перед этим я видела издали группу людей в главной аллее, я выбежала и крикнула... А дальше вы уже знаете, правда?

— Да. А в котором часу мистер Кемпт отправился в бассейн?

— Мне трудно сказать точно, сэр, я, конечно, не смотрела на часы, когда он проходил. Но я заметила его, потому что он вышел в халате и, проходя мимо, что-то сказал мне. Я не помню точно слов, но вроде того, что, мол, страшная жара, а я ответила, что, мол, да, очень жарко и, вероятно, будет гроза. Потом мистер Кемпт направился через газон к бассейну. Это было примерно за четверть часа перед выстрелом, а может, чуть меньше. Я не могу определить точно, сэр.

— А немного позже или сразу перед выстрелом вы никого не видели в доме или в саду?

— Видела, сэр. Через несколько минут после того, как мистер Кемпт двинулся в сторону бассейна, на террасу вышел мистер Эклстоун, то есть мистер Ирвинг Эклстоун.

— Да?! — Паркер подошел к ней. — Ну-ка, ну-ка, расскажите подробнее, как он выглядел и что сказал, если говорил.

— Выглядел он как обычно, сэр... то есть, я хочу сказать, что не заметила в нем ничего особенного. Он вышел на террасу и спросил меня, не вернулась ли Джоан. Он сказал, кажется, так: «Агнес, вы не видели здесь моей дочери?» А я ответила, что не видела и что в доме никого нет. Тогда он кивнул головой, а потом подошел к креслу, наклонился к старой леди и, кажется, сказал: «моя любимая», но я не могла бы присягнуть, точно ли так он сказал, потому что говорил он тогда очень тихо. Потом выпрямился и вернулся в дом.

— Не показалось ли вам это странным?

— Нет, сэр. Мистер Ирвинг вообще вел себя несколько иначе, чем другие люди в его возрасте и в его положении, если можно так сказать. У него было очень неровное поведение. Иногда он приходил в комнату старой леди, садился напротив нее и пытался с ней разговаривать или гладил ее по руке, а иногда проходила неделя или две, а он, казалось, ее вовсе не замечает. Так что я никак не могла предвидеть... Если бы могла...

Она развела руками коротким сдержанным движением, которое, по-видимому, должно было означать, что тогда она сделала бы все, что было в ее силах, чтобы предотвратить это бессмысленное, с точки зрения ее рациональной психики, самоубийство.

— Сколько вам лет? — Джо закурил и улыбнулся ей.

Агнес не ответила улыбкой.

— Двадцать восемь, сэр.

— Это ваша первая работа, да?

— Да, сэр. Я пришла сюда прямо из школы медсестер.

— А как вы намерены устроить свою судьбу после... скажем прямо, после смерти леди Эклстоун?

— Леди Эклстоун чувствует себя в настоящее время очень хорошо, сэр, насколько это возможно при ее болезни.

— Разумеется. Но я имею в виду, что вы на полвека моложе ее и эта должность не будет вечной. Есть ли у вас какие-нибудь жизненные планы?

— Да, сэр. Работая здесь, я накопила немного денег. Мои планы, как у любой женщины: я хотела бы выйти замуж и иметь детей.

— А... вы любите кого-нибудь?

Агнес внезапно покраснела.

— Это, наверно, не относится к делу, не правда ли, сэр?

— О, мы стараемся узнать как можно больше обо всех вас. Полиция — это ведь не личные знакомые. Нам можно смело отвечать на все наши вопросы.

— Да, сэр. Я понимаю, сэр. Нет, я еще не люблю никого, но я, конечно, очень бы хотела полюбить, потому что никто ведь не хочет прожить жизнь одиноко. У меня нет ни родителей, ни родных, и поэтому тем более, сэр, я хотела бы иметь в жизни свой угол и своих близких.

— Я вас прекрасно понимаю. Расскажите мне во всех деталях, что вы делали после того, как я вбежал на террасу. Я имею в виду, когда я вбежал на лестницу. Мне кажется, что вы не поднимались наверх вместе с нами, правда?

— Нет, сэр. Когда миссис Джоан, вы, мистер Николас и мистер Кемпт пробежали мимо, я вбежала за вами в холл, но потом остановилась, потому что подумала: если кто-то стреляет в доме, то, может, все еще существует какая-нибудь опасность, а я отвечаю за старую леди, которая ведь не может двигаться. Тогда я вернулась на террасу и встала рядом с ней. Тут сэр Александр Джилберн тоже поднялся на террасу, а полицейский крикнул мне, чтобы я выкатила коляску со старой леди за домик садовника. Я так и сде-

лала и оставалась там до тех пор, пока не приехали полицейские машины и уже можно было вернуться домой.

Алекс показал ей ключ и деревяшки. Агнес Стоун дважды отрицательно покачала головой. Нет, она никогда их не видела. Паркер проводил ее к двери и вернулся. На его лице отразилось огорчение.

— Ну и чего ты добиваешься, Джо? Ведь, честно говоря, нет никакого смысла допрашивать их всех. Ну какой может быть толк от допроса этой медсестры, которая все время была на террасе, вошла на несколько секунд в комнату на нижнем этаже и тут же выбежала, услышав выстрел, что ты и сам, впрочем, хорошо видел? Ведь она никак не могла вбежать наверх, убить Эклстоуна, вложить ему в руку пистолет, предварительно вытерев свои отпечатки пальцев, положить ключ от его комнаты на письменный стол, заперев дверь другим ключом, сбежать вниз, спрятать этот ключ, выбежать на террасу и крикнуть вам! А кроме нее, в доме никого не было — не было, Джо! Кого же тут подозревать? Ну, не ее ведь, ибо какой мотив для убийства людей может быть у бедной девушки, которая совершенно лишена возможности извлечь из этого хоть минимальную выгоду? Впрочем, она не могла бы это сделать еще и потому, что не обнаружено никаких хитроумных приспособлений, которые могли бы умертвить человека на расстоянии. Ну, и остаются у нас еще люди, которые вместе с тобой и сержантом Кларенсом находились в парке в момент выстрела. А никого другого вообще не было на этой территории. Собака бы сразу вынюхала! Все двери под наблюдением, все решетки не нарушены. Это бред, Джо!

— Не знаю... — Алекс развел руками. — Наверно, я рассчитываю на чудо... впрочем, сам не знаю, на что...

И к изумлению Паркера, он улыбнулся.

— О господи... — вздохнул чиновник Скотленд-Ярда. — Уж не хочешь ли ты сказать, что кто-то из этих людей мог быть одновременно в двух местах?

— То, что человек не может быть одновременно в двух местах, — сонным голосом сказал Алекс, — это естественно и логично, но не для мира чудес. Я много раз читал упоминания об этом, даже в житиях святых. Но мы имеем дело с Дьяволом.

— В таком случае, — пробормотал Паркер, — я рекомендую тебе вступить в какое-нибудь религиозное общество или постричься в одном из красивых испанских монастырей... Там можно спокойно поразмышлять о всяких чудесных возможностях такого рода, не поднимая при этом на ноги без всякого смысла и повода полицейские силы Ее Королевского Величества.

— Наверно... — Джо покивал головой. — В конце концов я, вероятно, так и сделаю! Но сначала хотел бы допросить доктора Арчибальда Дюка. Меня очень интересует этот человек, гораздо больше, чем можно было бы предполагать из очень остроумных высказываний моих старых друзей, с которыми мы вместе так много раз стояли перед множеством больших и маленьких загадок этого самого веселого из миров...

И Паркер снова уступил.

На этот раз доктор Арчибальд Дюк не был в том хорошем настроении, в каком Джо увидел его, когда они встретились впервые. При этом оказалось достаточно нескольких вступительных предложений, чтобы убедиться: нервозность молодого врача вызвана не только трагическим происшествием, имевшим здесь место.

За закрытыми окнами ливень уже шумел на крутых скалах ущелья и барабанил по стеклам окон. Частые удары грома и вспышки молний, раз-

резающих уже совсем темное небо, выхватывали комнату из полумрака и погружали вновь в тень, лежащую за светлым кругом лампы на столе.

— Где вы находились с той минуты, как выехали из Блю Медоуз? Меня интересует, что вы делали с момента выезда из Блю Медоуз и до того момента, когда мы увидели вас въезжающим в Норфорд Мэнор.

— Я ремонтировал машину... — доктор Дюк пожал плечами. — Она испортилась по дороге в лесу, и я не знал, что делать. Не оставлять же ее, а кроме того, спешить было некуда. Я открыл капот и начал осматривать двигатель.

— Как долго это продолжалось?

— Может быть, час, а может — два! Я, правда, не смотрел на часы. Меня волновала неисправность. К сожалению, я впервые купил машину лишь в этом году. Раньше у меня никогда не было автомобиля... Я не механик и даже не любитель... А потом двигатель вдруг сам заработал. До сих пор не могу понять, что с ним, собственно, случилось...

Дверь приоткрылась, и сержант Джонс просунул в щель голову. В руке он держал записку. Паркер утвердительно кивнул, подошел к нему, взял записку, пробежал ее глазами и через секунду передал Алексу. Джо мельком прочел записку, а затем перевел взгляд на доктора.

— Машина испортилась на дороге?

— Да. Но когда она стала сбавлять ход, я решил, что, возможно, не в порядке что-то с подачей горючего. Чтобы посмотреть, в чем дело, я свернул с дороги прямо в лес, выехал на поляну... ну и там... начал обследовать внутренности этого изумительного транспортного средства.

— Понимаю, — Джо кивнул головой. — Тем не менее, я хотел бы понять еще одно. Какой рефлекс руководил вами, когда вы свернули с шоссе и, как утверждаете, довели двигающуюся по инерции машину до кустарников, среди которых вы надежно спрятали ее с целью осмотра строптивого двигателя? Вы должны признать, что естественное стремление водителя состоит обычно в том, чтобы оставить машину на шоссе. Во-первых, гораздо легче тронуться с места по асфальту, чем по траве, а во-вторых, редко кому придет в голову съехать с дороги без причины. Или я ошибаюсь?

Доктор Дюк потер рукой лоб и заколебался на секунду. Но тотчас же ответил:

— Я затрудняюсь сказать, почему так поступил. Если бы я рассуждал логично, как вы, я безусловно оставил бы машину на шоссе. Но... — он опять заколебался, — я всего лишь начинающий водитель. Я думаю, что, — он улыбнулся, — мной руководила глупая мальчишеская гордость. Я не хотел, чтобы кто-то видел меня копающимся в моторе. Уже два раза эта машина глохла на шоссе без всякой причины...

— Так... — Джо еще раз прочел записку. — Здесь нам сообщают, что след вашей машины тянется от шоссе в лес примерно ярдов сто и что вы остановили ее за кустами в роще. Получается, вы ехали как бы в гору, правда?

— Да... Но машина в последнюю минуту прибавила скорость. То есть, я нажал на педаль, и она немного рванулась вперед, а потом остановилась.

— Да-а... очень интересная у вас машина... особенно любопытен двигатель... Сначала замирает, а потом вдруг оживает... Ну, ничего. Вы никого не встретили во время столь продолжительного ремонта?

— Нет, — Дюк потряс головой.

— Но вы бы заметили кого-нибудь идущего по дороге?

— Я не уверен в этом. Однако ваш тон...

— Мой тон не имеет значения. Мы ищем истину, а не более или менее

приятные интонации. Значит, вы не уверены, проходил ли тогда кто-нибудь по дороге?

— Нет, я никого не видел... — Дюк снова потряс головой. — Но я не понимаю, почему...

— О господи! — Джо встал и начал прогуливаться по комнате, провожаемый взглядами обоих мужчин. — Дорогой доктор, неужели вы хотите, чтобы мы поверили всему этому?

Он остановился и резко повернулся к сидящему врачу.

Дюк прикрыл глаза. Потом открыл их и спокойно посмотрел на Алекса.

— Меня это совершенно не интересует... Меня в чем-то подозревают? Если так, я прошу разрешения вызвать адвоката. Мне не нравится все это.

Он встал.

— Нет, — Паркер приблизился к нему. — Вас ни в чем не подозревают. Если мы хотим, чтобы вы говорили правду, то, как вы знаете, мы имеем право этого требовать... Но мы не имеем права вас вынудить...

— Вот и хорошо... — Дюк направился к двери. — Я ответил на все ваши вопросы. Теперь я могу быть свободен?

— Разумеется... — Джо кивнул головой. — Вы совершенно свободны. Но, как мне кажется, не только вы и я знаем, что вы делали в лесу кроме попытки ремонта изумительного двигателя вашего автомобиля.

Дюк остановился и медленно повернулся к Алексу. На его лице выступил румянец, и Алекс подумал, что уже третий человек из опрошенных сегодня свидетелей краснеет при разговоре с полицией.

— Что вы имеете в виду?

— Вероятно, нечто меньшее, чем вы, доктор. Но вы пока свободны. Мы благодарим вас.

Дюк открыл было рот, словно хотел что-то сказать, но потом резко повернулся и вышел.

Глава XXII

Дьявол нарисованный

Джоан Эклстоун находилась в своей комнате на втором этаже. Когда они постучали, дверь приоткрыл Николас и тихо сказал:

— Она плачет...

— Мы ненадолго... — Алекс проскользнул в дверь, а за ним Паркер. — Мы хотим задать вашей жене пару вопросов и сейчас же уйдем, а вас прошу подождать в своей комнате...

Джоан встала с кресла у окна. На ее лице виднелись слезы, и Алекс подумал, что он никогда бы не ожидал от нее столь сильной эмоциональной реакции на смерть отца, к которому при жизни она, казалось, относилась довольно сдержанно.

— Примите наши сердечные соболезнования и извинения, миссис Робинсон, но мы должны задать вам несколько вопросов. Один из них весьма щепетильного свойства. Очень прошу вас овладеть собой и быстро ответить...

— О, я постараюсь... — ответила она тихо.

Дождь заканчивался. Гроза уходила, глухо гремя за невидимым горизонтом. Приближалась тишина с затухающими мягкими всплесками теплых капель.

— Я могу остаться здесь? — спросил Николас.

— Если вы подождете у себя в комнате, мы будем вам очень благодарны. Это отнимет не больше двух минут.

— Хорошо... — Николас развел руками. — Только прошу ее не расстраивать...

— О, Ник... — сказала она тихо. — Какое это сейчас имеет значение... — Ее голос снова перешел в плач, но она выпрямилась и, достав платок, совсем по-детски ребром ладони вытерла глаза. Робинсон вышел и тихо закрыл за собой дверь.

— Вы извините, что я не зажигаю верхнего света... — сказала Джоан. — Прошу вас, садитесь...

— У меня лишь несколько слов... — Джо глубоко вздохнул. — Мы должны, к сожалению, выяснить до конца все обстоятельства смерти вашей тетушки и сегодняшней трагедии. В состоянии ли вы в настоящую минуту отвечать ясно? Вы не слишком устали?

— Пожалуйста, спрашивайте... — Джо видел в слабом свете маленькой лампочки на столике болезненные черты ее изможденного лица. Но плечи Джоан были прямыми и голову она держала высоко.

— Вы знакомы с завещанием вашей бабушки?

— Нет... — Джоан потрясла головой. — Я никогда его не видела.

— А вы слышали о нем?

— Да. Бабушка говорила мне об этом уже давно, года полтора назад, а может, и раньше, перед тем, как ее разбил паралич. Она говорила, что я ничего не получу, если у меня не будет детей.

— Как вы приняли это известие?

— О... — она легко пожала плечами. — Меня это не очень тронуло. Я даже точно не помню, что она говорила.

— А вы действительно не хотите иметь детей?

Джоан замолчала. Потом тихо сказала:

— Я предпочла бы не говорить с вами на эту тему.

Алекс встал и подошел к ней.

— Миссис Робинсон… — сказал он тихо. — Я веду следствие по делу о смерти вашего отца. Еще не все ясно. Прошу вас не отказывать мне в помощи.

— Как? — Джоан стремительно встала и опять опустилась на кресло. — Вы хотите сказать, что... — она умолкла.

— Я очень прошу вас дать мне полную и точную информацию, которая кажется мне крайне необходимой. Иначе я не мучил бы вас вопросами, тем более сегодня.

Джоан закрыла глаза. Потом открыла их и посмотрела Алексу в лицо.

— Все думают, что я не хочу иметь детей, потому что спорт для меня важнее, — сказала она тихо. — Это неправда. И Николас, и я очень хотели бы иметь ребенка. Но, вероятно, его у нас не будет. Это... Это такой органический недостаток... какая-то мелочь, исправить которую врачи не в состоянии... Я никогда никому не говорила об этом, но я лечилась без перерыва два года. Я приезжала сюда и продолжала лечение... Агнес втайне от всех домашних сделала мне целую серию уколов. Но ничего не помогло... Это неправда, что медали интересуют меня больше, чем ребенок. Я бы завтра же бросила спорт, если бы... если бы...

Очевидно, голос опять отказал ей, потому что она приложила руку к губам и тихо зарыдала. Алекс встал и кивнул Паркеру.

— Мы больше не будем мучить вас, миссис Робинсон, — сказал он тихо. — Возможно, позже я позволю себе спросить вас еще кое о чем. Прошу вас не сердиться на меня.

Она молча склонила голову, а потом спрятала лицо в ладонях. Джо направился к небольшой боковой двери, за которой исчез Николас Робинсон. Он тихо постучал и, не ожидая приглашения, вошел. Паркер не отставал ни на шаг.

Вторая комната казалась менее уютной. В ней почти отсутствовала мебель, кроме столика и нескольких кресел, на которых были разбросаны листы картона и стояли маленькие баночки с красками. На стенах висело несколько полотен, «очень абстракционистских», как определил для себя Паркер, закрывая дверь.

Николас Робинсон ходил большими шагами по комнате, задевая кресла и топча лежащие на полу тряпки и клочки бумаги. При виде Алекса и Паркера он остановился, а потом подошел к ним.

— Вы уже закончили? Я могу идти к ней?

— Конечно, — Джо остановился на середине комнаты. — Я хочу задать вам пару вопросов, если можно.

— Слушаю, — Николас остановился возле двери и повернулся к ним.

— Вы обещали сказать нам сегодня вечером, что вы делали так рано вне дома, мистер Робинсон.

— Что? Я?.. — Николас открыл рот, а потом Алекс увидел, что его покрытое веснушками лицо явно бледнеет под ярким светом большой лампы, висящей у потолка. — Я? — повторил он, с явным усилием стараясь овладеть собой. — Я? Я писал, конечно. Я был на натуре, я ведь для этого сюда приехал...

— Да, я понимаю. А вы не могли бы показать нам ту картину, над которой сегодня работали?.. — Алекс не закончил. Он быстро подошел к стене и взял двумя пальцами край натянутого на подрамник полотна. Прежде чем Николас успел помешать ему, он повернул картину к свету.

— А это еще что такое? — тихо спросил Паркер и почти прыжком очутился напротив холста, на котором посреди совершенно реалистического пейзажа, представляющего Дьявольскую скалу и Норфорд Мэнор, в блеске восходящего солнца Дьявол, окруженный ночными бабочками, чудовищами и головами без туловища, стремительно уносил, сжимая в когтях и колотя перепончатыми крыльями, маленького человечка с большой карикатурной головой. А человечком этим был Ирвинг Эклстоун, изображенный с таким поразительным сходством, что у Джо перехватило дыхание. Картина была выдержана в лучших традициях Иеронима Босха.

— Я... то есть... — Николас оглянулся с внезапным ужасом. — Она не должна это увидеть. Я совсем забыл о картине, когда все это случилось. О боже...

— Значит именно это вы писали сегодня утром... — сказал Джо. — Как же пророчески...

— Я лишь хотел... Вы помните, что он сказал во время ланча? Он говорил, что мы, абстракционисты, не умеем рисовать так, как рисовали когда-то. Это должен был быть подарок ему...

— Подарок! — пробормотал Паркер. — Очевидно, на день рождения.

— Что вы берете с собой, когда идете писать на натуре? — быстро спросил Джо.

— Что? Я?.. — Николас по-прежнему не мог оторвать глаз от своей картины. — Это ужасно... — прошептал он. — Я должен ее уничтожить, немедленно...

— О, нет... — возразил Паркер. — Вы не сделаете этого. Картина слишком интересна.

— Бен, — Алекс повернулся к нему, — думаю, что будет лучше, если мистер Робинсон сам будет решать судьбу своих картин. Однако пока я хотел бы получить ответ на мой вопрос.

— Что беру? Краски, конечно, полотно, мольберт...

— Вот этот? Или нет? — Джо показал на обычный деревянный мольберт, на котором сейчас ничего не было.

— Нет. У меня есть великолепный швейцарский мольберт, складной, как штатив... Еще беру кисти и что-нибудь поесть... Позвольте мне повернуть ее к стене. Она может войти сюда, и это было бы ужасно.

Джо повернул к стене эту поразительную картину и, увидев в глазах Николаса выражение глубокого облегчения, с пониманием кивнул головой.

— Ваша жена, я надеюсь, никогда не узнает, что вы написали. Но я прошу вас ответить еще на один вопрос. Когда вы возвращаетесь с натуры, вы все это уносите сюда, наверх, не так ли?

— Да. Только мольберт я оставляю внизу, потому что он мне здесь не нужен. Я вкладываю его в гнездо для зонтиков на вешалке в холле. Он складывается, как штатив...

— Так, — Алекс вдруг повернулся к двери. — Спасибо вам. И прошу вас идти к жене. Она очень нуждается в вас.

— А разве... — Николас глянул на свою картину. — А вы... вы, надеюсь, не станете упоминать об этой картине, потому что я ни за что не хотел бы, чтобы Джоан... — он развел руками.

— Мы постараемся сохранить эту тайну, — Алекс кивнул ему головой и вышел. Однако он не направился обратно в сторону кабинета Ирвинга, а начал спускаться вниз.

Паркер шел за ним, тихонько посвистывая и оглядываясь по сторонам.

Глава XXIII

Пари на один шиллинг

Внизу, в холле, Томас Кемпт, стоя у двери своей комнаты, разговаривал с доктором Дюком. Увидев Паркера и Алекса, они замолчали.

— Можно вас на пару слов? — быстро спросил Джо молодого архитектора и, не ожидая ответа, нажал ручку двери.

Паркер вошел за ним с тем же выражением рассеянности, которое старательно скрывал от посторонних. Но Джо, который знал его много лет, понимал, что заместителя начальника Департамента уголовного розыска начинает интересовать эта на первый взгляд бессмысленная ситуация.

Кемпт вошел за ними и закрыл дверь.

— Чем могу быть полезен? — спросил он тихо.

Джо осмотрел комнату, обставленную почти по-спартански. В углу стояла низкая кушетка, а всю длину стены под окном занимал чертежный стол с разбросанными на нем бумагами. На стене висела старинная гравюра, представляющая погоню за лисой охотников в ярких красных фраках. На маленькой вешалке висели брезентовая рыбацкая шляпа и бинокль, и тут же стояли две удочки.

— Что вы думаете о Николасе Робинсоне? — спросил Алекс напрямик.

— О Николасе? Уж не хотите ли вы сказать, что... Что думаю?.. Я его очень люблю и думаю, что это самый порядочный человек в мире.

— Так. А его жена? Вы знакомы с детства, не правда ли?

— Да. Я старше Джоан и знаю ее практически со дня, когда она родилась. Могу о ней сказать лишь то, что и о нем, а может, даже больше

и лучше, потому что знаю ее дольше и мог бы положить за нее голову в любом деле, от самого пустякового до самого серьезного. Джоан — кристальная девушка.

— Благодарю... — Алекс склонил голову. — Возможно, позже я спрошу вас еще о некоторых подробностях. А пока...

Не закончив фразы, он вышел из комнаты, а изумленный Паркер следом за ним.

В холле уже не было доктора Дюка, зато стоял сержант Джонс.

— Этот садовник уже начинает приходить в чувство, сэр! — сказал Джонс. — Что с ним делать?

Паркер посмотрел на Алекса.

— Наверно, ты мечтаешь допросить его, Джо?

— Нет, не мечтаю, но это может пригодиться. Сам не знаю. Во всяком случае, надо с ним обменяться парой слов. Он у себя в домике?

— Да, сэр.

Джо шагнул к двери, но вдруг остановился.

— Ах, какой же я дурак! Какой я поразительный дурак, Бен! — он понизил голос. — Умоляю тебя, нужно немедленно собрать всех этих людей где-нибудь, лучше всего в столовой. Кроме доктора Дюка... Джонс, найдите доктора Дюка и приведите его сюда. Наверно, он у себя в комнате или там, — указал рукой, — у старой леди Эклстоун.

Джонс резко повернулся, подошел к двери комнаты Дюка и постучал. Через секунду он вошел и почти тут же вышел в обществе молодого врача.

— Если вы... — начал Дюк.

Алекс быстрым движением руки остановил его.

— Давайте покончим с нелепостями. Дело слишком серьезное. Вам необходимо немедленно отправиться в комнату старой леди Эклстоун и не оставлять ее ни на секунду до тех пор, пока я не приду и не освобожу вас. Я возлагаю на вас полную ответственность за ее жизнь и здоровье. Вы поняли меня?

Дюк невольно выпрямился.

— Вы... вы это серьезно?..

— Доктор, я не знаю, служили ли вы в армии, но считайте, что это приказ, независимо от того, что вы думаете о своих гражданских свободах. Вы находитесь здесь только для того, чтобы ее охранять, и я ничего от вас не требую, кроме того, чтобы вы в критический момент выполнили свою обязанность. И прошу вас ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не оставлять комнату леди ни с ней, ни без нее.

— Слушаюсь, — сказал доктор Дюк и без слов направился к двери спальни владелицы Норфорд Мэнор.

Когда дверь за ним закрылась, Джо резко повернулся и направил указательный палец в грудь Джонса.

— Сержант! Нужно сделать это очень точно!

— Что именно, сэр?

— Собрать их всех в столовой, за исключением доктора Дюка и старушки, которые не имеют права покидать спальню. Мы вернемся через десять минут.

— Слушаюсь, сэр.

Алекс опять круто повернулся и двинулся вперед, захватив по дороге с вешалки металлический мольберт, который впервые увидел у Николаса Робинсона в день своего приезда, когда встретил его на дорожке в лесу. Паркер шел за ним, бормоча что-то. У входной двери, за которой спокойно прогуливался полицейский в форме, он остановил Алекса.

— Джо, уж не хочешь ли ты сказать, что...

— Могу держать с тобой пари на один шиллинг, что еще сегодня мы откроем наиболее изумительную криминальную тайну этого столетия. — Алекс рассмеялся и сразу же стал серьезным. — Ах, какой же я дурак! — сказал он громко, несмотря на изумление дежурного полицейского. — Если бы я мог предположить...

— Господи, да что случилось-то? — удивился Паркер. — Я знаю, что ты не можешь выиграть этот шиллинг, потому что никто не может его выиграть в данной ситуации. ***Я знаю***, что Ирвинг Эклстоун покончил самоубийством! Но, Джо... Скажи, бога ради, в чем дело?!

— Еще не сейчас, Бен, еще через четверть часа... — Алекс остановился в открытых дверях, глядя во влажную тьму ночи. Внезапно он наморщил брови. — А если я ошибаюсь? — спросил он себя тихо. — Я же могу ошибаться... — Секунду он стоял без движения, потом решительно заявил: — Нет! Не могу! Это было бы еще невероятнее! Ох, Бен, эти абстрактные доводы! Эта красота мысли! Я богаче на один шиллинг.

И не ожидая ответа, нырнул в темноту.

Глава XXIV

«Щепку, Бен, самую выдающуюся щепку в истории криминалистики!»

Когда они вошли в домик садовника, полицейский, сидевший на стуле возле кровати, сорвался с места. У окна стоял детектив в гражданской одежде, которого Джо, зная с виду, приветствовал кивком головы.

— Мистер Филд приходит в себя, если можно так выразиться, — улыбнулся детектив, но увидев на лице Алекса напряжение, выпрямился, и его лицо приняло серьезное выражение.

— Мистер Филд, — сказал Джо, склонившись над лежащим садовником, — можете ли вы рассказать нам, как провели сегодняшний день до момента, когда... гм... когда вы потеряли сознание?

Филд поднял голову. Это был уже немолодой человек. На его бледном лице проявились темные полосы побритой рано утром и уже начавшей отрастать бороды.

— Люди, чего вы от меня хотите? — ворчливо спросил он. — Я что-нибудь украл? Нет. Я никогда никому не сделал ничего плохого. Ну, может, только мышам... Разве это преступление, если человек пойдет себе в воскресенье в лес и выпьет пару капель за свое здоровье? Этого полиция как будто никому не запрещает?

Он сел на кровати и спустил с нее ноги в дешевых хлопчатобумажных носках.

— Мистер Филд... — Джо положил руку ему на плечо. — Месяц назад в этом доме погибла леди Патриция Линч. Сегодня умер сэр Ирвинг Эклстоун, умер именно после полудня, когда вы выпивали свои капли за свое здоровье. Его нашли с пулей в голове. Если мы не узнаем, как умер мистер Эклстоун, возможно, через месяц нам придется хоронить Джоан Робинсон. А вы ведь, кажется, немного ее любите, не так ли?

Филд потер голову, в которую, вероятно, медленно и с трудом проникали слова Алекса, не желая принимать нужный порядок и последовательность. Внезапно часть этих слов, очевидно, достигла его сознания.

— Барышня погибла?! — совсем придя в себя, он сорвался с постели. — Джоан! Погибла! — у него перехватило дыхание.

— Нет! Не погибла! Погиб мистер Ирвинг, — Алекс потряс старика за плечи. — Я хочу, чтобы вы кратко рассказали, видели ли вы сегодня в лесу что-нибудь необычное, прежде чем напиться, или нет?

— Видел ли я, сэр... — Филд вдруг выпрямился и потрогал рукой небритый подбородок. — Вы меня извините... человек иногда... — он опустил голову. — Мистер Ирвинг умер... Видел ли я?.. Но это не имеет никакого значения...

— Вы не можете знать, что имеет значение, а что не имеет в этом деле. Мы должны установить, где были все домочадцы в момент смерти мистера Ирвинга. Вы видели кого-нибудь из домочадцев во время вашей утренней прогулки?

— А откуда вы знаете? — Филд с подозрением посмотрел на Джо. — Ведь они меня не видели...

— Не знаю, я не знаю! Я хочу знать, кого вы встретили? Уж не Синди Роуленд с доктором Дюком случайно?

— А, значит, вы знаете? Вы ведь знаете!.. Значит, они вам сказали... Но они меня не видели, как же они могли сказать? — Он поднял на Алекса непонимающий изумленный взгляд, потом снова потер рукой голову. — Я не хочу об этом говорить... — сказал он тихо. — Не надо такие вещи никому рассказывать...

Джо наклонился к нему и положил руку на его плечо:

— Никто об этом не узнает, если не будет крайней необходимости. Помните, что жизни Джоан Робинсон может угрожать большая опасность, если мы быстро не узнаем всей правды.

Выражение глаз Филда напоминало сейчас выражение глаз раненого зверька.

Джо выпрямился и одобрительно кивнул головой.

— Говорите, Филд, я советую вам как друг.

— Ладно... — садовник тяжело вздохнул. — Я расскажу. Я лежал на траве... в кустах, на краю поляны, рядом с дорогой на Норфорд Мэнор. К этому времени я уже, наверно, все выпил, и мне было хорошо. Я ни за что не двинулся бы оттуда до самого вечера... Солнышко грело, птички красиво пели, а мне ничего, совсем ничего не хотелось. Даже пальцем пошевелить. Я увидел их издалека, сквозь листья... Они подошли прямо к поляне. Я даже слышал, что они говорили, кроме тех случаев, когда переходили на шепот... Он говорил, что ее любит, а она, что ему не верит... и при этом они все время целовались. И он ей клялся, как обычно клянутся мужчины девушкам перед... Если бы я был трезвый, то, может, и не выдержал бы, встал бы и сказал ему пару слов насчет того, что я думаю об образованном джентльмене, который обнимает в лесу горничных и шепчет им на ухо всякие глупости... Я ведь знаю ее отца... мы вместе ходили в школу. Но эта бутылка немного меня разморила. Всегда со мной так. У меня не было сил двинуться, и мне было все безразлично. Даже не хотелось смеяться над этой глупышкой. А они снова стали целоваться. Пока вдруг она не протрезвела и не пришла в себя. Тогда она вырвалась из его объятий и крикнула: «Слушай!» или, может: «Слушай, кто-то выстрелил?..» Уже не помню точно... Но я и сам услышал что-то такое, как бы со стороны дома... потому что мы были в таком месте, где склон так легонько понижается, и издали хорошо виден дом, только совсем с другой стороны, чем из парка... Они просидели минуту без движения, а потом доктор, кажется, сказал: «Да, кто-то выстрелил», а Синди закричала: «Это он, Люцифер...» Потом вскочила и побежала, а он за ней, но не догнал, сел в машину и выехал на шоссе. А она где-то пропала в лесу... А потом я уснул, потому что, хотя я родом из этих краев, но ни в какого Дьявола не верю, даже в Люцифера...

А потом этот господин меня нашел. — Он указал рукой на детектива, стоящего у окна. — Пожалуй, я спал бы там до сих пор, а может, гроза бы меня разбудила?

Он хотел еще что-то сказать, но Джо круто повернулся и потянул Паркера за рукав.

— Идем, Бен! Спасибо, мистер Филд.

Они вышли.

— Ну и что? — спросил Паркер. — Мы знаем теперь точно, где были эти двое и что делали доктор Дюк и эта мисс Роуленд. Быть может, доктор Дюк — проказник, который от недостатка других занятий соблазняет деревенских девушек, но это не значит, что я должен его допрашивать... Или ее... Это, в конце концов, их дело, причем дело самое личное из личных. Девушка-то совершеннолетняя.

Алекс остановился. В темноте Паркер слышал его ровное, спокойное дыхание. Тем не менее голос, которым Джо начал говорить, был несколько приглушен, будто внутреннее возбуждение не позволяло ему легко подыскивать очередные слова.

— Уже сейчас, Бен... Уже сейчас я мог бы тебе сказать, кто убил Ирвинга Эклстоуна и Патрицию Линч!

— Что? — переспросил Паркер, и в его голосе прозвучала заботливая тревога. — Уж не помешался ли ты от всего этого?

— Нет... — Алекс не шелохнулся. — Я здоров как никогда, Бен.

— Тогда кто же, по-твоему, а прежде всего — ***как*** убил Ирвинга Эклстоуна?

— Ответ на это... — Алекс говорил уже совсем спокойно, — изумительно прост. Но у меня нет еще ни одного доказательства, кроме полной уверенности в том, что все было проделано лишь одним-единственным возможным способом... Мне очень стыдно, Бен! Я должен был это понять значительно раньше. Но в свое оправдание могу сказать лишь одно: замысел был так безумно отважен, что почти не укладывался в голове! Сейчас мы пойдем за этими доказательствами, Бен! И мы должны их найти! Должны, должны, должны! Потому что, как сказал наш друг Аристотель, только сверхъестественные вещи не подлежат наблюдению. А у нашего Дьявола есть руки и ноги, глаза и мозг! Да еще какой мозг, Бен!

Возле темной клумбы, на которую падал свет из открытых окон дома, Джо повернул в сторону террасы, а Бен Паркер шел за ним, ругаясь про себя последними словами. Он ведь знал с абсолютной уверенностью, что никто не мог убить Ирвинга Эклстоуна. Но с другой стороны, в глубине души у него таилась почти языческая вера в невероятные способности своего друга к расследованию криминальных дел.

У ступенек дома Джо остановился и некоторое время стоял, глядя на запертую входную дверь. Потом отступил на несколько шагов, провел глазами по фасаду и вытянул в ту сторону руку, как будто что-то считал. Паркер заметил, что он по-прежнему держит в руке то устройство, которое вынул из вешалки для зонтов, когда они отправлялись в домик садовника.

— Да, я не могу ошибаться... — Алекс утвердительно кивнул головой. — Но в том случае, это неизбежно должно быть в...

Не докончив фразы, он двинулся к двери. Когда они появились в холле, к ним подошел сержант Джонс.

— Готово, сэр! — сказал он Паркеру. — Они все в столовой. Доктор находится у старушки и караулит ее. Больше в доме никого нет.

— Замечательно! — Джо направился к двери спальни Элизабет Эклстоун и постучал. Через минуту дверь приоткрылась и выглянул доктор Дюк.

— Вы уложили в постель леди Эклстоун? — спросил Алекс тихо.

— Нет, еще нет. Она сидит в кресле. Я не знаю, что делать. Вы говорили так таинственно, что я встревожился за нее и ожидал вас...

— Никто сюда не входил в наше отсутствие?

— Нет, никто. Агнес была с ней все время, а потом я отпустил ее, когда пришел этот молодой человек в штатском и вызвал всех, кроме меня, в столовую... Я совершенно не понимаю, почему вы...

Алекс остановил его движением руки.

— Я тоже не понимаю некоторых ваших действий, доктор, — сказал Джо спокойно. — Но об этом позже. А пока что... — он осмотрелся. — Вы не могли бы перевезти отсюда леди Эклстоун в какое-нибудь другое помещение и оставить ее там на несколько минут. Кто-нибудь из наших людей останется при ней. Я надеюсь, что с ней ничего не случится.

— Надеюсь, что нет... — Дюк пожал плечами. — А что я должен сделать потом?

— Перевести ее, а потом вернуться к нам, хорошо?

— Пожалуйста.

Дюк пожал плечами, ушел в глубину комнаты и сейчас же показался, толкая перед собой коляску, в которой сидела закутанная в шаль старая, неподвижная женщина, смотрящая в пространство невидящими глазами.

— Здесь рядом есть небольшая гостиная... — указал он на дверь. — Это подходит?

— Как нельзя лучше, доктор... Мы ждем вас... — он обратился к Джонсу. — Пусть кто-нибудь из ваших людей останется с той дамой в гостиной. Он не должен ничего делать. Пусть просто ее охраняет. Это ненадолго.

Джонс кивнул головой. Алекс и Паркер вошли в спальню старой леди. Джо зажег все лампы и остановился посреди комнаты, осматриваясь. В руке он продолжал держать тот прибор, который Николас Робинсон называл мольбертом.

— Что теперь? — спросил Паркер.

— Теперь я буду стараться выиграть мой шиллинг и одновременно вернуть долг одному человеку, который, как никто до сих пор, был близок к награждению меня дипломом патентованного идиота и недооценил меня так, как никто еще до сих пор. Но подождем конца... Подождем конца.

Он вынул мольберт из футляра, осмотрел его, а потом выдвинул длинные складные плечики устройства.

— Посмотри: мольберт легкий и состоит из алюминиевых трубок, которые входят одна в другую. Нижний конец вбивается в землю, а два верхних плечика держат холст в раме... Вот здесь, на концах, у них есть такие красивые маленькие держатели для рамы... Посмотри...

Джо подошел к стене и, манипулируя мольбертом, захватил держателями тяжелую раму старинной картины, висевшей на одной из стен. Потом без усилия оторвал картину от стены и перевернул ее в воздухе.

— Как ты думаешь, я оставил отпечатки пальцев? — улыбнулся он.

— Да... — Паркер покивал головой. — Это объясняет способ, посредством которого портрет в столовой менял свое положение. Но отсюда еще далеко до утверждения, что мистер Николас Робинсон убил своего тестя. И это после того, как вы вместе провели весь день, а потом он стоял рядом с тобой, когда раздался выстрел. Я думаю, ты не хочешь уговорить меня поверить во что-нибудь подобное?

— Ох, Бен... — Алекс повернулся к нему. — Подумай только, Бен... Если это не было самоубийством, то как...

Он не закончил, потому что раздался стук в дверь, вошел доктор Арчибальд Дюк и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам, джентльмены.

— Доктор, — Алекс не смотрел на него, он стоял посреди комнаты, быстро оглядываясь, — вы извините меня, что я врываюсь в то, что можно назвать интимной областью вашей жизни, но мы хотели бы знать, как вы относитесь к Синди Роуленд? Вы ее просто соблазняете или, быть может, вы на самом деле хотели бы на ней жениться?

Джо предполагал, что Дюк взорвется, но молодой врач ответил очень спокойно:

— Я не знаю, почему вас это интересует, и никак не могу понять какую это может иметь связь со смертью Ирвинга Эклстоуна, но если вы настаиваете и предполагаете, что это необходимо для пользы следствия, то должен вам сказать, что я действительно хочу на ней жениться, и причем в ближайшее время.

— Серьезно?

— Да, я люблю Синди, а ее характер, красота и манеры могут быть украшением любого дома, даже дома провинциального врача. — При этом он легко улыбнулся. — Я сказал это, впрочем, только потому, что, по-видимому, для вас выглядит странным супружество врача и горничной.

— А она знает об этом?

— Я сказал ей это даже сегодня. Но я не знаю, верит ли она мне. Она убеждена, что... что между нами существует слишком большое социальное неравенство... Но мне наплевать на социальные неравенства! — закончил он резко, как будто ожесточенно спорил с кем-то, кто упрекает его в этом супружестве.

— Вы совершенно правы, — сказал Джо, по-прежнему оглядываясь и как бы не обращая внимания на слова молодого врача. — Поздравляю вас с выбором! Это очень красивая молодая девушка. Я хотел бы только, чтобы вы ей повторили все это при нас, хорошо?

— С большим удовольствием... — сухо сказал Дюк.

Джо подошел к двери и сказал полушепотом несколько слов Джонсу. Затем вернулся и опять встал посреди комнаты, оглядываясь. Потом подошел к большой старинной кровати и поднял покрывало. За этим занятием его и застала Синди Роуленд. Джо опустил покрывало и улыбнулся ей.

— Доктор Дюк очень хочет сделать в нашем присутствии некое заявление... — Алекс по-прежнему оглядывал комнату, что вконец расстроило Паркера. Заместитель начальника Департамента уголовного розыска громко кашлянул. Джо, как бы не замечая этого, продолжал: — Он сказал нам, что просил вашей руки и что вы согласны выйти за него замуж в ближайшее время. Это правда?

— Он сказал... вам... — ее красивые полные губы начали дрожать.

— Конечно, я сказал! — Дюк подошел к девушке и обнял ее за плечи. — Я ведь сам родом из деревни. Моя мать наверняка обрадуется, когда я привезу ей не капризную городскую барышню, а такое красивое создание, как ты!

И тогда Синди Роуленд сделала нечто совершенно неожиданное. Она взяла себя в руки, легко высвободилась из объятий доктора и сказала тихо:

— Он меня выслушал...

— Не думаю! — Алекс перестал разглядывать комнату и с улыбкой посмотрел на девушку. — Во всяком случае, не благодарите его. Говорят, Дьявол отнюдь не лучший друг молодых замужних женщин. И... — он погрозил пальцем, — я советую вам больше не заглядывать в тот Грот.

Синди Роуленд посмотрела на него в полном изумлении и невольно перекрестилась.

— Господи помилуй... — прошептала она.

— Вот это уже лучше. А кроме того, мне кажется, что Дьявол не занимается влюбленными, по крайней мере, до тех пор, пока они влюбленные. Дети мои, я очень доволен вами! Идите теперь за старой леди Эклстоун, вкатите ее в столовую и ожидайте нас. Мы сейчас придем туда.

— Позвольте, — спросил Дюк. — Я не понимаю, что общего имеет Дьявол с...

— Ох, доктор, как много в мире есть вещей, которых разум наш... и так далее. Вы ведь понимаете, что я хочу сказать. Ступайте, мы благословляем вас от имени следственной службы Ее Королевского Величества. А не каждому удается получить такое благословение в день помолвки!

Он проводил их взглядом до выхода, и когда дверь за ними закрылась, выражение игривости исчезло с его лица так внезапно, будто кто-то невидимый стер его губкой.

— Здесь есть только два места, Бен! — сказал быстро Джо. — Одно — это кровать, а другое — это стенной шкаф.

— Два места для чего? — Паркер подошел к нему. — Что ты ищешь?

— Шиллинг, на который мы держим пари.

И не говоря ни слова, Джо подошел к шкафу. Как варвар, он начал выбрасывать из него аккуратно сложенные в штабеля белье, шали, свитеры. Потом быстро, сантиметр за сантиметром осмотрел стенки шкафа снизу доверху.

— Ничего нет... — пробормотал он и повернулся к кровати. — Впрочем, я этому не верил, потому что это слишком сложно...

Он сорвал с кровати покрывало, потом одеяло, простыню, отогнул матрац и...

— Ничего... — сказал тихо. — Абсолютно ничего... Возможно ли это? Это должно быть здесь... Должно, Бен, или...

— Что должно? Начни, наконец, говорить! Ведь со мной-то, я полагаю, ты не собираешься играть в прятки?

— Подожди, дай мне подумать... дай мне подумать! — Он ударил себя ладонью по лбу. — Конечно! Ах, какой же я дурак!

Вдруг он остановился и насупил брови. С минуту простоял так молча, потом поднял на Паркера глаза, и Бен заметил в них внезапно мелькнувший страх.

— Послушай... — Алекс потер лоб рукой. — Ведь это не может быть... Это не может быть идеальным преступлением... Я ничего не понимаю… Подожди... Ах, нет, ну конечно! Конечно! — он схватил друга за плечи. — Бен! Надо немедленно спустить воду из бассейна. Возьми пару твоих людей с самыми мощными фонариками и идем туда! К счастью, окна столовой не выходят в парк. И не разрешай ни под каким предлогом никому двинуться из столовой! Вот сейчас я не могу ошибаться! Какая же удивительная личность этот Дьявол! Поразительно!

— Но что ты надеялся найти здесь?

— Щепку, Бен, самую выдающуюся щепку в истории криминалистики! Тем временем оказалось, что я всего лишь глупый мальчик, а он старый, мудрый Сатана! Но спектакль еще не окончен. О нет!

И не ожидая ответа, Джо выбежал из комнаты.

Глава XXV

«По крайней мере — два предмета!»

Тучи начали расходиться, и луна светила над Дьявольской скалой, которая отражала ее свет блестящей влажной верхушкой. Маленькая группа людей стояла неподвижно, всматриваясь в медленно опадающую поверхность воды бассейна. Доступ воды был перекрыт, а стальной клапан, который регулировал слив, открыт. Лунный шар, отраженный на поверхности воды, медленно опускался вглубь.

— Еще пару минут, — сказал Джо тихо, — и мы сможем туда спуститься.

— Что ты хочешь найти здесь?

— По крайней мере — два предмета! Маленький металлический цилиндр и еще один ключ, очень похожий на тот, который мы нашли в террариуме мистера Ирвинга Эклстоуна. На этот раз, я так уверен, что готов держать пари на другой шиллинг... Я хотел бы, чтоб твои люди простучали все днище бассейна, каждую его плитку. Здесь должен быть тайник, должен быть, Бен!

Луна на дне бассейна внезапно исчезла. Джо наклонился. Дно уже отчетливо виднелось, в бледном свете блестели ровные ряды темных мокрых плит, аккуратно прилегающих друг к другу.

Джо спустился вниз по металлической лесенке, а за ним остальные мужчины, цепь силуэтов, поочередно исчезающих внизу. Зажглись фонарики. Паркер установил людей цепочкой, и они начали медленно передвигаться, нагибаясь, освещая дно бассейна и тихонько постукивая по нему.

Алекс шел за ними, освещая и внимательно рассматривая плиты, которыми были выложены стенки бассейна. Вдруг он остановился. Ему показалось, что вместо узкой полоски цемента, которыми были скреплены отдельные плиты, он заметил блеск стали. Он подошел, приблизил фонарик почти к самой стенке и начал внимательно осматривать это место. Затем он вытянул руку и попробовал сдвинуть плиту вверх. Она даже не дрогнула. Он попробовал с левой стороны, потом с правой. Ничего. Наконец нажал на нижний край. И тут плита повернулась на невидимой оси, открывая темное отверстие небольшого углубления, из которого полилась вода. Когда она стекла, Джо посветил вглубь. Некоторое время он смотрел туда, потом повернулся к Паркеру.

— Бен! — позвал он тихо. — Уже можно не искать. Я нашел!

Цепочка остановилась, потом распалась, и темные человеческие фигуры начали приближаться к Алексу, а затем остановились на расстоянии нескольких ярдов. Свет фонариков погас.

— Что ты нашел? — Паркер стоял рядом. В руке он держал фонарик, направленный в сторону отверстия, будто целился из пистолета в невидимого врага.

— Коробка... — Алекс указал на небольшой никелированный ящичек, лежавший в углу ниши. — И я предполагаю, что в ней находятся два предмета: ключ и маленький железный цилиндр, один из тех, которые ты хорошо знаешь...

Паркер ничего не увидел, потому что ему мешал свет его собственного фонарика, но услышал тихий шелест ног по дну бассейна. Его люди подошли к отверстию.

— Осторожно, Бен! — сказал быстро Джо. — На этой коробке наверняка есть отпечатки пальцев! А я думаю, что они нам крайне необходимы, если мы хотим, чтобы Дьявол вернулся в ад, при нашем самом сердечном

участии. Паркер вынул платок и с большой осторожностью протянул руку к коробке. Он отрыл ее кончиками пальцев. Внутри лежали маленький железный цилиндр странной формы и плоский ключ необычной конструкции, очень напоминающей другой ключ, найденный ими в террариуме покойного Ирвинга Эклстоуна!

— Джонс! — тихо сказал заместитель начальника Департамента уголовного розыска.

— Его здесь нет... — ответил чей-то голос. — Он караулит их там, в столовой.

— Карузерс, отнеси это сразу же в нашу передвижную лабораторию. Я думаю, что эксперт еще не уснул.

— Не уснул... — прозвучал голос из темноты. — Я пришел сюда за вами, чтобы не умереть от скуки.

— У вас есть отпечатки пальцев всех домочадцев, верно? Немедленно сравните и скажите, кому принадлежат эти.

— Это я могу сказать тебе без помощи науки, — Джо двинулся в сторону лесенки. Паркер догнал его.

— Скажи!

И Алекс сказал ему.

— То есть как? — Паркер схватил его за руку. — Но это же невозможно!

— Подожди... — они поднялись наверх и остановились на темном газоне. Туча закрывала луну. В сумраке Паркер увидел блеск белых зубов друга. — Не только возможно, но единственно возможно, Бен. Уже несколько часов я знал, что лишь у одного человека были одновременно и мотив, и возможности, но гипотеза, как ты сам видишь, была настолько неправдоподобной и необъяснимой при помощи здравого смысла, что... — он умолк. — И только тогда я применил *действительно здравый смысл*. И вдруг оказалось, что с определенной точки зрения, дело это чрезвычайно простое и банальное. Но сначала следовало исключить все другие варианты. Речь шла не обо мне. Я уже знал все, что надо, хотя несколько раз ошибся в деталях. Я думал о тебе. Ты был так сильно настроен против этого бессмысленного расследования. Впрочем, пока я точно не узнал, где находились все жители дома в момент убийства, у меня не было абсолютной уверенности. В этом фантастическом деле всегда оставалась какая-то неизвестная, еще более фантастическая возможность... К счастью, когда я применил элементарную логику, факты начали складываться в том порядке, в каком и должны были сложиться. Однако это преступление, по-своему гениальное, содержало одну ошибку. Оно было *почти* идеальным и в связи с этим исключало все возможности, кроме одной: *действительной*. Однако, если бы не удалось отыскать эту единственную возможность в гуще иллюзий и лабиринтов этого дьявольского плана, преступление автоматически становилось бы *преступлением идеальным*, то есть превращалось в самоубийство Ирвинга Эклстоуна, что, в свою очередь, означало бы для нашего Дьявола полный триумф и достижение задуманной цели...

— Но я по-прежнему не понимаю, каким же образом это преступление...

— Подожди, Бен. Позволь мне получить одно маленькое удовольствие.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Паркер подавленно. Он был прекрасным следственным офицером и очень честным человеком. Даже сейчас он ни на минуту не забывал о том, что еще два часа назад уговаривал Алекса прекратить бессмысленные поиски и уехать отсюда.

— Скажи... Позволь мне на основании моего удостоверения, разумеется, в твоем присутствии, самому произвести арест. Я очень зол на этого Дьявола. Он заранее обдумал и спланировал не столько идеальное преступление, сколько идеальное издевательство надо мной и моей скромной известностью, к которой я, искренне говоря, немного привязан. Я хотел бы лично объявить ему о его поражении.

— О, конечно, сделай это! Я даже беру на себя всю ответственность за твои возможные ошибки, если ты забудешь какие-нибудь слова из текста процедуры ареста. Лишь бы только мы не совершили ошибки, Джо. Я не хочу даже думать об этом.

— О, я уже сказал тебе, что у этого поразительного дела есть один поразительный аспект: *оно не может иметь иного решения*, если, конечно, не учитывать вмешательства сверхъестественных сил. Впрочем, наше последнее открытие исключает даже эту прекрасную возможность.

Они приблизились к дому. Алекс выпрямился, прошел мимо патрулирующего на террасе полицейского и вошел в холл.

Слыша позади шаги Паркера и нескольких входящих за ним детективов, он прошел к двери столовой, распахнул ее и остановился на пороге.

Некоторое время Джо молча смотрел на собравшихся. Двое стояли под портретом сэра Джона. Это были Синди Роуленд и доктор Арчибальд Дюк, углубленные в тихую беседу, которую прервало появление Джо Алекса. Напротив входа, за столом сидели Джоан Робинсон и Николас Робинсон, по другую сторону стола, на стульях, ближе к двери Кемпт и Джилберн со своей неизменной тростью, зажатой меж колен. Агнес Стоун в безукоризненно белом фартуке и белой шапочке стояла, выпрямившись, в углу комнаты рядом с креслом, в котором неподвижная старушка глядела неподвижными глазами в пространство. Марта Коули и старик Райс стояли недалеко от них, по-видимому, не смея сесть в присутствии владельцев дома. Все молчали. Глаза их были направлены на вошедшего. Сержант Джонс, который спокойно стоял у двери, отодвинулся, уступая Алексу место и шепотом спросил Паркера:

— Уже, шеф?

Паркер едва заметно кивнул.

— Простите, что заставили вас так долго ждать... — сказал Джо. — Дело в том, что возникли некоторые неожиданные обстоятельства, которые немного затянули ход расследования... Это расследование, впрочем, оказалось нелегким, так как убийство было запланировано с невероятной ловкостью...

— Боже! — тихо произнесла Джоан. — Убийство... Значит он, папочка...

— К сожалению, — Алекс развел руками, — это было убийство, запланированное с неслыханной, совершенно беспримерной бравадой... если можно применить это в известной степени, позитивное слово к самой изощренной подлости, какую человек может совершить на земле. И здесь мы должны признать, к великому нашему стыду, что чуть было не пали жертвой ловкости убийцы, который сплел практически безошибочную, весьма сложную сеть мистификаций и пытался поймать нас в нее так умело, что если бы не... — Он остановился, потом начал снова: — Но мистификация — это всего лишь мистификация. Уже две с половиной тысячи лет назад некий старый мудрый грек Парменид из Элеи[1] написал в своей поэме «Путь иллюзий» слова, которые я снова вспомнил сегодня

[1] Парменид (конец 6 века до н. э.) — древнегреческий философ, представитель элейской школы.

вечером: «Не допускайте, чтобы привычка, возникшая из повторяющегося опыта, направила вас на путь, где средствами познания служат слепой глаз и ухо, вторящее звукам, но пытайтесь с помощью разума...» Я не буду цитировать дальше. Мы перестали верить глазам и ушам, привлекли к этому делу наш разум, и результат этих действий вынуждает меня произнести здесь и сейчас те самые известные всем слова: «Именем закона я арестую вас по обвинению в преднамеренном убийстве Патриции Линч и Ирвинга Эклстоуна и предупреждаю: все, что вы скажете, с этого момента может быть использовано против вас...»

— Но... но кого это касается? — спросил сдавленным голосом сэр Александр Джилберн.

— Слова эти относятся к присутствующим здесь Томасу Кемпту и Агнес Стоун... — спокойно сказал Алекс и в ту же секунду прикусил язык, потому что увидел в руке, которую Томас Кемпт выхватил из кармана, револьвер. А ствол этого револьвера был направлен прямо в его, Джо Алекса, грудь. И в эту долю секунды он с тоской подумал, что ни к чему оказались все уроки доктора Ямамото, ибо вот сейчас он стоит, открытый и беззащитный на линии выстрела, и если отпрыгнет, откроет стоящего за его спиной Паркера. А Кемпт был слишком далеко, чтобы можно было его достать.

Но все эти мысли, а вернее, их маленькие бессвязные обрывки едва лишь успели вспыхнуть, как грянул выстрел. Одна из женщин вскрикнула.

Джо стоял секунду, изумленный тем, что ничего не чувствует, подсознательно отыскивая всеми нервными клетками то место, куда вошла в его тело пуля. Но не под ним согнулись колени. Это Томас Кемпт медленно опустил голову, затем руки и тяжело, как кукла, рухнул на землю.

Алекс молниеносно обернулся. Пухлый сержант Джонс стоял со служебным пистолетом, медленно опуская его ствол вниз.

— Я ношу его в кобуре под мышкой, шеф... — сказал он негромко Паркеру. — И всегда, когда этим голубчикам объявляют их судьбу, скрещиваю руки на груди, как Наполеон... А в одной из этих рук я и держу его со снятым предохранителем и пулей в стволе... на всякий случай.

Но Паркер не расслышал его последних слов.

— Ты, Дьявол… — Агнес Стоун смотрела на Алекса страшным, полным отчаяния взглядом. Потом она выхватила руку из кармана фартука. Но в этой руке не было оружия. Она мгновенно поднесла руку ко рту.

И в этот момент случилась вторая неожиданная вещь: Джоан Робинсон пулей вылетела из своего кресла и повисла на ее руке. За ней вскочили Николас Робинсон и остальные присутствующие. Через минуту Агнес стояла с наручниками на руках, неподвижная, бледная и совершенно спокойная.

Паркер с силой разжал ее стиснутую ладонь и вынул оттуда маленькую белую ампулу.

— Цианистый калий... — пробормотал он и покивал головой. — Я думаю, что, пожалуй, это окажется цианистый калий.

Сержант Джонс положил руку на плечо Агнес.

— Пойдемте... — сказал он спокойно.

Она двинулась впереди полицейского, неестественно выпрямившись, с поднятой головой в белой крахмальной шапочке. Их провожали взгляды всех присутствующих. И лишь старая женщина в коляске даже не дрогнула и по-прежнему смотрела невидящим взором в бесконечное пространство, равнодушная и неподвижная, как изваяние.

Глава XXVI

«Но как это вообще было возможно?»

Автомобиль тронулся.

— Но как это вообще было возможно? — спросил Паркер, глядя в широкую спину водителя.

Джо ответил не сразу. Он сидел вполоборота и смотрел через заднее стекло на освещенные окна Норфорд Мэнор. За ними поочередно выезжали на дорогу другие машины, прорезая темноту белыми крыльями фар. Джо вздохнул и, повернувшись, сел поудобнее, устроившись в углу полицейского автомобиля.

— Думаю, это был человек с болезненно развитой фантазией... — сказал он. — Я вынужден признать, что никто и никогда не подводил меня так близко к поражению. Не говоря уже о том, что если бы не твой неоценимый Джонс, он, в конце концов, убил бы меня, беззащитного, как ребенка. Я слишком разболтался. Я всегда знал, что именно риторические склонности в один прекрасный день станут причиной моей гибели. К счастью, наша полиция была начеку.

— Да... — Паркер в темноте щелкнул пальцами. — Полиция начеку! — добавил он язвительно. — Если бы не ты, опасаюсь, что я, а вместе со мной и весь мой штаб детективов, дактилоскопистов, экспертов и компьютеров преспокойно уехали бы отсюда, оставляя на свободе эту парочку убийц, свободных и счастливых, как пара голубков! Но расскажи, наконец, как ты до всего этого дошел?

— Уже в первый день, когда приехали Кемпт и Джилберн, мне очень не понравилась загадочная смерть одного из наследников старой леди Эклстоун. Ибо Патриция была для меня прежде всего одним из наследников огромного состояния, единственным владельцем которого являлась доживающая свой век парализованная старушка. Самоубийство Патриции тоже казалось по меньшей мере загадочным. Вынула ключ из двери — зачем? Приняла цианистый калий во время чтения книги? — Почему? На книге найден отпечаток дьявольского копыта, но в комнате умершей не найдено никакого предмета, который мог бы этот отпечаток оставить. Ночью, перед смертью, повернут лицом к стене портрет Джона Эклстоуна, потомком которого в десятом поколении она и была, а нам, в свою очередь, известно, что род Эклстоунов по воле Дьявола был обречен на гибель именно в десятом поколении. Мне трудно было вообразить себе, что эта несчастная женщина, измученная долгой тяжелой болезнью мужа, начала вдруг вытворять какие-то дьявольские штучки, перед тем как покончить с собой. Кроме того, мне показалось неправдоподобным, чтобы эта, как-никак, порядочная, хотя, быть может, действующая иногда под влиянием внезапного импульса женщина могла вторично заморочить голову бедному Джилберну, а потом снова разрушить его жизнь, даже не написав ему нескольких прощальных слов с объяснением своего шага. Этот ключ на столе тоже вызвал недоумение. Если она приняла цианистый калий, дочитав «Пигмалион» до 110-й страницы, потому что книга была раскрыта именно на этой странице, когда ее нашли умершей, то зачем вынимала ключ? И наконец, что в «Пигмалионе», этой милой и мудрой комедии, может вдруг стать причиной такого рода решения?.. Я не мог ответить себе на все эти вопросы. Но я приехал, прежде всего, потому, что меня встревожило повторение явлений, сопровождающих смерть Патриции Линч. Снова перевернут портрет, и опять следы Дьявола появились в Гроте. Это еще больше укрепило меня в уверенности, что Патриция была убита. Ввиду этого возникал вопрос: кто

мог убить ее в собственной комнате? Кто-то, от кого она спокойно приняла бы яд, не отдавая себе в этом отчета? Для такой возможности подходили практически все домочадцы, кроме Николаса Робинсона, которого могла заметить Джоан, если бы Патриция попросила их дать ей лекарство. Это могла сделать Синди, горничная, которая, наверно, заглядывает в комнаты дам, спрашивая, не нужно ли чего-нибудь перед сном. Это мог сделать старый слуга, кухарка, медсестра, доктор, даже Ирвинг... Я исключил, после обдумывания, Кемпта, потому что было менее всего правдоподобным, чтобы он среди ночи мог вручить ей порошок. Конечно, его мог дать ей также Джилберн, провожая домой. Она ведь жаловалась на головную боль. Она могла принять порошок во время чтения книги и умереть. Но тогда она не вынимала бы ключ из замка. Итак, если Патриция Линч была убита, то, безусловно, этого не мог сделать Джилберн, потому что он единственный из подозреваемых, кто не находился ночью в доме и не мог выйти, заперев дверь другим ключом и оставив настоящий ключ от комнаты на столе умершей. Впрочем, предмет, который нанес отпечаток дьявольского копыта на книге, должен быть принесен извне. Но не от Джилберна, потому что самый невероятный шанс, по теории вероятности, не оставлял никакой возможности предполагать, что Джилберн сделал оттиск на одной из страниц, а Патриция, дочитав как раз до этой страницы, приняла яд. Тогда где находился этот предмет, которым сделан оттиск на книге и на песке в Гроте? Если бы сама Патриция сделала оттиск, ей пришлось бы выйти из комнаты, спрятать этот предмет, а потом вернуться и отравиться. Это очевидная бессмыслица, принимая во внимание, что после ее смерти, этот предмет был снова использован для той же цели. Следы в гроте вновь появились и оказались идентичными. Этот факт имел двойное значение:

1. Джилберн *не мог* быть убийцей Патриции, поскольку не имел ночью доступа в дом и не мог сделать оттиск на книге, а потом спрятать предмет, которым оставил отпечаток. А ведь совершенно ясно, что след этот оставил убийца, с пока еще непонятной целью.

2. Повторение фокуса с портретом и вторичное появление оттисков копыт в гроте производило в первый момент удивительное впечатление. А именно: *убийца хочет объявить о своем существовании* и обратить внимание более тонкого наблюдателя на факт, что Патриция Линч не совершила самоубийства. В первый момент это было очень трудно понять. Если кто-то совершает убийство и ему удается убедить полицию в том, что убитый совершил самоубийство, казалось бы, он должен больше всего на свете мечтать о том, чтобы никогда себя не обнаружить и избежать правосудия. А между тем, наш убийца начинает действовать как полный безумец. Из этого можно было сделать только два вывода:

1. Что он действительно безумец.

2. Что он хочет свалить это убийство на кого-то другого и уверен, что ему это удастся.

Дополнительный и самый грозный вывод из вторичного переворачивания портрета и появления следов в Гроте был таков:

«Поскольку убийца действует дальше, дело не закончится убийством Патриции Линч, и в далеком Норфорд Мэноре произойдут какие-то новые события».

Конечно, убийца с самого начала имел надо мной огромное преимущество. Я не был на месте преступления сразу после смерти Патриции Линч, а с тех пор прошел целый месяц. Я не знал, к чему он стремится и что хочет сделать, а он, разумеется, знал это отлично. Факт, что смерть Патриции полиция признала самоубийством, указывал на то, что если он безумец, то, во всяком случае, наделен способностью весьма здраво рассуждать.

А если он не безумец, то мы имеем дело с необыкновенным талантом в мире преступности, провоцирующим полицию к возобновлению уже закрытого следствия по преступлению, которое уже произошло, и возможно, к открытию нового следствия по преступлению, которое еще не совершено. Эта невероятная уверенность преступника в себе побудила меня к немедленному выезду на место. По пути мне казалось, что если я даже не схвачу его, то, по крайней мере, парализую его действия до такой степени, чтобы он не совершил нового преступления. Между прочим, лишь для этого я как можно скорее отказался от своего псевдонима. Я хотел, чтобы все в Норфорд знали, что приехал, как-никак, профессионал по раскрытию преступлений. Со стыдом признаю, что тогда я даже не предполагал, что он настолько отважен, чтобы избрать именно меня в качестве свидетеля своего идеального алиби...

...И я приехал. Тут же я мгновенно окунулся в лабиринт метафизических рассуждений о Дьяволе и ведьмах. Это тоже прекрасно спланировал наш убийца, и сделал это по-своему гениально. Местность буквально лопалась от преданий и демонологических легенд. Ирвинг Эклстоун был демонологом, над родом которого тяготело проклятие. Ближайшие к месту действия объекты: Дьявольский грот и Дьявольская скала, а в придачу появление отпечатков дьявольских копыт...

Трудно было не принимать все это во внимание, хотя, как потом оказалось, все это можно было игнорировать и заняться единственным разумным мотивом преступления — богатством Эклстоунов. Однако я по-прежнему не знал, не имеем ли мы дело с убийцей-маньяком. Ну и наконец, нельзя было не принимать во внимание, что Синди Роуленд и ее родители были жителями этих мест. Это тоже могло иметь некоторое значение. Синди была впечатлительной девушкой, фантазию которой пробудил Ирвинг Эклстоун своими рассказами об истории Дьявола в этой околице. Синди, несомненно, знала, что ее пра-пра-пра-прабабушку когда-то повесили при помощи кого-то из Эклстоунов и что Дьявол обещал отомстить всему этому роду. Это могло стать навязчивым бредом, незаметным для окружающих. Бывают такие тихие мании. Она сама относилась к физическому «типу ведьмы», со сросшимися бровями и черными длинными волосами. К счастью, у Синди это выразилось лишь в молитвах Сатане и любви к доктору Арчибальду Дюку. Но узнал я об этом значительно позже, хотя признаю, что подозревал это, услышав слова ее молитвы. Другое дело, что я принимал тогда во внимание Кемпта как потенциального убийцу, который имел серьезный мотив поголовного убийства всех Эклстоунов, а ее я подозревал в соучастии... Да, это все было непросто. Она ведь могла с легкостью дать Патриции Линч порошок с ядом, оставив отпечатки в гроте, перевернуть портрет утром, когда все еще спали, а она всегда первая вставала… и так далее. Она могла любить Кемпта, а навязчивый бред по поводу мести Сатаны и ее, как орудия этой мести за ту, давнюю Синди, был вполне возможен...

Но с того момента, когда я прочел завещание старой леди, я понял, что человеком, у которого есть самый серьезный мотив желать гибели семьи Эклстоунов, является Томас Кемпт. Он ведь внук сестры Джекоба Эклстоуна, и если бы исчезли все наследники, он один остался бы лицом «в жилах которого» — как говорит завещание — «текла кровь этого рода».

Джоан была исключена вследствие оговорки, говорящей о бездетности, а ввиду того, что старая леди уже никогда не изменит завещания из-за своего здоровья, Кемпт спокойно стал бы владельцем многомиллионного состояния, которое старый Джекоб выжал из своих малайских плантаций и предприятий на территории страны. Поэтому, когда утром выяснилось, что

портрет опять переменил положение, мы, то есть я и Джилберн, немедленно прибыли в Норфорд Мэнор, и я прямым текстом предупредил Кемпта, когда мы уезжали оттуда. Я, разумеется, не мог сделать ничего больше, потому что у меня тогда еще не было никаких улик против него. Напротив, именно он уговорил Джилберна прийти ко мне со своими подозрениями. Кроме того, в четыре часа я должен был перебраться в Норфорд Мэнор и просто не мог поверить, что кто-нибудь попытается рискнуть нанести удар в таких обстоятельствах. В довершение ко всему, я послал сержанта Кларенса с полицейской собакой только для того, чтобы возможный убийца видел, как они ходят по парку и в окрестностях дома с самого утра... И быть может, Кемпт не рискнул бы, не будь его план так прост, так безошибочен и так идеально «безопасен». Признаюсь тебе, Бен, что я видел много преступлений, также, как и ты их видел много, но такого плана, такого исполнения и настолько точной реализации разработанного проекта я не видел еще никогда. Ты сам, впрочем, знаешь, как это выглядело на первый взгляд... Убийство казалось совершенно невозможным, а все улики указывали на самоубийство, мало того, они вселяли уверенность, что это именно Ирвинг был маниакальным безумцем, который убил свою сестру и покончил с собой под влиянием навязчивой мысли о мести Дьявола в десятом поколении...

— О, разве я не знаю об этом! — Паркер приложил ладони к щекам. — Меня бросает в дрожь от воспоминания о том, что я говорил тебе и как я смотрел на тебя. Нет, честно, я законченный осел, Джо!

— Я не относился бы к этому так трагически... — Алекс говорил совершенно серьезно. — Думаю, что ни один полицейский в мире на твоем месте не поступил бы иначе. Вы связаны законами, методикой расследования, то есть тем, что мы называем уликами и доказательствами. А тем временем я все больше начинаю верить, что такие вещи, как доказательства, отпечатки пальцев и тому подобное, в наше время больше нужны умным убийцам, чем полиции. Убийца всегда имеет то поразительное преимущество перед полицией, что он располагает неограниченным временем для того, чтобы обдумать и испытать свой метод, а мы можем рассчитывать лишь на его ошибки и неточности. В этом случае убийца не совершил ни одной ошибки, ни одной неточности и был настолько убежден в своей безнаказанности, что пригласил меня в качестве свидетеля, когда совершил убийство! Ты понимаешь это, Бен? Этот человек только одного не принял во внимание: того, что я заранее был готов к фальшивым доводам и фальшивой видимости. Иначе он никогда бы не устраивал всех этих фокусов перед убийством. И проделывал он их лишь потому, что хотел, чтобы интеллигентный представитель закона оказался на месте преступления и сделал бы те выводы, которые он ему навяжет. А поскольку он сумел расположить мнимые доказательства так, что они предоставляли абсолютно всем идеальное алиби, то смерть Патриции, равно как и Ирвинга, должны квалифицироваться как проявление маниакальности последнего, а он, Томас Кемпт, после вскрытия завещания Элизабет Эклстоун стал бы владельцем — к своему изумлению, конечно! — всего огромного состояния Эклстоунов...

И здесь таился слабый пункт его плана. Дело в том, что Кемпт (как я тебе позже подробно объясню) преднамеренно постарался, чтобы я оказался свидетелем или скорее слушателем того выстрела. Когда мы ворвались в комнату Ирвинга, кровь, вытекающая из раны, как раз начала застывать. Это автоматически наверняка исключало в качестве убийц Джоан Робинсон, Николаса Робинсона и сэра Александра Джилберна, которые не расставались со мной в течение нескольких часов, следовательно, никаким

образом не могли оказаться в комнате Ирвинга. После дальнейших допросов выяснилось, что никто из остальных домочадцев не находился вблизи дома в момент убийства. Ближе всех были Синди и доктор Дюк, но они имели железное алиби в лице садовника, о присутствии которого поблизости даже не подозревали. Из его показаний вытекало, что они находились в лесу, когда услышали выстрел. Значит, они тоже не могли убить Ирвинга. А в связи с этим вся таинственность поведения Синди, ее ночное отсутствие и моления в гроте получали простое и ясное, хотя несколько деликатное объяснение, которое, я полагаю, не стоит обсуждать. Остались у нас лишь Агнес Стоун и Томас Кемпт. Он: потенциальный наследник богатства Эклстоунов, она — лицо, которое легко могло отравить Патрицию Линч, а кроме того, единственный человек (кроме Джилберна), который мог сообщить Кемпту, что:

а) Джоан Робинсон лишена наследства, при условии, если у нее не будет детей;

б) Джоан Робинсон хотела иметь ребенка, но она никогда не сможет его иметь.

Первый факт был известен Агнес как свидетельнице завещания, второй — как доверенному лицу, которое делало Джоан уколы, когда та проводила в Норфорд Мэнор курс лечения против бесплодия. Этому, впрочем, следует приписывать то счастливое для Джоан стечение обстоятельств, что ей не была уготована судьба ее отца и тетушки. Она выбыла из игры как конкурент на наследство.

Все это я начал окончательно понимать только во время допросов. Я понял это еще лучше, когда увидел на столе Ирвинга ключ от его комнаты и когда мы нашли в ящике стола эти деревяшки с резьбой дьявольских копыт, а в террариуме ключ номер два от комнаты Патриции.

Убийца дал нам в руки все доказательства, подтверждающие, что Ирвинг убил свою сестру и себя самого. Одновременно он создал такую ситуацию, в которой, на первый взгляд, ни он сам, ни кто-либо другой не могли совершить это убийство. В результате он был настолько уверен в наших выводах, что пожалуй, даже в минуту смерти от руки нашего неоценимого Джонса он так и не понял, как вышло, что такой идеальный план провалился...

— Если бы не ты... — начал Паркер.

— Ба, если бы не я! Но ведь он сам меня сюда пригласил! Дай мне, впрочем, закончить. Помнишь, я говорил, что в моем подсознании застряли два факта, которые меня тревожат и которые как-то не согласуются с окружающей их обстановкой. Когда я вспомнил о них во время допросов, я уже был уверен, что это Кемпт, но по-прежнему не мог детально все сопоставить. Так вот, первое смутное ощущение, которое меня раздражало, возникло утром, когда мы с Джилберном приехали, узнав о том, что портрет снова перевернут. Тогда Кемпт сказал нам, что он как раз шел искупаться в бассейн. А ведь он одет был в халат и пижаму. Разве кто-нибудь в мире идет купаться в пижаме? Вторично я испытал такое же чувство, когда после выстрела вбежал на террасу, споткнулся и оглянулся. И вот тогда я увидел Кемпта в плавках и в расстегнутом развевающемся халате, бегущего за Николасом и путающегося в складках этого халата. А ведь было бы совершенно естественным на ходу легко сбросить с плеч мешающий бежать халат...

Но что это могло значить? В первый момент у меня возникло неясное предчувствие, что я нахожусь на шаг от истины. Казалось — еще секунда и я все пойму. Когда Агнес Стоун показала, что Ирвинг сошел вниз после ухода Кемпта в бассейн, я уже знал, что она его сообщница. Ее показания

мог подтвердить только покойный Ирвинг. А ведь оно создавало абсолютнейшее из абсолютных алиби для Кемпта. Она сама тоже не могла убить, и хотя в момент выстрела находилась вне поля моего зрения, но просто не успела бы вбежать наверх... И хотя в убийстве был заинтересован один лишь Кемпт, однако без ее помощи он не мог бы совершить ни одного из двух убийств таким образом, каким они были совершены. Но как он совершил второе убийство? А в том, что он совершил его, я был абсолютно уверен. Ведь Ирвинг Эклстоун погиб при таких же неясных обстоятельствах, как и его сестра. Ключ снова находился в комнате, а не в замочной скважине запертой изнутри двери, что даже меня вынудило бы к признанию самоубийства. Погиб он, также не написав ни слова, среди разбросанных книг и записок, мало того, рядом с умершим находилась открытая авторучка. Он условился со мной о встрече в четыре часа, пригласил меня в дом, он был влюблен в свою работу и рассказал мне о своих издательских планах на ближайшее время и на будущее. Если он сошел вниз и спросил, находится ли его дочь поблизости, как показывала Агнес, то мог задать такой вопрос исключительно для того, чтобы избежать ее присутствия в момент, когда собирался совершить самоубийство. Почему же он совершил его тогда, когда она уже появилась здесь, вместе с нами всеми, и он прекрасно видел ее из окна своей комнаты? И почему эти деревяшки с вырезанными дьявольскими копытами были влажными? Когда и зачем их опускали в воду? Они почти высохли, это правда, но дерево сохраняет влагу, или, вернее, ее следы, очень надолго. И тогда я подумал о Кемпте и о бассейне. Но ведь Кемпт находился рядом со мной, когда прозвучал выстрел...

И тогда мне пришла на ум цитата из Парменида: «Не допускайте, чтобы привычка, возникшая из повторяющегося опыта, направила вас на путь, где средствами познания служат слепой глаз и ухо, вторящее звукам, но пытайтесь с помощью разума...»

И я попытался пересмотреть все «при помощи разума». Я принял за аксиому, что Ирвинг Эклстоун не совершал самоубийства, несмотря на то, что все, казалось, подтверждало обратное. Если в момент выстрела никого не было дома, кроме него, значит, он погиб раньше.

И вдруг у меня открылись глаза. Мне оставалось только установить, где находились домочадцы, а потом обдумать все возможности этой пары. В моей теоретической предпосылке точно было одно: если Ирвинг погиб раньше, то он не мог погибнуть намного раньше, самое большее на несколько минут, ибо в противном случае мы нашли бы убитого с явными признаками смерти. Как тебе известно, трудно установить, погиб человек три часа назад или три с половиной часа назад, но значительно легче установить, погиб ли человек минуту или полчаса назад.

Но как это случилось? И кто выстрелил, когда мы услышали выстрел? Выстрелить могла только Агнес, так как никого, кроме нее и Ирвинга, в доме не было. А могла она выстрелить только тогда, когда увидела нас и Кемпта, — тогда она вошла в комнату старой леди и... тут же выбежала на террасу, указывая на окно Ирвинга. Расстояние, конечно, сделало невозможным определить точное место выстрела внутри дома, а ее убедительный указывающий жест и невероятность предположения, что медсестра, которая возится на террасе у больной и входит зачем-то на секунду в ее комнату, может именно в эту секунду выстрелить, выбежать и указывать в другое близкое место, — довершили дело. И тут я совершил первую ошибку. Когда я со всей очевидностью понял, что это единственная возможность, первой мыслью, которая появилась, была мысль обыскать комнату старой дамы для того, чтобы найти место, куда попала пуля. Конечно, это должно было быть дерево: значит, шкаф или кровать... Я думал, что Агнес

заранее откинула матрас, выстрелила снизу в толстую деревянную кровать, одним движением поправила постель, спрятала оружие под фартуком и выбежала в полной уверенности, что никто возле нее не остановится и никто не будет ее обыскивать... И, конечно, я ничего не нашел. Тогда я понял, что такой предусмотрительный убийца, как Кемпт, подумал о такой важной мелочи. Разумеется, заряд был холостой. Нужно было всего лишь произвести приглушенный выстрел из глубины дома. И вот Агнес, которая находилась на террасе, направила все наше внимание на то место, откуда якобы прозвучал выстрел. А мы, послушные ей и этому внушению, обречены были бежать в указанное место, то есть в кабинет Ирвинга, бороться с тяжелой дверью, что заняло несколько минут, а потом войти и увидеть его с пистолетом в руке, умершего в одиночестве, в пустом доме в окружении доказательств его вины, которые указывали на него как на убийцу сестры и тихого безумца.

Но тут же возникли следующие вопросы.

1. Что Агнес сделала с оружием, из которого стреляла? Не могла же она и дальше держать его при себе, так же как не могла спрятать где-либо дома, потому что если бы мы его нашли, пошатнулась бы столь идеальная инсценировка самоубийства.

2. Что случилось со вторым ключом? Ведь если Агнес и Кемпт убили Ирвинга, то должен был существовать ключ, которым они заперли дверь его кабинета после убийства. Что с ним случилось? Не могли же они держать его при себе, так же как и не могли спрятать дома, из-за боязни обыска, во время которого мог быть найден ключ и тогда бы провалилась версия о самоубийстве, а следствие встало бы на путь, катастрофический для убийц. На то, чтобы его где-то закопать или надежно укрыть, у них было всего несколько минут времени. Я сомневался, что они его зарыли в землю, так как должны были опасаться полицейской собаки, которая легко бы его обнаружила. Полиция, в конце концов, могла бы найти ключ в любом месте на территории дома. Стало быть, где же он?

3. Где глушитель? Пистолет Ирвинга Эклстоуна всегда находился в незапертом ящике, и каждый мог войти, зарядить его, направиться в кабинет Ирвинга, выстрелить ему в голову, вытереть отпечатки пальцев и вложить пистолет умершему в руку. Но это убийство было совершенно невозможно без применения глушителя. Норфорд Мэнор расположен на возвышенном месте и окружен лесом. Кто-нибудь незамеченный мог бы находиться поблизости и услышал бы два выстрела — более ранний и более поздний. Тогда полиция стала бы задумываться и должна была, рано или поздно, понять, как это случилось. Поэтому для убийства необходимо было использовать глушитель, и этот глушитель должен быть вместе с ключом незаметно спрятан так, чтобы никто никогда не мог их найти.

На первый вопрос: что Агнес сделала с оружием? — ответ пришел быстро — именно поэтому Кемпт неуклюже бежал в халате, отставая от всей группы, чтобы: во-первых, иметь возможность спрятать в его складках револьвер, который Агнес передала ему, когда вбежала в холл, но не побежала наверх, вынув этот револьвер из-под фартука. Во-вторых, халат как бы естественно задерживал его бег и, таким образом, объяснял, почему Кемпт отстал от нас, хотя был молодым и тренированным мужчиной. Это ясно, потому что если б он влетел в холл вместе и Николасом или со мной, то никак не мог бы взять на бегу у Агнес револьвер, оставаясь никем не замеченным. А когда это произошло именно так, как произошло, Кемпт спокойно и лицемерно сделал вид, что забежал в свою комнату и оттуда взял этот револьвер. Потом хладнокровно, на наших глазах, он перезарядил его заново, якобы для того, чтобы вместе с нами бороться с укрывшимся

в доме неизвестным убийцей. Таким образом, следы второго выстрела исчезли.

Ответы на вопросы второй и третий: что случилось с глушителем и с ключом, были идентичны. Если удастся найти глушитель и ключ, тогда все дело будет выяснено. И здесь мне помогли эти деревяшки с резьбой дьявольских копыт, эти влажные деревяшки. Я подумал, что убийца ведь и эти деревяшки должен был бы все время держать где-то в укрытии, не считая того времени, когда он использовал их для нанесения следов. Если бы полиция обнаружила их после смерти Патриции Линч или если бы кто-нибудь случайно их заметил, тогда все дело приобрело бы совсем другое направление. Стало быть, деревяшки необходимо было надежно спрятать. Ни их, ни ключей никогда и никто из прислуги не видел. Впрочем, я знал, что они спрятаны вне дома. Но где? Уже давно не было дождя. А убийца достал их, вероятно, перед самым убийством. И тогда я вспомнил, как кто-то говорил мне, какой замечательный молодой человек этот Кемпт. Лично помогал рабочим строить бассейн и сам его проектировал! Кроме того, Кемпт через несколько минут после убийства направился в бассейн, и мы встретили его выходящим оттуда. Следовательно, он взял и ключ, и глушитель, чтобы спрятать их в каком-то укрытии в бассейне. Это единственное логичное решение, позволяющее понять, почему деревяшки оказались влажными. Впрочем, трудно было бы найти другое место, где он мог бы спрятать их так быстро. Там их не обнаружила бы полицейская собака и никакой самый зоркий глаз. Это было идеальное место, а Кемпт выглядел человеком, который идеально все придумал, и стало быть, должен был найти идеальный тайник для своих злодейских орудий... Ну, и оказалось, что я прав...

— Так... ясно... Но я не понимаю одного: каким образом это преступление, настолько зависящее от времени, буквально от каждой минуты, могло быть так идеально рассчитано? Откуда он знал, что вы должны прибыть именно в это время, а не чуть позже или чуть раньше?

— О, это очень просто. Из окон Норфорд Мэнор виден луг, окружающий Велли Хауз... И хотя это далеко...

— Не хочешь ли ты сказать, что невооруженным глазом...

— Нет. Не хочу. Поэтому я и влетел в комнату Кемпта, чтобы задать ему какой-то банальный вопрос. Я увидел большой, солидный морской бинокль. С его помощью он легко видел нас, выходящих из дома и направляющихся к калитке в каменном заборе по пути, который вел только в Норфорд Мэнор и на преодоление которого мы должны были истратить точно известное ему время, так как он, вероятно, не раз ходил по этой дороге с сэром Александром. А он, конечно, знал, что темп нашего движения будет зависеть от быстроты движения калеки Джилберна. Тогда он, вероятно, начал отсчет времени. Пистолет Ирвинга был уже, вероятно, готов и снабжен глушителем. Агнес уже держала под фартуком револьвер Кемпта с холостым патроном в стволе. Решив, что время пришло, он открыл дверь кабинета Ирвинга, вошел под любым предлогом и выстрелил ему в голову с близкого расстояния, а потом вложил в его руку пистолет, сняв предварительно глушитель и вытерев рукоятку, чтоб не остались отпечатки пальцев. Ключ от комнаты Патриции он бросил в террариум, а деревяшки положил в ящик стола. Потом вынул ключ из двери Ирвинга, положил его на стол, вышел, запер дверь ключом номер два, сошел вниз, сказал ожидавшей его соучастнице, что дело сделано, и направился в сторону бассейна. Там он спрятал в тайнике ключ и глушитель, вышел из воды и направился нам навстречу, а когда Агнес выстрелила, побежал за нами, взяв у нее в холле револьвер, а остальное ты уже знаешь...

— Так... — Паркер в темноте покачал головой. — Все это очень просто.

— Правда? — Джо закурил. Какое-то время огонь спички освещал лица обоих мужчин, усталые, но торжествующие.

— И еще одно... Почему же тогда он сказал, что идет купаться, раз он был в пижаме и в халате?

— Я думаю, что Синди застала его врасплох, встав в это утро слишком рано. Он только закончил переворачивать портрет, при помощи этого швейцарского штатива, когда, быть может, услышал ее... Он, конечно, как и никто в доме, не знал о ее романе с доктором Дюком. И тут он сказал ей, что шел купаться, а я подсознательно зафиксировал эту ошибку в его одежде. Конечно, сам этот факт еще ничего не значил. Но потом он явился дополнительным толчком к моей неуступчивости относительно теории убийства, а не самоубийства.

— Так, понимаю, — Паркер кивнул головой. — И еще одно...

— Что?

— Возьми.

Бен в темноте протянул руку. Джо ощутил в своей руке холодный металлический кружок.

— Что это? — спросил он.

— Боже мой... — Паркер вздохнул. — И подумать только, что человек, который решает такие задачи, не может без фонарика распознать английский шиллинг, держа его при этом в руке!

Джо улыбнулся.

— Я думал о другом... — сказал он.

И действительно, он думал в эту минуту о далекой солнечной стране, где одна красивая девушка, вероятно, давно уже спала в палатке на территории археологических раскопок после тяжелого трудового дня...

Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО
при участии Владимира КУКУНИ.



«Сябрына»: Беларусь — Россия



От редакции

Стало уже доброй традицией ежегодно, при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, один из номеров журнала «Нёман» посвящать литературной дружбе Беларуси и России. За последнее десятилетие на страницах издания увидели свет произведения Валентина Распутина, Новеллы Матвеевой, Владимира Кострова, Юрия Бондарева, Константина Ваншенкина, Василия Белова, Юрия Кузнецова, Владимира Солоухина, Юлии Друниной, Глеба Гробовского, Евгения Евтушенко и многих других российских мастеров слова, чьи имена уже заняли свои места в истории литературы. Нет никакого сомнения, что ее частью станут и произведения тех талантливых поэтов и прозаиков, широкая известность к которым пришла уже в конце XX — начале XXI веков. Сегодня на них в немалой степени лежит ответственность не только за состояние литературы, но и за дальнейшее развитие белорусско-российских взаимосвязей.

Конечно, без прошлого нет будущего. Но и без внимания к молодому поколению, его всесторонней поддержки немыслимо развитие не только культуры, но и человечества вообще. Сегодня у пишущих молодых людей не так уж много возможностей заявить о себе, получить признание. Именно с целью помочь им выйти на следующий уровень творчества, найти новых читателей Постоянный Комитет Союзного государства уже в третий раз проводит конкурс молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы».

Конкурс стартовал в 2012 году, и уже тогда литературные состязания получили широкий отклик у молодых авторов, членов жюри, журналистов и поклонников художественного слова. С каждым годом все больше талантливых молодых людей из России и Беларуси, желающих реализовать себя на литературном поприще, присылают на суд жюри свои произведения.

Участники нынешнего конкурса «Мост дружбы», авторы из Беларуси и России, представили более ста произведений малой литературной формы — рассказы, новеллы, очерки, эссе. Лучших выбирал Экспертный Совет, в состав которого вошли известные писатели, литературоведы, общественные деятели. Предлагаем нашим читателям произведения победителей и участников конкурса, получивших максимальное количество баллов.



Егор КУЛИКОВ
Российская Федерация, Московская область, пос. г. т. Октябрьский

Мухоловки! Мухобойки!

Рассказ

Воскресный базар в селе К… всегда был местом шумным, многолюдным и порой весьма опасным.

В бесконечном потоке людей шныряли карманники. Продавцы втюхивали некачественный товар, а доверху нагруженные машины тихо крались в толпе и легко могли отдавить ногу.

Это выглядело вполне нормально, если в толпе шел один, который нес в мешке визжащего поросенка. И бледный человек, присевший на землю, потому что лишился кошелька, тоже вполне нормально. И кричащий покупатель, обманутый недобросовестным продавцом, — нормально. И торгующиеся на повышенных тонах женщины привычное для этого места дело.

А среди шумной реки людей ловко маневрировали продавцы с доверху набитыми тележками, предлагая чай, кофе, выпечку и шоколадки. В этой же мешанине, на уровне пояса, бегали и пытались заработать пацаны, которые с радостью и азартом перекрикивали друг друга:

— Кукурузка! Свежая кукурузка!

— Колбаса! Кто забыл купить колбасу?

— Свежая рыба: лещ, карась, окунь, толстолобик.

— Квас, чай, кофе, холодный лимонад!

— Пиво. Водка на разлив! Закуска в подарок.

Среди всего этого шума. Среди писка поросят, кудахтанья куриц и криков покупателей. Среди отчаянных возгласов детей — всегда, каждое воскресенье, звучал один и тот же мужской крик:

— Поливалки, выбивалки, мухоловки, мухобойки! Горшки да лейки, воронки и сетки! Поилки для цыплят! Сверла, отвертки, шило и мыло! Нитки, иголки, крючки да леска! Марли, держалки, вешалки… — Казалось, крик этот будет длиться вечно. А кричал дядя Саша, всегда громко и монотонно, словно огромный орг*а*н, у которого заклинило одну из басовых клавиш. Набирал в легкие воздух и во все горло повторял заученную, как мантру, фразу: — Поливалки, выбивалки, мухоловки, мухобойки! Горшки да лейки… — и так далее.

Замолкал он только в те моменты, когда к нему обращались покупатели. Только тогда над людьми нависала относительная тишина. Но как только он заканчивал общаться с покупателем, тут же втягивал воздух и… — ну, вы знаете, что происходило дальше.

Люди, услышав крикливого продавца, расступались в стороны, давая пройти ему и его большой четырехколесной тачке, которую он тащил за собой. В ней же он и хранил поилки, поливалки, выбивалки и прочий товар.

Если выразиться короче, то он был похож на передвижной магазин «тысяча мелочей».

Дядя Саша, который каждое воскресенье кричал громче всех, мужчина довольно крупный. Это и неудивительно, если учесть то, что он, как гужевая лошадь, тащит за собой товар, домашнее хозяйство, девятерых детей, жену и отца-старика.

В суровые морозные дни он обычно кутался в пальто и надевал валенки. А в знойные и жаркие времена снимал футболку и на голову аккуратным квадратиком повязывал носовой платок с узелками по углам.

Все, кто приходил на базар, знали, что обязательно услышат этого продавца-крикуна. Он давно стал таким же нормальным и привычным атрибутом, как, в общем-то, и сам базар. Кажется, он был тут с самого его начала и будет с ним до конца.

Были и те, кому не нравилось, что над ухом орет здоровенный мужик. Но не у всех хватало смелости сказать грубое словцо.

Однако находились и те, кто говорил:

— …поливалки, выбивалки…

— Хватит орать, мужик, — скажет какой-то смельчак. — И без того голова после вчерашнего раскалывается.

— …было бы у тебя девять детей, ты бы не так орал. — И как ни в чем не бывало продолжал: — Мухоловки, мухобойки. Горшки да лейки, воронки и сетки…

Кто-то этого не заметил.

Кто-то с облегчением выдохнул.

А кто-то с жалостью и интересом спросил у прохожего:

— Куда подевался этот, поливалки, выбивалки?..

— Не знаю, — ответил прохожий и пожал плечами.

А с дядей Сашей беда приключилась.

Купил он по дешевке скакунов да запряг их в подводу. Не привыкли кони к такой езде. Им бы седло на спину и в поле.

Накрыло его подводой в ближайшем кювете и надломило позвоночник.

Оказался дядя Саша в больнице, где доктора лишь разводили руками и говорили:

— Вы спрашиваете у нас, будете ли ходить? Мы пока что не знаем, будете ли вы чувствовать ноги. Рентген покажет, а пока что лежите и не двигайтесь.

Рентген показал обширную трещину на позвоночнике в районе поясницы.

— Ходить вы не будете, — сказал доктор после осмотра снимка, — возможно, будете чувствовать ноги и с протезами, кое-как сможете передвигаться по дому. На большее не рассчитывайте.

— Но у меня дети, — взмолился дядя Саша, будто это могло помочь.

— Мы в этой ситуации бессильны, — с холодком ответил врач.

— Но… но… — сказал он и, замолчав, откинулся на подушку, устремив пустой взгляд в потолок.

Доктор еще что-то говорил, но дядя Саша не слушал. Ему хватило того, что сказано. Хватило, потому что самое тяжелое он уже услышал.

В районной больнице все едва движимые и совсем неподвижные пациенты лежали на втором этаже в дальнем крыле.

Просторная палата стала тесной после того, как там установили шесть коек с лежащими людьми.

Кто-то мог ходить лишь с костылями, кто-то, как дядя Саша, не ходил вовсе.

Он как-то пробовал приподняться на локтях, но в спине тут же стрельнуло болью, и он, скривив лицо, ложился обратно, чувствуя, как дрожит тело.

Поначалу он даже встать намеревался. Но врачи и медсестры сказали, что это противопоказано, а после того как дядя Саша сам несколько раз попробовал, то понял, что даже если бы ему разрешили — встать он все равно не сможет. Обычные движения корпусом и те он делал через боль. Куда уж тут встать?..

К нему приезжали жена и дети. Даже старенький отец умудрился выбраться из села и приехать к больному сыну.

— Болит? — с опаской спросил отец.

— Болит.

Сложно говорить в подобных ситуациях. Отец часто усаживался напротив сына, клал ладони на палку и упирался в них подбородком. Смотрел на сына и молчал. Да и дядя Саша не был таким разговорчивым и громким, как по утрам на базаре. Большую часть времени он лежал и смотрел в потолок.

Поначалу от деда и слова нельзя было добиться, но с каждым приездом он все больше и больше рассказывал о делах домашних. Как бы невзначай сядет рядом и говорит вполголоса. Вроде бы сам себе напоминает и тихо так бормочет под нос. Но он чувствовал и видел, как замирает сын на койке. Даже глазами перестает ворочать. Замирает, вслушивается и ловит каждое слово. И в этот момент в пустом взгляде вновь загоралась искорка жизни.

Но как только дед заканчивал бубнить, дядя Саша вновь начинал водить пустым взглядом по сторонам — рассматривая потолок, облупившиеся стены и паутинку по углам.

— Младший, Алексей, вчера «двойку» принес, — говорил дед. — Слава «четверку» схватил по трудам. Максим тоже «четверку» по географии, Вадим «двойку» на «тройку» переправил и пытался доказать мне, что это учительница споткнулась, оттого и оценка кривая вышла. Люба как всегда молодец, ее «пятерки» я давно перестал считать. А остальные вроде бы без оценок.

— Спасибо, батя, — сказал дядя Саша, и слезы навернулись на глаза. Он всегда следил за учебой своих детей, и это, пожалуй, были самые важные новости из дома. — Только вот незачем мне это.

— Как так?

— А что я теперь с этим делать буду? — шепотом, но с явной и нескрываемой злостью сказал дядя Саша.

— Ты это брось! — стукнул дед палкой. — Не говори так.

— Говори, не говори, а встать я не могу. Только обузой буду.

Отец не ответил, но по глазам его было видно, что он согласен с сыном.

Мало-помалу батя стал чаще выбираться в больницу, раскачался и невольно поправил здоровье.

Недавно ему семьдесят шесть минуло, но выглядел он бодро. Сухие жилистые руки крепко сжимали коричневую палку. Тонкая льняная

шляпа покрывала блестящую лысину с седыми волосами над ушами и на затылке.

За прошедшие годы дед сдал позиции и часто болел, но беда сына заставила его повременить с хандрой и пересмотреть взгляды на старость.

— Сегодня Митя пришел домой пьяный. Мать смотрит на него, а в глазах муть. Она кричит, а ему все равно. Здоровый лоб. Стоит и не шевелится. Она снова в крик, а он огрызаться с ней стал. Я не выдержал, тоже крикнул, так он как глянул на меня своим бешеным взглядом. Я думал, прям там и выхвачу оплеуху. Перед выездом проспался. Все хорошо стало. Стыдится в глаза смотреть и все ходит по дому, тыняется из стороны в сторону.

Макс и Славка «двойки» притащили. Один по математике, другой по химии. Как обычно, виноваты учителя. Даже младший твой, Лешка, «тройку» умудрился принести по чтению. Я ему говорю: как так? А он только смотрит и глазами хлопает. А что я ему сделать могу? — с досадой говорил дед.

За прошедший месяц дед часто приезжал к сыну. Спрашивал о здоровье. Интересовался, нет ли улучшений. Но дядя Саша, с привычно повязанным платком на голове, пустым взглядом смотрел на отца и с болью разводил руками.

Врачи, как и обещали, ничего сделать не могли. Осталось надеяться лишь на чудо. Трещина в позвонке — это не шутки.

Кололи уколы. Мазали кремами. Делали массаж и заставляли пить таблетки.

А результата как не было, так и нет.

Положили в больницу — не мог на локти облокотиться и до сих пор не может. Ни тебе привстать, ни повернуться.

А отец все ездил в больницу и ездил.

И каждый раз он, как противная жена, которая недовольна своей жизнью, начинал пилить сына.

— Куда мне, батя? — оправдывался дядя Саша. — Сколько лежу тут, сколько уже вытерпел и съел таблеток, а до сих пор под себя хожу. Да что там под себя. До сих пор сдвинуться не могу.

— А ты пробуй, — стоял на своем отец.

— Не могу. Болит все. Шевелиться больно, говорить больно, дышать и то больно…

— Я тебя не таким воспитывал.

— А каким бы ты ни воспитал, один черт калека. Куда мне…

Отец пытался разжечь угасающий костер, но видел, что этим методом сыну не помочь.

Но, не в пример дяде Саше, батя его не сдавался и ездил почти каждый день. И с каждым его приездом вести из дома были все хуже и хуже.

— Разбаловались они, — говорил дед. — Все разбаловались! Чтоб покормить скотину, их надо палкой вот этой гнать, — он примерил в жилистой руке свою палку. — Так бы и лупанул одного да второго, чтоб за ум взялись.

— Лупи, — дал добро дядя Саша.

— Куда их бить-то?! Дерзят они мне. И мне, и матери. А мы что? Что мы можем сделать? — смотрел он на сына. — Я ему одно говорю, а он отвернулся и пошел гулять. И куда я за ним? А мать! Она уже осипла орать на этих олухов. Катятся. В пропасть катятся, — заключил дед.

Слушал дядя Саша и кипел. Аж краснел от злости. Всем сердцем понимал, что вся семья в пропасть валится, а помочь не может.

— Старшие вчера набрались как свиньи, а как пришли, спать завалились. Пришлось мне идти кормить животных. Мать плачет. Пропадем мы

без тебя. Пропадем. Скатимся. Далеко скатимся и не воротимся никогда. Не воротимся!

Дед закончил жаловаться, привстал со стула и, не говоря ни слова, вышел из палаты.

В этот вечер дядя Саша впервые за много дней попробовал встать.

Попробовал, стрельнуло в поясницу, он и повалился на кровать. Отдышался немного и опять попробовал. Снова будто кто-то спицей в спину тычет. Откинулся на подушку, вытер пот со лба и сдержал в себе стоны.

В эту ночь он впервые сделал себе массаж. Больно было, но он терпел. Вначале мял шею, затем плечи и грудь, затем спускался к злополучной пояснице и через боль мял бока. Спустя десять минут процедур постельное белье можно было отжимать.

После массажа дядя Саша становился красным и злым, зато спал хорошо.

Не прошло и недели, как начали получаться простые вещи, будь то на локти привстать или повернуться на бок. Правда, все его развороты сопровождались неимоверной болью, но кое-какой результат все-таки был.

Однажды, отец опоздал на последний автобус и вернулся в больницу. Почти до ночи он промывал мозги сыну и с наслаждением смотрел, как тот кипит и бесится.

— Пытаюсь я, пытаюсь… — говорил дядя Саша, — да не выходит ничего.

— Ладно, не хочешь — не надо, — съязвил напоследок дед, — пойду я покемарю. Спокойной ночи, мужики, — обратился он ко всем.

— Давай, дед, — хором ответили больные, которые с нескрываемым интересом наблюдали за отношениями отца и сына.

Свободных коек не оказалось, поэтому деду поставили рядом с палатой четыре стула. Как-нибудь да перекантуется.

— И не так приходилось ночевать, — ответил дед, размещаясь на стульях.

Ближе к полуночи из палаты начал доносится отборный храп шести взрослых мужиков. Дед и сам уже похрапывал, когда услышал скрип койки. И ладно, если бы просто скрипела, но ведь нет. Скрип доносился равномерно и ритмично.

Так человек во сне не ворочается! Да и кому там ворочаться? — подумал дед.

Схватил он палку, открыл дверь и увидел, как его сын раскачивается на кровати.

Грузное и непослушное тело переваливалось с одного бока на другой, пока не остановилось на самом краю, замерев над пропастью.

Отец было кинулся помочь:

— Не тронь, — остановил его сын. — Я сам, батя, сам.

Одеревенелые ноги впервые за долгое время прикоснулись к холодному линолеуму.

Раскрасневшийся и потный дядя Саша до белых костяшек схватился за дуги кровати, удерживая вес на руках.

— Ты что творишь? — проснулся один из соседей. — Нельзя же…

— Мне ходить надо, — едва произнес дядя Саша и вновь сжал челюсть.

Дед стоял в дверном проеме, готовый в любой момент кинуться на помощь сыну. Но в эту ночь помощь не понадобилась. Эта ночь ограничилась только тем, чтобы прикоснуться ступнями к полу. Почувствовать холодный линолеум и поверить в свои силы. Убедиться, что есть еще шанс.

Что все люди ошибаются, и возможно, доктора ошиблись, сказав, что нет никаких шансов. Ведь бывает чудо. Бывает!

С тех пор каждую ночь дядя Саша с раскачки переваливался на бок, хватался за скрипучую спинку кровати и спускал ноги на пол. Пытался подняться, но боль мгновенно опрокидывала обратно. Хотелось закричать, но вместо этого он сжимал челюсти и молчал, потому как соседи спали, пока рядом совершались подвиги.

Дед вновь приехал с неутешительными вестями про расхлябанность и наглость детей. Он специально остался до ночи.

Дядя Саша молча выслушал отца и с новой порцией злости прикоснулся ступнями к холодному полу.

— Пора, — сказал дед и поставил перед сыном табурет.

— Ты чего? — испугался дядя Саша, когда отец отложил палку в сторону и сел рядом. — Ты чего, бать?

— Хватайся, — сказал дед и подставил плечи.

— Ты в своем…

— Хватайся, кому говорят.

Сын послушно, но с опаской положил ладони на отцовские плечи.

— Крепче держись. Повисни. Всем телом висни.

— Я не могу, бать.

— Можешь.

— Мне тебя жалко.

— Висни, сказал, иначе скатимся в яму! — недовольно пробурчал отец, и храп в палате оборвался.

Теперь уже пять пар глаз наблюдали за тем, как отец сидит перед сыном на стуле и ждет, пока тот вцепится, как клещ, в его жилистые плечи.

— Ну!? — не выдержал старик.

Дядя Саша выдохнул и обнял отца за шею, перевалив вес тела на спину бати.

— Держись, — натужно выдавил дед и напрягся.

Ноги его дрожали, и дрожь эта передалась всему телу. Он кряхтел и до крови закусил нижнюю губу. Из ноздрей его, как у разъяренного быка, вырывался воздух.

— Давай… — сам себе сказал дед и медленно оторвался от стула. — Давай…

Казалось, он сейчас надломится. Не выдержит нагрузки, и в палате окажется на одного пациента больше.

Дядя Саша чувствовал сквозь одежду и дряблую кожу старика высохшие, но по-прежнему упругие мышцы.

На искривленном от натуги лице деда сквозь сжатые губы вырвался напряженный выдох. Отец с сыном встали!

Красные от напряжения глаза светились счастьем.

— Пошли, — не останавливаясь и не делая передышки, сказал отец.

Он ногой откинул табурет и сделал маленький шаг.

— Батя, не надо, — скулил на спине сын.

— Иди, кому говорят. Иди.

Сын постарался передвинуть ноги, но боль пронзила поясницу, и он едва удержался, чтобы не расцепить руки.

Дядя Саша чувствовал, как всем своим весом давит на сухое тело отца. Огнем жгло поясницу. Чтобы хоть как-то помочь отцу, он постарался выпрямить ноги. Забрать вес собственного тела с плеч отца.

Совесть мучила намного сильнее, чем поясница. Дядя Саша почувствовал, как стал чуточку выше. Совсем чуть-чуть. На какой-то миллиметр

или, может, меньше — но выше. И тут же услышал, как батя с облегчением выдохнул.

— Давай, — сказал отец, держа руки сына на плечах. — Шагай. — И сам передвинул ноги.

Сын последовал за ним. Он перетащил безжизненные куски мяса и костей, которые именовались ногами, и вновь перенес немного веса с отцовской спины.

— Еще, — натужно говорил старик и делал шаг.

Вся палата с замиранием сердца наблюдала, как огромный мужик висит на плечах у старика. При каждом шаге дыхание в палате замирало. И лишь когда эти двое преодолевали жалкие пять-десять сантиметров, больные облегченно выдыхали.

В первую ночь, когда дядя Саша встал на ноги, они сделали всего четыре шага. По расстоянию они были как один шаг здорового человека.

После процедур дед аккуратно опустил сына на кровать, взял палку в правую руку, а левой схватился за поясницу:

— На сегодня хватит. Пожалуй, я пойду прилягу. — Согнувшись, он покинул палату.

В эту ночь тишина стояла дольше обычного. И когда спустя час все вновь погрузились в сон, из палаты начал доноситься храп пяти человек и одно тихое и неприметное всхлипывание.

На следующую ночь дед вновь, как часовой, оказался возле кровати сына.

— Пора, — сказал он одно слово.

И снова присел на табурет перед койкой.

Вновь палата замерла в томительном и сочувственном ожидании.

— Батя, не надо, — отнекивался сын, но послушно хватал отца за плечи.

— Не первый раз тебя ходить учу, — отмахнулся дед. — Малым научил и сейчас выучу.

На все уговоры сына отец был неприступен как стена. Он просто брал и тащил за собой обмякшее тело.

— Ставь… не спеши… обопрись. — Батя говорил короткими фразами, чаще всего лишь одним словом. Он выкрикивал его и тут же плотно сжимал губы, краснея от напряжения.

Спустя неделю совместных усилий сын стал увереннее, а отец посерел и согнулся.

Спустя еще неделю дядя Саша мог сам вставать с кровати и карабкаться по стеночке, как альпинист над пропастью. Такими темпами он уже сам ходил в туалет.

Батя, увидев, что больше нет нужды в его помощи, уехал из больницы.

А спустя два месяца его не стало.

— Научил-таки второй раз ходить, — улыбался дед. Это были его последние слова.

И даже сегодня, в воскресное утро, когда солнце как бельмо висит над горизонтом, в гуще людей, среди криков продавцов и животных, среди скрипа бедных велосипедов и несмазанных тачанок, среди воплей маленьких торгашей и ругани противных теток на весь базар разносится громкий мужской голос:

— Поливалки, выбивалки, мухоловки, мухобойки! Горшки да лейки, воронки и сетки! Поилки для цыплят! Сверла, отвертки, шило и мыло! Нитки, иголки, крючки да леска! Марли, держалки, вешалки…



Алёна ПОПКО
Республика Беларусь, Брестская область, Березовский район, а. г. Соколово

Чудной часовщик, или Однажды в Коссово

Рассказ

Каждый мальчишка в детстве грезит о захватывающих приключениях, подобно средневековым рыцарям и храбрецам-капитанам неуловимых морских кораблей. Но рано или поздно юные мечтатели начинают взрослеть, безвозвратно утрачивая билет в страну сказочного Детства.

Дети — весьма интересный народ. Именно им открыто то, что сокрыто от глаз опытных взрослых. В облаках им мерещатся белогривые лошадки, в лесах — коварные шутники-лешие, а беспорядок в своей комнате приписывают любящему забавы домовому. Несмотря на то, что весельчак-домовой всего лишь вымысел, ваши чада из кожи будут лезть, чтобы доказать обратное. Глядишь — и сам начинаешь сомневаться: может, домовой все же существует?

Так вот, мальчишка Ян обладал всеми упомянутыми качествами, что нередко являлось причиной недоразумений в общении с родителями. «Когда же ты повзрослеешь?» — сетовала мама, когда Ян возвращался из школы с протертыми брюками на коленках и наружу выпущенной испачканной рубахой.

Ян лишь пожимал плечами: рос он довольно-таки быстро, а вот взрослеть особо не спешил. Беззаботное Детство, прячась за спиной, втихомолку посмеивалось над его чудачествами. К озорному кудрявому мальчугану оно прикипело всем сердцем и расставаться с ним не желало.

На время летних каникул родители Яна решили сложить с себя полномочия в воспитании чада и отправили юного разбойника к бабушке в небольшой городок Коссово. Высвободившись из душных «Жигулей», Ян с интересом стал наблюдать за разгорающимся рассветом: пробудившееся солнышко купалось в душистых колосьях. Умывшись в целебной утренней росе, в ритме плавного вальса оно стало подниматься, заливая румянцем небесный купол. Птицы, встрепенувшись, запели. Округу наводнили жужжащие пчелы и пестрые бабочки. Мальчик во все глаза смотрел на прорезающиеся в туманной дымке стройные березки и широкое озеро, как вдруг мама ухватила его за руку и повела к бабушке.

Ян недовольно насупил густые брови, исподлобья разглядывая несимпатичную старушку, у которой его намеревались оставить родители. Но несмотря на его кислую мину, выцветшие глаза на морщинистом лице Ольги Алексеевны добродушно улыбнулись внуку.

— С трудом доехали, — поделилась невестка своими переживаниями со свекровью. — Говорила вашему сыну, что нужно купить новую машину. Поговорите с ним, Ольга Алексеевна. Вас он наверняка послушает.

— Поговорю, Риточка, поговорю, — засуетилась женщина, запихивая торчащие на висках седые волосы под цветастую косынку. — Вы, наверно, с дороги проголодались. Садитесь за стол. Я вот щи сварила…

Ее добродушный лепет прервал глухой рев двигателя, влетевший в дом через распахнутое настежь окно.

Рита спохватилась:

— Некогда. У нас самолет скоро. Вы уж за Яном присмотрите. А ты, — Рита пригрозила сыну кулаком, — попробуй только ослушаться бабушку! Я тебя в интернат сдам.

Ян испуганно захлопал густыми, как у девочки, ресницами.

— Рита, зачем ты так? — вступилась за внука бабушка. — Он ведь ребенок.

— Только и знает, что хулиганить, двоечник несчастный! Хотя бы одну книгу за лето удосужился прочесть! Смотри у меня! — Сухо распрощалась со свекровью и упорхнула за калитку.

— Славка, сынок, как ты? — успела прокричать на ходу Ольга Алексеевна широкоплечему мужчине, который садился за руль.

— Все хорошо, мама. На море едем, — бросил тот на ходу.

Пока Ольга Алексеевна доковыляла до калитки — «жигуль» вырулил на дорогу.

Переведя дыхание, седоволосая женщина осенила крестным знамением машину сына, ныряющую за крутой поворот.

— Уехали… — с горечью произнесла она.

— Уехали! — радостно прокричал Ян, не веря своему счастью.

Наконец-то! Грядут кардинальные изменения в жизни. Да здравствует лето! Да здравствует свобода и самые яркие в его жизни КАНИКУЛЫ!

Яну не составило труда найти в Коссово новых друзей. С высоким и тощим, как осиновое бревно, Ромкой он быстро нашел общий язык и даже прозвал «Веснушкой». Тот не обижался. Шутил, веснушки — подарок солнца, который достается не каждому. Хотелось Яну также подружиться и с русоволосой красавицей Веркой, младше его на год. Но рассудительная девочка с взрослыми не по возрасту глазами, кроме своих книг, ничего и никого не замечала.

— Ботаничка! — подтрунивал над ней Ян.

Та лишь изредка поднимала глаза на городского задиру, морща прелестный лобик.

Ян и Ромка быстро навели справки о местных достопримечательностях и, разузнав, что в округе находится старинный замок, стали проводить там все свое свободное время. Карабкались по руинам туда-сюда, вырядившись в древних индейцев: широкие штаны, подвернутые выше колен, небрежно выпущенные поверх пестрых рубах, хмельно качающиеся на ветру перья, наспех приклеенные к шляпам.

Верка, не вытерпев шума, решила вмешаться:

— Нельзя ли немного тише? Мешаете мне читать.

Ян, гримасничая, расхохотался ей в лицо и с важностью полюбопытствовал у Ромки:

— Веснушка-индеец, что делает здесь эта бледнолицая поганка?

— Сам ты поганка! — Верка сердито топнула ножкой, смахнула с лица растрепанную прядь волос.

Вдруг на ее загорелом лице промелькнула улыбка. Более жалких и чумазых дикарей с измазанными сажей лицами ей не встречалось.

— Как ты посмела сунуться на нашу территорию? — возмущенно отчеканил индеец Ромка, выхватил стрелу из потертого рюкзака и угрожающе зарядил лук.

— Между прочим, это графский замок, а вы устроили здесь балаган, — невозмутимо произнесла Верка.

— Графский? — недоверчиво прищурился Ян, устремив свой взор на обожженный седыми веками дворец, застывший посреди широкого поля, усеянного полевыми цветами. Ничего сверхъестественного в нем он не нашел. Разве что огромное количество остроконечных пустых окон на фоне грязно-персикового фасада, обрамленного четырьмя зубчатыми башнями, готовыми вот-вот взмыть в небо…

— Да, роскошью здесь совсем не пахнет. И зачем столько окон? — удивился Ян.

— Граф Вандалин очень любил солнечный свет. В замке даже была традиция: украшать одну из комнат живыми цветами, когда она наполнялась первыми лучами солнца, пояснила Верка.

— У твоего графа, видимо, не было занятия важнее. Вот он и выдумывал всякие глупости! — фыркнул Ян. — Пойдемте лучше графские сокровища искать.

Верка обиженно надула губки, у верхнего края которых дрогнула маленькая родинка.

— Стало быть, мы сейчас эти… как их, — почесал затылок Ромка, силясь вспомнить выскользнувшее из памяти слово.

— Сыщики! — воскликнул Ян, жмурясь от яркого света, бьющего в глаза.

В траве у замковой стены что-то блестело.

— Золото! — заорал Ромка и ринулся к замку. Ян и Верка помчались следом.

Но их ожидало разочарование. Вместо желаемого золотого слитка в руки к Яну попали карманные часы. Обычная вещица… Ян отер их ладонью от песка. На крышке находки, пылившейся у подножья замка, проглянулся золотой полумесяц с расписным золотым крестом в центре, а над ними — нашлемник с торчащими павлиньими перьями.

— Это же графский герб! — восторженно воскликнула Верка.

— А вдруг внутри что-то ценное? — блеснул догадкой Ромка.

— А если это волшебные часы? — разыгралось Веркино воображение. — И они могут выполнить любое желание. Чего бы тебе хотелось больше всего?

— Встретиться с твоим хваленым графом, — скорчил гримасу Ян и открыл крышку. — Так я и поверил в ваши россказни!

Ромка и Верка уткнулись любопытными носами в раритетную вещицу с молчащим, покрытым ржавчиной часовым механизмом. Ян крутанул стрелки часов вперед. Тщетно. Потом назад. Сделав несколько оборотов, они остановились.

— Старье, — с досадой произнес Ян и швырнул часы в замковую стену.

Звонко ударившись, они нырнули в густую траву, и вопреки ожиданиям ребят, их стрелки пришли в движение.

Внезапно яркий свет, подобно вспышке молнии, ослепил округу. Какая-то неведомая сила подняла их и, повертев в воздухе, швырнула вниз.

— Ого! — Зрачки Яна расширились от удивления. — Смотрите!

Он ткнул пальцем в стеклянный пол-аквариум, под которым плавали живые рыбки.

— Золотые! — воскликнула Верка, не отрывая восторженных глаз от чудных созданий в золотистых чешуйках.

Экзотические рыбки весело носились в бирюзовой воде.

— Откуда? — опешил Ромка.

Ребята вскочили на ноги и огляделись. Они находились в роскошном зале, зеркальном и просторном, увешанном хрустальными позолоченными

люстрами. Остроконечные-луковичные окна были облаченны в сверкающий пурпур, а на ажурно выточенных стенах играли солнечные зайчики… Комната благоухала сладким ароматом, который источали мохнатые бутоны белых роз.

— Мы попали в прошлое! Часы оказались волшебными, — озвучила общую догадку Верка.

— Что же теперь делать? — развел руками Ромка. — Может, нам это снится?

Верка покачала головой.

— Что ж, самое время устроить экскурсию по замку, — оживился Ян и, подбежав к двустворчатой двери, резко потянул ее на себя.

На цыпочках ребята побрели по широкому коридору, залитому солнечным светом. Вдруг из-за поворота вынырнула черная фигура лакея, с широким подносом в руках. Ребятам пришлось резко свернуть на узкую лестницу без перил. Мужчина с подносом прошел мимо, а за ним протянулся теплый запах круассанов и ароматного кофе.

— Кажется, не заметил, — вздохнул с облегчением Ромка, вытирая капельки липкого пота, проступившие на лбу.

— Не будь трусом, Ромка. Впереди нас ждут великие открытия, — подбодрил его Ян и оперся на стену.

Стена издала музыкальный звук. Мальчишка, испугавшись, отскочил. Но звук успел долететь до ушей лакея. Обернувшись, тот крикнул:

— Воры в замке! Стража!

Пока он надрывно кричал, ребята бросились бежать. Но Ян успел ухватить круассан с графского подноса. Однако скрыться в огромном замке оказалось не так-то просто. Сотня дверей… Ромка распахнул одну из них наугад — и застыл на месте.

Пан Вандалин, обсуждающий с молодым человеком в элегантном сюртуке какой-то важный вопрос, сурово покосился на незваных гостей. Его верный охотничий пес, покорно возлегавший у ног, слегка привстал и навострил уши. Стражники преградили ребятам путь. Яну ничего не оставалось, как на ходу проглотить круассан, который тотчас наградил его икотой.

— Вы прервали важную аудиенцию, господа. Стало быть, вы по не менее важному вопросу, — разрушил леденящую тишину графский баритон.

— Да. Мы по важ-но-му воп-ро-су, — густо краснел Ян, не переставая икать. — Мы с моим другом, Веснушкой-Ромкой, мечтаем стать рыцарями.

— Я вижу, — сухо проронил пан Вандалин, с любопытством разглядывая диковинные одежды хулиганов.

— Возь-ми-те нас-с на служ-бу.

— Чтобы вы распугали мне весь честной народ? Лицо моего замка — его люди. А я не хочу, чтобы у моего дворца было такое чумазое лицо.

— От вашего замка все равно останутся только руины! — раздосадовано проворчал Ян. Икота, на удивление, прошла.

Верка гневно толкнула его в плечо.

Граф не моргнул глазом:

— Хочешь сказать, что творение моего архитектора, пана Францишка, канет в Лету?

Сидящий напротив гость в элегантном сюртуке приподнялся и, склонив голову, произнес:

— Уверяю вас, пан Вандалин, эти стены нерушимо простоят много веков.

— Может, выпороть их, ваша светлость, за подобное неуважение? — предложил кто-то из стражников. — Видно же, что воришки.

Граф вздернул густую бровь:

— Весьма справедливое решение.

— Пан Вандалин, простите нас, — вмешалась в разговор Верка. — Мы не хотели вас обидеть. Да, мы тайком пробрались в замок. Но лишь для того, чтобы взглянуть на золотых рыбок, которыми славится ваше имение.

Ее слова смягчили настроение графа, но проучить невоспитанных смельчаков он все же решил: отправил их трудиться на свои обширные поля.

Стражники вывели ребят из утопающего в роскоши замка, провели по английскому парку с экзотическими растениями.

— И что теперь? — развел руками Ромка, оглянувшись.

Стражники не выпускали их из виду, шагая следом.

— Если бы у кого-то не был такой длинный язык… — покосилась на Яна Верка.

— Но ведь я сказал правду! — стоял на своем Ян.

— Твоя правда задела графа. Думать нужно, прежде чем говорить, — упрекнула Верка.

— Домой хочу, — заныл Ромка, млея под солнцем.

Ян стянул с головы шляпу с гусиными перьями и выбросил прочь.

— Я и сам с радостью вернулся бы к бабушке, — произнес он. — Лучше слушать ее причитания, чем бродить невесть где. Знаете, какой она вкусный яблочный пирог печет! И вареники…

— Нужно снова попасть в замок. Может, там мы найдем разгадку, — шепнула Верка.

— Так тебя туда и пустят! — ухмыльнулся Ян.

Величественный замок с зубчатыми верхушками остался позади. Он будто встрепенулся ото сна: повеселел, посветлел, утопая в лучах солнечного света… Террасный парк с фонтанами идеально вписывался в его историческое прошлое. Имение графа гордо возвышалось над Коссовской землей и благоухало заграничными розами в оранжереях.

Ребята оплатили свою повинность графу: проработали целый день под палящим солнцем. К вечеру они валились с ног от усталости.

Ян уставился на кровоточащие мозоли на своих ладошках. В его глазах застыли слезы.

— Сам виноват, — посочувствовала Верка и, оторвав лоскут ткани от своей косынки, перебинтовала егоу больные руки.

— Себе оставь.

— В этом нет необходимости. Мои руки приучены к труду. А ты, как оказалось, неженка.

Начинало смеркаться. Вот только куда податься, если у них здесь ни родных, ни близких? К счастью, их приютила какая-то старушка, решив, что дети потерялись. Она поставила на дубовый стол чугунок с картошкой, которую ребята стали с жадностью уплетать за обе щеки, запивая козьим молоком.

— Тяжелая у вас работа, — проронил Ян, взглянув на жилистые руки старухи, покрытые мозолями.

«Совсем, как у меня и… у моей бабушки», — подумал он про себя.

— Ничто в жизни просто так не дается, сынок. Чтобы иметь свой хлеб, нужно немало потрудиться.

Лицо старушки просветлело.

«Значит, моей бабушке также нелегко хлеб в жизни достается, — вздохнул Ян. — А я ее не слушал. Как же плохо я поступал».

Ромка равнодушно клевал носом. Яну казалось, что сон вот-вот сморит и его, но звонкий голосок Верки заставил встрепенуться.

— Бабушка, а почему эти места Коссовом назвали? Косили много?

— Много косили, детка. Спина гудела, ног не чувствовали. Луга и пастбища у графа во какие, — старуха широко развела руками, — огромные.

— Но ведь траву косят везде. А Коссово только одно!

— Ты права, дочка, — прищурилась старуха. — Поэтому поведаю тебе то, что мне еще моя бабка рассказывала. Той, в свою очередь, ее… Так вот. Давным-давно это было. Жил в нашей окрестности славный кузнец по имени Косов. Косы и сохи ковал он на совесть. Но наступило время тяжелое — враг пришел на землю нашу. Решил тогда Косов собрать сохи да косы и перековал их в могучие мечи. Восстал народ и победил. А землю нашу именем того славного кузнеца назвали.

Ян сонно зевнул. Сон, как-никак, брал верх. Во сне его воображение неустанно рисовало то бесстрашного кузнеца-волота, воспетого в местных легендах, то сурового графа. Проснулся мальчишка от звонкого крика петуха за окном.

— Нужно проникнуть в замок,— напомнила Верка, собирая растрепанные волосы в пучок на затылке.

Ребята поплелись к замку и притаились у широкой изгороди с противоположной стороны, зарывшись в густой кустарник. Там, за воротами, раскинулся прекрасный сад с подрумяненными на солнце райскими яблочками.

Желудок Ромки предательски забурчал, но он не подал вида.

— Охрана здесь, наверно, не хуже, чем в замке, — произнес он.

— Это точно, — согласился Ян.

Вдруг одно из яблоневых деревьев зашевелилось. Ребята напрягли зрение и увидели чумазого мальчишку в лохмотьях, вынырнувшего из густых веток. Он соскочил на землю и принялся собирать упавшие яблоки.

Поблизости залаяла собака. Мальчишка в страхе оглянулся, но вместо того чтобы убегать, продолжал жадно запихивать в широкие карманы оставшиеся яблоки. Затем бросился к изгороди, но не смог перескочить, запутался в ней своими лохмотьями и повис в метре от земли.

— Стой, ворюга! — прорычал стражник, спустив с цепи алчного пса.

Мальчишка неуклюже барахтался как в невесомости. Вот-вот злобная собака ухватит его. Но Ян, Верка и Ромка протянули ему руку помощи, выбежав из своего укрытия. Графский пес зло скалился им вслед, вцепившись лапами в железную изгородь.

Ребята укрылись в лесу. Мальчишка-найденыш диковато поглядывал на ребят, прижимая к груди наворованное богатство.

— Как тебя зовут? — спросил Ромка.

— Богдан, — произнес тот, краснея.

— Знаешь, как проникнуть в замок? — Ян подошел к нему.

— А вам зачем? — блеснул воришка черными как смоль глазами. — Решили у пана несколько золотых слитков прихватить?

— Нет, мы ищем кое-что другое. Видишь ли, мы не из твоего времени. Мы нашли волшебные часы, а потом я загадал глупое желание, и мы оказались здесь. Но нам очень хочется вернуться домой. К родителям. Понимаешь? — пояснил Ян.

Воришка равнодушно захлопал ресницами.

— У тебя ведь есть родители? — спросила Верка.

Этот вопрос привел мальчишку в затруднение. Помедлив, он пожал плечами.

— Отроду их не видел. Я сам по себе.

— Дети не могут быть сами по себе. У них кто-то должен быть из взрослых, — не разделяла точку зрения мальчишки Верка.

— У тетки живу, — отмахнулся тот.

— А если бы у тебя были мама и папа, ты бы хотел их увидеть? — не отступала девочка.

Богдан призадумался.

— Хотел бы… — протянул он тоскливо. — Ладно, помогу вам. Есть подземный ход, — прищурил он свои хитрые глазенки. — В него можно проникнуть через железный люк. Я нашел его несколько месяцев назад. Он ведет в замок.

— Ты уверен? — засомневался Ромка.

— А как я, по-вашему, лакомлюсь у повара графскими круассанами?

— Что ж, дождемся ночи… — решил Ян.

Богдан принялся за обе щеки уплетать наворованные в графском саду яблоки, распаляя тем самым аппетит у Ромки. Но держался Ромка молодцом.

— На, погрызи, — протянул ему яблоко воришка. — Голод не тетка.

Ромка с жадностью вцепился в румяное яблоко, но есть его, однако, не спешил.

— Верка, будешь? — спросил он, протягивая угощение.

Та кивнула.

Ромка без сожаления отдал яблоко. А Ян поймал себя на мысли, что за кусочек бабушкиного пирога в этот момент отдал бы все на свете.

— Сколько в замке комнат? — поинтересовался он, размышляя над планом дальнейших действий.

Богдан пожал плечами.

— Я не умею считать. Знаю только, что очень-очень много.

— Около двухсот, — произнесла Верка.

— Да уж, — разочарованно вздохнул Ян. — Столько нам никогда не обойти. Где же искать волшебные часы?

Когда смерклось и на небесном куполе вспыхнули звезды, ребятам удалось проникнуть в подземный ход — широкое подземелье в тусклом свете факелов.

— Непонятно только, для чего все это, — произнес Ромка.

— Удивительно! — оживилась Верка. — Так значит, это не выдумка. Подземный ход действительно существовал. И граф ездил тайком в соседний Ружанский замок на каретной тройке!

— Ну и причуды у богатых! — изумился Богдан. — Вот бы побыть денечек графом!

— Я бы предпочел вернуться домой, — с грустью проронил Ян.

Ребята проникли в замок и осторожно поднялись по «музыкальной» лестнице наверх, не касаясь стены.

— Куда теперь? — развел руками Ян и прислушался. — Вы слышите? Кто-то рычит.

— А, это! С наступлением темноты хозяева замка выпускают из клетки живого огромного льва, — устрашающе поведал Богдан.

— Так уж и живого? — с сомнением протянул Ромка.

— Но не сдохшего же! — рассмеялся чумазый воришка.

— Значит, в замке находится нечто очень ценное, и лев это охраняет, — смекнул Ян.

— А может, это та вещица, в поисках которой вы сбились с ног? — прищурился Богдан.

Ребята на цыпочках подкрались поближе. Затаив дыхание, они выглянули из-за угла. У одной из дверей дремал лев с нечесаной мохнатой гривой, уткнув нос в лапы.

— Сам он отсюда не уйдет,— прошептал Богдан.

— Значит, его нужно отвлечь. Богдан, ты бегаешь быстрее всех. Смог бы ты нам помочь? — спросил Ян.

Воришка замялся, но поколебавшись, произнес:

— Обижаете! Я и не от таких зверюг убегал! Я знаю здесь многие выходы. Справлюсь. Вы помогли мне. Стало быть, теперь моя очередь.

Богдан вышел из своего укрытия и демонстративно привлек к себе внимание лохматого чудища. Хищник гневно сверкнул глазами, натопырил свои закругленные уши, услышав чужой голос, поднялся на толстокожие лапы и недовольно фыркнул. Обнажил острые клыки и метнулся к нежданному гостю, бросившемуся наутек.

Тем временем остальные ребята проскользнули в запретную комнату. Тусклый свет фонарей рассыпался на черных шторах, плотно задернутых даже днем. Особых ценностей здесь не было, разве что огромные золотые часы.

Ребята осмотрелись вокруг. В комнате давно не убирались. Спутавшиеся паутины обвисали, подобно лианам в непроходимых джунглях. У окна стоял массивный дубовый стол с книгами, колбами и высохшими чернилами.

Верка осторожно смахнула с книги шлейф пыли и прочла вслух выведенные каллиграфическим почерком строки:

«Я изобрел уникальные часы, способные творить чудеса. Да-да! Настоящие чудеса. Я даже не раз отправлялся в прошлое, чтобы проведать своих родителей и сестру. О, куда же уходит молодость?»

Только Верка произнесла последнюю фразу, как вокруг часов поднялся вихрь — и из часового механизма вышел невысокий человек, облаченный в старинное платье с черными засаленными нарукавниками. Его голову покрывала изъеденная молью треуголка, из которой проглядывали торчащие пепельные кудри. Вдохнув свежего воздуха, незнакомец расправил плечи, потянулся и внезапно расчихался.

— Ох уж эта девичья память! — упрекнул он себя. — *О, куда же уходит молодость?* Как же я мог забыть?

Мужчина постучал себя по лбу. И тут же спохватился, заметив подле себя ребят. Его взор остановился на Верке.

— Прелестная девочка, ты разбираешься в латыни?

— У меня папа ученый.

— Ох уж эти ученые,— покачал головой часовщик и поморщился, будто проглотил дольку кислейшего лимона на свете. — Они стремятся найти объяснение тому, что узреть можно только сердцем. Взять хотя бы меня. Когда-то я также записал себя в их ряды. Даже набрался смелости явиться к графу и пообещал ему изобрести волшебные часы, которые возвращали бы время вспять, — мужчина ткнул пальцем в свое золотое творение. — Чудно, не правда ли? И я добровольно потратил на прошлое свою молодость.

— Вам удалось изобрести то, что оказалось не под силу ни одному ученому! — разинул от удивления рот Веснушка-Ромка.

Но озарившиеся было радостью глаза часовщика помрачнели.

— Вскоре меня постигло разочарование. Знаете, почему? Хотя вы все равно не поймете. Слишком вы юны для подобной философии.

— Да он ненормальный, — шепнул на ухо Верке Ромка.

— Но почему вы оказались запертыми в собственных часах? — теряясь в догадках, спросил Ян.

— Я лгал… Лгал графу, что часы еще не закончены, а сам вовсю путешествовал во времени. Как же там было весело! Это я потом понял, что ложь — плохой советчик. Уясните это, ребята.

— Но иногда лучше соврать, чем сказать правду, — произнес Ян, умудренный горьким опытом.

Часовых дел мастер призадумался. Но через несколько секунд его лицо вновь озарило веселье.

— Да! Но в итоге все тайное все равно становится явным. Правда сама настигнет вас рано или поздно. Да, мы рискуем пострадать дважды. Рассудите сами. Когда обманываем, страдает наша совесть, а когда говорим правду, то рискуем еще больше попасть в немилость. Не иначе как жизненный парадокс, — трещал без умолку часовщик. — Как по мне, то лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ведь из-за своей гнусной лжи вы можете нав-сег-да лишиться друзей, обидеть родителей или знакомых. Задумайтесь над этим, — мужчина в раздумье почесал затылок. — О чем это я? Ах, да! Травма головы после неудачного падения…

Ребята переглянулись.

— Так вот, милые дети, — оживился чудной незнакомец, — как вы думаете, что нужно для того, чтобы управлять волшебными часами?

— Вечный двигатель? — зажглись глаза у Ромки.

— Много мозгов и седьмое чувство? — предложил Ян.

— Коньяк! — подхватил Ромка.

— Коньяк? — часовщик поморщился. — Почему коньяк? Никогда его на дух не переносил.

— Волшебное заклинание, — уверенно произнесла Верка.

— Точно! — щелкнул пальцами незнакомец. — Именно! Так вот, я всегда отлично помнил его, когда куда-то отлучался. Произносил *«О, куда же уходит молодость?»* и возвращался назад. Но последнее мое путешествие сложилось весьма неудачно. Я отправился в горы, при падении сильно ударился головой — и заклинание напрочь вылетело из головы. Я силился его вспомнить, но произнес лишь частично, поэтому и оказался заточенным в зеркальном циферблате собственных часов. Ни туда ни сюда. Грустно, не правда ли? Никто не удосуживался до этого проявить интерес к моим каракулям. А ты, милая девочка, — он одарил Верку радушной улыбкой, — не осталась равнодушной, поэтому проси все что хочешь. Я выполню любое твое желание. Могу отправить тебя в Древний Рим, поглядеть на гладиаторские бои. Я как-то присутствовал на них тайком, даже видел гордо восседавшего на балконе Цезаря. Это так забавно! Да что там Рим! Лучше перенестись на корабль Колумба, плывущего к берегам Америки. Бескрайний океан, свобода и никакого коньяка.

— Это, конечно, весьма интересно, но у меня к вам лишь одна просьба: верните нас домой, — попросила Верка.

— Домой? — взгрустнул часовщик. — Ты не любишь путешествия?

— Нет, очень даже люблю. Просто я скучаю по своей семье. И ни на какие богатства в мире я ее не променяю. А что касается вашего почерка, господин часовщик, вы явно недооцениваете себя. Почерк у вас прекрасный.

— Как по мне, то лучше себя недооценить, чем переоценить! — заявил часовщик. — Кстати, как вы здесь оказались? Кто вам рассказал о часах?

— Мы стали заложниками ваших злых забав, — проворчал Ромка.

— Да, мы из далекого будущего, — поддержал друга Ян.

— А, теперь понимаю! — глаза мастера заблестели. — Вы нашли мои карманные часы! Эти часы я изготовил когда-то для графа, но не успел вручить. Как я рад, что они еще тикают. Вот что значит мастерство! Вот ты, мальчик, — незнакомец ткнул пальцем в Яна, — чего пожелал, когда нашел волшебные часы?

Ян поежился.

— Это было необдуманное желание. Я только сейчас это понял.

— Ты признал свою ошибку, это главное. Надеюсь, впредь вы не будете совершать опрометчивых поступков. Хотя молодость — пора удивительных ошибок. А с другой стороны, как узнать, что это больно, если не обжечься? Что ж, так и быть, я верну вас домой. Вот только вы из будущего, а я свои часы на этот предмет еще не испытывал.

— Но почему? Ведь побывать в будущем гораздо интереснее! — недоумевая, спросил Ромка.

— Видишь ли, в чем дело, мальчик. Стрелки моих часов настолько тяжелы, что раскачать их вперед без чьей либо помощи оказалось невозможным. Вспять стрелки вращать легче, поэтому я и ограничился путешествием в прошлое.

— Неужели у вас не было друзей, готовых помочь вам? — удивился Ян.

Незнакомец призадумался.

— Не было. И это моя самая большая ошибка. Я был очень заносчив и много лгал, поэтому друзья разбегались от меня, как тараканы, — лицо часовщика напряглось, побледнело, а в глазах вспыхнуло сожаление.

— И вы ничего не хотели исправить в своей жизни? — спросила сочувственно Верка.

— Почему же, хотел. Но моя попытка не увенчалась успехом, ведь прошлое, как оказалось, изменить не-воз-мож-но, — взгрустнул часовщик.

— *Поэтому* вы изобрели эти часы? — промелькнула догадка в голове Яна. — Не ради путешествий. Вы хотели вернуть друзей?

Часовщик растерялся. Его тайна, запрятанная вглубь седых веков, открылась. Мальчишка озвучил то, в чем он долгое время боялся признаться себе самому.

— Некогда мне с вами болтать. У меня дел выше крыши. Раскачивайте стрелки и возвращайтесь домой!

Но ребята не двигались с места. Часовых дел мастер даже немного сконфузился.

— Вы передумали возвращаться?

— Скажите, а что стало с тем мальчиком, Богданом, который привел нас в замок? Ему удалось убежать от льва? — робко спросил Ян.

— Дружба? — с завистью полюбопытствовал часовщик.

— Нет, скорее благодарность, — поразмыслил Ян.

— Что ж, благодарным также нужно уметь быть. Стало быть, ты повзрослел, парень, если берешься рассуждать о подобных вещах. Да, ваш друг спасся, и я не удивлюсь, если завтра он вновь явится в графский сад, чтобы на халяву набить живот яблоками.

— Но ведь вы сами говорили, что каждый человек имеет право на ошибку, — вмешалась Верка.

— Каждая ошибка имеет свою цену, прелестное дитя. Не стоит об этом забывать. Час расплаты рано или поздно настанет. Тем более что воровство является *осознанной* ошибкой человека. Улавливаете разницу? — часовщик тряхнул своей пепельной шевелюрой. — Что ж, раскачивайте стрелки часов, а то у меня и без вас дел невпроворот.

— Еще один вопрос. Вы покажете графу ваше изобретение? — не удержался и полюбопытствовал Ян.

Часовщик помрачнел.

— А разве в этом есть смысл? Спустя столько лет? Нет. Всему свое время. Запомните это, ребята. Если я и раскачаю стрелки часов, то только для того, чтобы вечно скитаться в веках ради забавы. Ведь заклинание я все равно забуду.

— Травма головы после неудачного падения, — напомнила, улыбнувшись, Верка.

— Точно! — лицо часовщика просветлело.

Ребята поблагодарили мастера и вместе принялись раскачивать громоздкие стрелки на зеркальном циферблате. «Тик-так… Тик-так…» — поспешили они вперед…

Каждый из нас мечтает встретиться с волшебником, который взмахнет волшебной палочкой и сделает нас счастливыми. Такое, конечно, возможно. Все зависит от того, каким человек хочет видеть свое счастье. А если волшебник так и не появится? Уповая на него, мы порой забываем, что сами способны творить чудеса. Ведь достаточно всего лишь одной улыбки, чтобы мир стал добрее и краше. Знаете, что, по мнению часовщика, является истинным волшебством? НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА. Да, именно дружба, которую ему в своей жизни так и не удалось постичь, в отличие от Яна, Верки и Ромки. А ребята не разлей вода и по сей день!



Артур ЖУРАВЛЕВ

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Фуэте

Рассказ

Володя Бурмакин сложил руки на коленях, сидел тихо и думал. Желтый коридор, длинный красный ковер, обитая мягким бархатом тахта и Комиссаржевская на портрете за его спиной. «Хорошо бы утром сварить вместо овсяной каши пшенную. А еще варенья бы, с маслицем…»

Во всем театре не было человека, который бы не знал Володю Бурмакина. Даже новенькие, первым делом запоминая имя-отчество художественного руководителя, сами того не подозревая, выучивали и высокую, совсем малость в плечах ссутуленную, но на зависть стройную фигуру, да к тому же с удивительно длинными ногами под наименованием: «Бурмакин». Просто — Бурмакин. Без имени. Было ему, по слухам, то ли сорок пять, то ли пятьдесят… Он имел пепельно-седые волосы и какое-то грустно-серое, уже в морщинах лицо.

«Нет, на белый хлебушек маслице, а на маслице сахарку...» — это так тепло рисовалось в его голове. Бурмакин в детстве, когда убегал сначала в садик, затем в школу, всегда завтракал так: «с маслицем и сахаром». Еще папа научил. А теперь Бурмакин иногда себя чувствовал снова ребенком.

Когда, идя по какой-нибудь улочке, вдруг встречал молодую маму, которая ведет за малюсенькую ручку растерянно открывшее свои большие глазищи и выпучившее щеки дите, он вдруг останавливался, открывал рот, улыбался, ему становилось сразу хорошо. Они проходили мимо него, а Бурмакин усмехался, поглаживал себя рукой по груди, а затем бодро шел дальше.

Бурмакин сжал губы, рассматривая узоры по краям ковра. Он знал каждый изгиб пестрых ниточек, но все равно разглядывал незамысловатый узор каждый день. Но в этом ковре ему чудились совсем иные линии. Тоже ниточки, тоже вьющиеся и сплетающиеся в картины, тоже способные рваться и связываться вновь, гнить и, наоборот, свежеть, тоже продаваться и стираться, и... Да что там, сам ковер был исторический, как и каждый уголок этого здания, где работал… Нет, нет, Бурмакин не просто работал, вернее, он никогда в своей жизни не работал: Бурмакин только служил! И в этих стенах сам Гоголь сидел, ходил, тоже, наверное, ел кашу (если уже был в то время служебный буфет), пил чай, может быть, даже кофе, и вполне вероятно, что-нибудь еще интересненькое....

Кони, запряженные в колесницу, мерзли на крыше Александринского театра под накрапывающим противным дождем и ветром, Екатерина II в садике терпела и не теряла царственной осанки, а Бурмакин в теплом шарфе и вязаной шапочке, в старом, но еще крепком пальто обстукивал ботинки на пороге служебного входа... Бурмакин приходил служить каждый день рано утром, даже раньше, чем нужно, да к тому же первым из всех. А уходил почти последним, хоть иной раз работы совсем не было.

А начиналось все еще ночью! Ночью Бурмакин был самым счастливым человеком. Он выключал свет, плотно прикрывал желтые засаленные шторы, ложился в кровать, укрывался теплым одеялом, успокаивался, закрывал глаза, улыбался и знал, что прямо сейчас, во сне: он ранним утром пойдет в театр, настраиваясь и прокручивая в голове свои партии, поднимется по лестнице, встретит своих партнеров, сварливых балерин, войдет в гримерку, поговорив, переоденется и пойдет на разминку. А затем на сцене начнется репетиция выпускаемого балета… Скоро будет премьера! Еще пара ночей — генеральные прогоны… Поэтому утром Бурмакин открывал глаза, преисполненный больших надежд, еще всей душой находясь на сцене под жарящими лучами софитов, но… Перед ним находились только побеленный высокий потолок, душная комнатка, грязные стекла… И гремел на всю улицу железяка-трамвай.

Болтливая вода несла без остановки всякий вздор, банальщину, то про спятившую соседку Веру Андреевну, то что-то вроде: «…а коммунальщики будут делать ремонтные работы на следующей неделе, поэтому меня отключат… Еще говорят, что в реку вылили новую дрянь с химзавода, а тут очистительные установки будут останавливать на ремонт и потом перезапустят…». Понурая каша последние десять лет была так ленива, что и не думала перелезать через низкий бортик кастрюли. Безумец-телевизор на всегда сдержанном холодильнике был полным идиотом, если всерьез думал, что Бурмакин будет его смотреть. Держался за чаем, хоть тот и заваривался так грустно, что оставалось только молча его выпить.

Потом Бурмакин одевался, выходил в темный подъезд под внимательный взгляд истории, которой дышали желтые стены, а под ними щурились сколами зеленые, а за ними синие… Дразнилось эхо, кряхтели за хлебом старушки, находившие в Бурмакине главного «домашнего» слушателя их жалоб и беспокойных сплетен. А выйдя в переулок, Бурмакин осторожно вписывался в движущиеся к Невскому проспекту потоки. Ему спешить уже было некуда, время, как ни странно, в какой-то момент вдруг замедляет

свой ход. Кажется, что в детстве оно такое мягкое и податливое, готовое к любым метаморфозам, способное показать в деталях каждое мгновение или шаловливо промотать скучные часы, вдруг потечет спокойно и с наслаждением, давая возможность прожить желанный момент… Но вот, как по щелчку, наступает молодость. И рев моторов нарастает, секунды сливаются в сплошную линию и исчезают, минуты встают на их место, невозможно разобраться в дне, как он вдруг оказывается в прошлом, неделя стирается из памяти, а новый год, кажется, начался еще вчера, а не двенадцать месяцев назад… И вот дела, дела, дела, живя в будущем, а никак не сейчас, забыв о прошлом, стрелки нарезают круг за кругом, круг за кругом, как же снег-то успевает таять, наступает странный момент. Стрелки вдруг замирают, дергаются, замирают, что-то трескается в странной их всеобъемлющей материи… Еще хочется бежать, не потому, что надо, даже, может быть, и надо, но это прекрасно, когда впереди бесконечно маячит новое, трудно остановиться. Но само, уже неуправляемо, как и когда мы отдаем управление этому пилоту жизни, мы медленно, но неуклонно, как глыба айсберга, таем и тормозим…

Вот Бурмакин и тормозил, пыхтя паровозом древности по ступеням, в проходах и в лифте с тяжеленными станками и каркасами, неся их то со сцены, то на сцену. Как машина, он четко брал и ставил, уходил и приходил, закручивал и правил, собирал и разбирал… Но неизменно проверял свою и чужую работу, чтобы, не дай бог, где-нибудь что-нибудь оставили незатянутым, болтающимся, несостыкованным, не остался бы торчать шуруп или гвоздь… Все должно держаться надежно. А в остальном беспокоен Бурмакин был только ночью и утром, когда стонали в его туманных грезах репетиционный зал и сцена Мариинского театра.

Но на сцену Александринского театра Бурмакин старался не выходить. Все больше ходил с ведрами и шваброй… Или пропадал на монтировке в репетиционном зале или на малой сцене. «Тепло так, уютно, тихо, мирно здесь… Хорошо!» — улыбался одними глазами он, любовно прикручивая заборчик на авансцене. Да, бывало, его отправляли на монтировку на основную сцену. Тогда Бурмакин хмурился, идя с товарищами за помощником режиссера, и нервно бормотал: «Темный портал, темный портал, темный портал…»

Пространство сцены уходило вверх на несколько этажей и скрывалось во мраке. Зал казался покрасневшим великаном из Бробдингнега, глазеющим тысячей пустых мест. Сверху холодно лился тусклый технический свет. Бурмакин стоял возле лестницы, смотря на темную поблескивающую сцену. Его взгляд мутнел, края глаз поблескивали слезами, он начинал часто перебирать пальцами и перешагивать с ноги на ногу, заступать и даже почему-то ходить по кругу, то ли что-то читая, то ли напевая себе под нос. А потом он вдруг замирал, вздыхал и чуть ли не бегом исчезал в темноте лестницы.

Бурмакин никогда не плелся никуда, а всегда шел, пусть и шаркающей, слегка разведя стопы, своей балетной походкой. Хотя многие принимали это за тяжелое давление глыбы жизни… И шарканье — за слабость. Никто ведь не знал его прошлого... Внимательные догадывались, конечно… Но никому особо не было дела до Бурмакина. Смотрел Бурмакин на жизнь, в принципе, разумно и всегда находил себе собеседника по любому поводу. Самый понимающий, умеющий слушать, сочувствующий или по-доброму журящий, дающий всегда правильный совет (даже если неудачный, это ничего), находящийся рядышком в трудную, обычную, веселую, тоскливую, любую и каждую нежеланную, но имеющуюся минуту (это уже не важно), — Володька общался с Бурмакиным. Это скучное лицо смотрело

на него из мутного зеркала, вздыхало, плевалось и чихало, умывалось и тщательно брилось, выискивая скрывающуюся от взора щетину на подбородке. Бормотало с жаром, от всей души про свою душу. Когда Бурмакин приходил домой, то с уже с порога в полный голос предлагал сварить пельмени. Ругался на медленно закипающий чайник и спорил, когда лучше вымыть пол, купить новые носки, скопить денег на… Нужную вещь. Семейные ссоры были неизбежны.

Но мимо шкафа, который стоял в единственной комнате, Бурмакин проходил на носочках, очень тихо, замолкал и старался не смотреть на его плотно закрытые облезлые дверцы. Там он закрыл… Навсегда. Все что имел. И сразу. Там лежала бережно сложенная тренинговая черная одежда — лосины, джерси, еще балетки. Те самые, в которых он занимался когда-то. Казалось, они были всегда наготове, чтобы взять и выйти в них в репетиционный зал. Времена! Бурмакин, шаркая мимо шкафа на кухоньку, вдруг останавливался возле него и боязливо заглядывал на ту полку, где покоилось единственное, что осталось от него... Того… Лежало и все так же пахло (или казалось так) порошком с последней, далекой, нереальной уже стирки. Сам же Бурмакин давно потерялся… Он не смел тронуть эту одежду. Ее положили туда еще сильные руки, пусть и надломленные инфарктом. Положили. А взять оттуда — некому. Такого человека больше нет. В шкафу была заперта жизнь, иногда скрипевшая вечером, пока он засыпал. Бурмакину иногда чудилось, что он ночью подходил и открывал этот шкаф. А потом оказывался не в затхлой комнатке, а где-то там... там! Или, может быть, милосердный шкаф сам приоткрывался и забирал его к себе на полки. Немножко пожить.

Бурмакин приходил в театр всегда раньше назначенного часа. Как минимум за полчаса, а то и за час… Приходил даже по выходным! И даже во время отпуска, бывало… Приходил и, надо не надо, принимался за какое-нибудь дело, помогал по просьбам... Всегда хотел всем помочь. Просили, не просили… Именно поэтому Бурмакин после сказочных снов, как рыба, выкинутая на берег, продышавшись после первого шока и нахлынувших волн тоски, спешил в театр. Спешил спастись, спешил к тому дому, который тоже был хранителем грез. Но только у этого дома, как и у загадочной Луны, была темная сторона…

* * *

У Бурмакина тряслись руки, когда он брался за кран, чтобы набрать в зеленое ведро воды. Кафель был чистый и грустный. Вода с криком рвалась на дно: «Бляха-муха! Мы прорвались через эти трубы на свобо-о-оду! Инвалидами, блин. Где наша красота, грация, осанка, такт, чувство ритма, чувства музыки Моцарта, Бетховина и Баха? Где дыхание? Слух и память? Мы помним чернь, хлор, рев на сооружении и мат по трубам безумного города. Толпы разъяренного страха. Вопящий истошно рок. Пресыщенность, плевки в открытую душу и сливание, сливание, сливание… Структура вся изломалась, все безвозвратно потерялось, сплошное рабство-а… Эй, неси, куда уж нас? Вы все такие же, как и мы, — убитых нас глотаете, сами как мертвецы ходите, глупцы безвольные! Чего вы хотите-то? Что? Лей, лей… В фильтр бы, а потом на волю… А, что толку, нет, мы сдохнем здесь, еще круг по вашим сволочным трубам, и точно все! Да хватит уже, а то перельется!»

Бурмакин закрыл кран, взял швабру и вышел из уборной в курилку. Вода трепыхалась. Коридор, тянущийся красным ковром за стеклянной

дверцей, был совершенно пустой. Крутая черная лестница вдалеке уходила ввысь на сцену и в гримерки, а служебный буфет затерялся возле гардероба с задумчивой старушкой в толстых очках. Когда Бурмакин проходил мимо, она отрывалась от кроссворда и смотрела на него с внимательностью учителя математики, ищущей ошибку в некой проходящей функции. Ничего не говорила. И лишь Бурмакин, волочащий стопы и раскачивающийся, как лодка с борта на борт, скрывался за поворотом к лифту, начинала бормотать что-то мятым газетам.

Ковер скрадывал шаги. Было тихо. Свет яркий. Воздух теплый. Покой. Впереди черная лестница вела вверх по ярусам. Никого не было. Бурмакин остановился. Посмотрел назад, вперед. Прислушался. Вроде тихо. Сердце затрепетало внутри. Что-то хотело. Бурмакин стоял. Ведро и швабра в руках. По коже пробежали мурашки. Под ложечкой сладко так засосало. И вдруг... Бурмакин осторожно опустил ведро с водой на пол, поставил швабру к стене. В пальцах что-то кольнуло, а сердце сжалось, и потекли рекой слезы. Как игрушечный белый парусник по быстрой реке, который ребенок запустил в сказочный океан. Парусник бодро отплывает, весело качается, паруса взмыв к небу, а борта блестят свежими красками. Парусник плывет навстречу полуденному солнцу среди буйной музыки зелени. Осанка вытянулась. Дряблое тело нехотя подтянулось. «Пам-пам-пам-пам…» — вспыхнули софиты. Черная лестница натянула перед ним темный портал зала. Ковер стал балетным линолеумом. А стены исчезли. «Пам-пам-пам-пам…» — рвали в поту душу музыканты, скрипки затягивали струны в нем. Струна. Шаг… Бурмакин вытянул ногу, непослушная стопа в напряжении выгнулась… Четвертая позиция. Выход на полупальцы в кроссовках… Встал и ногой пошел закручивать… Фуэте… Екарный! Ра-а-з… Спало…

На первом же пороге кораблик разбивается о камни, переворачивается и застревает… Вперед прорывается через камни грот-мачта, фок-мачта, стеньги… Потом реи, паруса скомканно потянутся навстречу закату, щепки и шлюпки побегут к берегу, а корпус останется на том же месте, гнить и идти ко дну. Старое лицо Бурмакина вдруг вспыхнуло новой силой. Глаза горели. Слетели морщины. Трясущиеся руки держали позу. Тело обрело мышцы. Нога легко сделала шаг, четвертая позиция вышла на механике, а дальше: рывок, полупальцы на ноге, инерция и вошел во вращение! Нога пошла, пошла, пошла, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть! Сердце радостно колотилось, в легкие ворвался поток воздуха, грудь задышала. Вот она, сила! Бурмакин замер — «зал» аплодировал в ритме сердца. По телу перебегали нервные уколы.

Так.

Бурмакин улыбался.

* * *

— Едрит вас в дышло! Монтировщики совсем охренели! — орал раненный в стопу молодой артист в медпункте театра. — Что за… твою мать к едрефени, происходит?! Только жрать и умеют, а гвоздь гац-цкий забить, ну…

Медсестра бережно перевязывала ему ногу. Бинты кровоточили.

«Гвоздь»… А это был самый обычный шуруп, который зло торчал на краю сцены из уложенных тяжеленых панелей. И зачем все укладывать ими было? Вроде и черная сцена есть, и нормально, все из зала и так видно, выступайте на здоровье… И шурупы никакие не нужны были бы.

Бурмакин, тяжело дыша, краснея и потея, взбежал по крутой лестнице на сцену. Артист хромал и при каждом шаге стонал. Шуруп же продолжал доказывать, что он вовсе не «гац-цкий гвоздь», а простейший, даже, в общем, средней длины шуруп и прекрасно может себя чувствовать, как в металле, так и в древесине… Сосна для него, например, самое то была бы.

Недосмотрел, конечно же, Бурмакин… А кто еще? Был Бурмакин на монтировке? Не обязан, ему только ведра можно носить... Но был! Так почему же гвоздь?! Ну, какая разница, шуруп… Да и он вообще ничего не держит здесь, а остался с прошлого спектакля. Кто разбирал прошлый спектакль? Какой?! Тот самый… А, этот самый… Бурмакин! Мы все выкрутили шурупы, а на панели этот оставил как раз… Бурмакин. Специально, видать, оставил!

Бурмакин вынул из чемоданчика шуруповерт и приставил его к головке шурупа. Нажал спуск, взревел моторчик. В ответ пискнул шуруп. Бурмакин выкрутил его, и тот навсегда исчез в бездонном кармане.

— А-а-а, признавайся… — перед ним остановился раненый артист, навалившись всем весом на здоровую ногу. — Так это ты за старое взялся, Володька?

Бурмакин так и замер с шуруповертом в руке. Чемоданчик жадно разинул зеленую пасть и блестел крестовинами зубов. Щелкнул переключатель.

— Ты ж балерун у нас. А? Ха-ха, — артист усмехнулся и захромал дальше к кулисам. — Ну, ты даешь, конечно-о-о… Это же балерины друг другу в балетки гвозди подкладывают. Так ведь? Бурмакин-Бурмакин…

Бурмакин вздрогнул, его накрыло холодным туманом. Волнами забегали нервные мурашки. Носик шуроповерта растерянно повис в воздухе и испуганно дрожал. Откуда-то со стороны лестницы донесся чей-то злой возглас:

— Что-о?! Надо… Таких монтировщиков… В шею сразу и…

Бурмакина разом пробрало, как в бане в сто двадцать. Чувство горя и обиды вцепилось ему в шею удавкой. Он захлопнул чемоданчик с шуроповертом, развернулся и выскочил из толпы. Ему вслед глядели остывающие софиты и недоумевающие холодные дежурки. Монотонный гул голосов оглушил. Все гасло. Черная сцена, черные кулисы, черная стена, перед ним черный омут… Нога со всего размаху шагнула в пустоту, взмахнув руками, Бурмакин чиркнул по перилам. Сердце билось. Оно точно сумасшедшее. У Бурмакина перед глазами прыгал, размахивая руками, на одной ноге окровавленный артист: «Что за… Твою мать к едрефени, происходит?! Только жрать и умеют, а гвоздь…» Шуруп, на глазах перерождаясь в ржавый изогнутый гвоздь, ухмылялся под мятой шляпкой: «…В шею сразу и…» Жара. Вода, испаряясь, вопила во всю глотку: «Нас убивают трубы!» И не могла выбраться из раковины. Лестница исчезла. Вода неслась в раковину из крана, который гудел: «Бурмакин! Бурмакин! Бурмакин!» А Бурмакин падал. Что-то углом ударило в голову по затылку, руке, и все покатилось, завертелось… Треск. Спина. Шея вывернулась.

В висках напряженно стучало, тук-тук-тук, шаг, шаг, еще, шаг… Остановка в четвертой… Затянут, как струна. Выход на полупальцы, фуэте: нога закручивает… Раз, два, три, четыре — полетели обороты, мелькают яркие софиты и темный портал зала, кулисы! Музыка пам, пам, пам, пам… Дыхание шумит, бьется сердце как сумасшедшее. Десять, одиннадцать, двенадцать… Бьется сильно, наверное, за сто девяносто-а-а… Двадцать, двадцать один… Закололо кончики пальцев на руках, желтый луч появляется, исчезает, появляется… Душно. Двадцать четыре… Все тело ровно, на

одном уровне, взгляд параллельно сцене. Долетели, двадцать шесть, лоб стал раскалываться от боли, софиты жарят двадцать семь, и все плывет в глазах, двадцать восемь, железная рука стиснула сердце. Двадцать девять, тридцать, нога по инерции заходит и… Дыхание налетело на каменную стену. Равновесие потеряно. Напряженные мышцы обмякли. Разум теряется в сладком тумане. Тридцать с половиной…

Не вдохнуть. Стучит в висках тишина. Грудь словно раздавили. Софит над самой головой испуганно смотрел в лицо. Вокруг закружились белые балетки — началась партия белых лебедей…

Вспыхнул теплый свет. Гомон оборвался. Бурмакин неуклюже распластался на крутых ступенях винтовой лестницы. Кулаки были сжаты. Из раскроенного виска темная струйка напряженно — кап, кап, тук, тук, шаг, шаг, еще шаг…



Иван МАЛИНИН
Республика Беларусь, г. Могилев

Кот человека со скрипкой

Рассказ

Он называл меня *rouge ami*. Навострив слух, я всегда оборачивался на эти слова: сказал просто так, хочет угостить или, может, зовет с собой? Он всегда брал меня с собой — когда прогуливался к набережной Сены, от Гран-Пале, рядом с которым имел радость жить и до Площади Согласия. Утром, когда было еще достаточно тихо, гул города не падал тенью на реку, на птиц, уже проснувшихся и настороженно косящихся на меня и на таких же одиноких прохожих, как он. Нагулявшись по ночным парижским крышам, я сидел у него за пазухой, смирно, высунув голову из-за воротника, то и дело зевая, а он только улыбался рассеянно и спокойно, предавался мыслям, там, на свежем воздухе, садился за столик в открытом кафе — выпить горячего черного кофе, будоражащего теплом душу, и съесть только что приготовленный круассан, мягкий и ароматом своим забивающий ноздри… А я… Помню, как составлял ему компанию, сидел рядом на деревянном стуле с расшатанной спинкой, который булочник выносил откуда-то специально для меня, и съев свое утреннее угощение, покачивался сонно, обвив лапы хвостом, щурился на солнце, отражавшемся в воде. И ловил его мысли, шевелил усами в поисках нужных волн…

Его завтрак в основном состоял из мыслей и Сены. По утрам он привык питать душу, и этого было никак не исправить, да мне и не хотелось. Если душа позавтракала, — всегда говорил он мне, — то и весь день будет удачным и наполненным яркими красками. А если добавить к этому еще и музыку, рыжий друг… Ах! Ты слышал, как над водой, не заглушаемые шумом автомобилей, летят звуки старого клавесина? Сена будто вбирает их в себя и начинает целовать камни парапетов, а мелодия продолжает разноситься над ней…

А я покачивался и слушал, слушал, вдыхая запах кофе из его исходящей паром чашки, смотрел на него, чудного: полы расстегнутого старого

пальто взметаются по сторонам, когда он кружится возле столика, притаптывая разноцветный булыжник — танцует с невидимкой, наверное, симпатичной парижанкой из шестидесятых — того времени, когда меня и на свете не было, закручивает ее в вихре музыки, подмигивает такой же невидимой воображаемой стройной скрипачке, отчего она улыбается в ответ, и смычок в ее руке начинает творить самое настоящее волшебство, музыку невероятную и невозможную… Эти его воспоминания оседали на моих усах, словно паутинки прошлого, и я сам словно смотрел его глазами, чувствовал то же, что чувствовал и испытывал он. Это было так давно… другие коты гуляли в тени ног Эйфелевой башни, другие коты смотрели из чердачных окон на французскую лимонную булку-луну, другие коты путались под ногами и втихаря стаскивали со столиков еду, пока люди танцевали под звуки скрипки…

Мне нравилось быть с ним там, на набережной... Не помню, говорил он мне или просто возникало у него такое воспоминание… когда он приглашал ту же скрипачку к себе за столик, и они вместе наблюдали блеск воды, тихо разговаривая на околоземные темы, и как она его просвещала о том, что значит музыка, не догадываясь, что он сам все прекрасно знает и просто притворяется. Потом, оставшись у него до утра, она, конечно, узнает, что он притворялся, и утром, тихо притворив дверь, убегая на цыпочках в рассвет, с сожалением взглянет на свою дешевую скрипку с грифом из растрескавшегося палисандра, но все равно улыбнется счастливо…

Он устанет вот так кружиться один, присядет снова и прошепчет-вздохнет, что те времена давно прошли, что нет больше тех озорных и немного сумасшедших ночей, нет черноволосых скрипачек, играющих только для тебя и — просто так, только бы дать внутренней мелодии правильное направление и верное звучание…

Я знаю, что он и сам играл так — люди закрывали глаза ладонями или же просто зажмуривались, чтобы ничто не мешало им видеть. Видеть, что привносят в мир струны его скрипки, какие образы он выводит из ментального мира через мир эмоциональный, цепляя на эти образы тамошнюю окраску. И тогда люди плакали или смеялись, улыбались или печалились, переживали или восторженно ахали… Да, в прошлые года он играл бесподобно, тогда не я заботился о нем, а она, она, эбеново-кленовая красавица, поющая ему то, что он желал. Я застал лишь немногие дни, когда они еще были вместе. А потом...

Прогулки по набережной тоже остались в прошлом, и компанию я составляю теперь только Флоберу, Сартру, Гюго и другим, незнакомым мне, лежащим стопками или по одному, кто где… У него никогда не было привычки ставить книги на место, и теперь этого никто уже не сделает. Теперь и она, его скрипка, лежит холодная и пыльная… Я иногда прижмусь к ней головой, стараюсь растормошить, разбудить. Но тщетно — она оживала только в его руках…

Несколько дней назад, когда я печально сидел у него на груди, он дрожащей рукой повесил мне на шею цепочку с ключом от дома.

Скрипичный ключ, как он его называл. И велел мне найти того, кто понимал музыку так же, как он, кто видел жизнь так же, как он…

Я не знал, реально ли это, живя его воспоминаниями о том, что миновало. Я не знал. Но стал гулять утром один, стремясь к знакомому кафе, крался в густом раннем тумане или при первых чистых лучах солнца, не обращая внимания на голубей и мышей в подворотнях, садился на углу здания и смотрел на реку, один, с покачивающимся на шее ключом. Надолго оставлять его дома одного я не мог, возвращался, но в один из дней не вернулся вовремя, запрыгнул с водосточной трубы в форточку, чем перепу-

гал людей в белом, испугался сам и бросился к нему. Проскочил насквозь, понял, что вижу уже только его образ, точно такой, как он извлекал своей музыкой. А он снова улыбался рассеянно и спокойно. Я смотрел, как его тело уносят прочь, в ожидающую на улице машину.

Меня попытались тоже забрать, но я не дался — я не так прост, чтобы сдаваться незнакомцам в белом. И вновь выбравшись через окно, чудом не запутавшись в занавесках, забрался на крышу. Он тоже стоял рядом, потрепал меня по голове, отчего моя шерсть встала дыбом, словно от электричества, и мы вместе смотрели вниз, во двор, на «скорую», бесконечно крутящую свою мигалку. А после она уехала.

Я вдруг почувствовал, что и его больше не было рядом. Пустая крыша, антенны, трубы, тепло солнца. И скрипичный ключ. Чуть тронул его лапой — и он заболтался, как маятник. Я решил, что не вернусь сюда. Не вернусь до той поры, пока не выполню порученное. Не найду еще одного человека со скрипкой. Пусть даже для этого придется обойти весь Париж.

И я отправился на поиски.



Ольга МОЛОДЦОВА
Республика Беларусь, г. Минск

Минск—Санкт-Петербург

Рассказ

Здравствуй, это я!

Рожденная среди казахских степей, я и не мечтала оказаться в тени высоких зеленоголовых старцев, коими так богата природа Беларуси. Однако волею судьбы, а также по решению родителей, я оказалась в волшебном мире дриад и русалок. Все сказки, которые когда-то читала мне бабушка, ожили, когда я впервые оказалась в дремучем лесу. Было легко поверить, что где-то среди молоденьких березок прячется лесовик, а на том большом дубе, обхватить который можно только десятью руками, сидит русалка вместе с котом ученым, обсуждая дела насущные.

Природа Беларуси восхитила меня, более того — заворожила. И вместе с тем меня не покидало ощущение, что я просто вернулась Домой. Все было мне так знакомо, так близко: и леса, одетые в зеленые кафтаны, и речки с длинными серебристыми волосами, и маленькие детки-ручейки — словом, все это было *мое*.

Города, которые мы проезжали, также поражали мое воображение: чистые, с маленькими домиками-грибочками, с небольшими улочками — казалось, я попала в мир Толкиена и вот-вот повстречаю Бильбо или Фродо. Задумавшись над тем, что бы я им сказала, не заметила, как мы приехали в город, который навсегда завладеет моим сердцем и станет моим Домом.

Добро пожаловать в Минск!

Здравствуй из города М.

— Здравствуй.
— Здравствуй.
— Мы с тобой еще не знакомы, но мне сказали, что скоро.
— Очень скоро, любовь моя.
— Ты ждешь?
— Я жду.
— Меня?
— Тебя.
— А где встретимся?
— В городе М.
— В Москве или, может быть, Минске?
— Нон, мон шери. Просто в городе М.
— А ты уже там?
— Конечно.
— Так мне поспешить?
— Не спеши. У нас впереди с тобой Вечность.
— Тогда ты мне что-нибудь расскажи.
— Что, моя дорогая?
— Историю нашей любви.
— В стихах или в прозе?
— Не важно, но ты не молчи, не молчи. Мне нравится твой голос, голос из города М.
— Спи. А я расскажу. О нашей. Счастливой. Любви.
— Дорогой, подожди, ты знаешь, ведь города М. нет.
— Не бойся. Спи. Я расскажу, как меня найти.

Я не могу точно вспомнить своих ощущений в первый день из-за суеты, царившей на вокзале и в моей голове. Все-таки мы преодолели такой путь, встретились с родными. Не до города мне было и в последующие дни: гости, подарки, ряд нескончаемых вопросов, разбор документов, покупка мебели…. Сейчас все это вспоминается как одно мгновение, но на деле это заняло много времени. Так что знакомство с городом М. пришлось отложить.

Когда же произошло мое настоящее знакомство? Уж точно не тогда, когда меня повели на обзорную экскурсию, не тогда, когда я оказалась в парке аттракционов, и даже не тогда, когда сидела с мамой в кафе. Нет, мое настоящее знакомство с городом М. произошло значительно позже.

Мы тогда жили в районе Тракторного завода. Друзей я там как-то еще не успела завести, а мама была на работе. Чтобы не сидеть одной в комнате, решила прогуляться, благо в пространстве я неплохо ориентируюсь. Выйдя из дома, я пошла вдоль реки. Шум дороги не отвлекал меня, наоборот, помогал увидеть будничное лицо города. Я шла и улыбалась, все было таким красивым в этот утренний час: маленькие елочки — *пушистики*, как я их назвала, в контрасте с прекрасными, но глубоко несчастными ивами, склонившими свои ветви прямо к воде, — видно, жаловались ей на свою печальную судьбу. А еще там был небольшой водопад. Он так шумел, так старался перекричать своим звонким голоском шум дороги, что иногда ему это удавалось. Я села на скамейку около водопада и погрузилась в чтение…

Сейчас, много лет спустя, это место все еще остается для меня важным. Я редко бываю в той части города, но когда случай забрасывает туда, иду к тому водопадику, сажусь на скамейку и погружаюсь в воспоминания о нашей первой встрече с тобой.

Год прошел или больше, только Минск не переставал и не перестает меня удивлять. Чем больше я гуляла, тем больше открывала новые потрясающие уголки, про которые не расскажут ни на одной экскурсии.

Я полюбила сидеть в скверике около Купаловского театра. То ли моя любовь к театрам вообще и к Купаловскому в частности, то ли воспоминания о первом свидании, то ли необыкновенная атмосфера самого сквера, но, кажется, нет более дорогого моему сердцу места. Встречи с друзьями, потом с учителями, потом с собой… Это место для меня обладает удивительной способностью: вселяет в мою душу мир, спокойствие, любовь и добро. Глядя на фонтан, бегущую воду, лебедя и мальчика, я переношусь в новый мир. И вот уже сессия не проблема, госэкзамен вообще пустяк, ссора с возлюбленным… а как же без ссор? Решения приходят сами собой. Это удивительно и необъяснимо, но так оно и есть.

Таким же близким и родным для меня стал и сам Купаловский театр. Никогда бы не подумала, что маленький зал с изумрудными стенами станет для меня самым настоящим родным домом. Впервые я пришла в этот театр со своими одноклассниками на спектакль «Сялянка» по пьесе Дунина-Марцинкевича. Настроена я была, признаться, скептически. После огромного и шикарного зала театра музкомедии Купаловский театр показался маленьким и нескладным. Я не ожидала от пьесы ничего особенного, как и от игры актеров. Однако с первых же минут спектакля я поняла, насколько была не права, несправедлива. Я пыталась судить по внешнему виду, забыв, что платье бывает разного фасона и кроя. Меня покорила игра актеров, их искренность, пленили «мілагучная беларуская мова», легкость и воздушная красота зала, который больше не казался мне простоватым и нескладным. Так я навсегда стала поклонницей Купаловского.

Мой город, моя любовь к тебе навеки! Где бы я ни была, Дом для меня — это ты!

Ну, здравствуй, Питер!

Я не знаю, правда или ложь.
Только жду, что ты ко мне вот-вот придешь.
Нам так много нужно рассказать,
Только, знаешь, лучше все же помолчать.
Душам нашим ни к чему слова.
Все и так понятно, если скажешь «да»,
если просто молча подойдешь,
нежно приобнимешь...
Дождь — не дождь.
Обещанья, глупые слова —
все это пустое.
Ты скажи лишь «да».
Я люблю тебя.
Правда
ИЛИ
Ложь?
Точно знаю, в мае ты ко мне придешь!

29 мая 2014

Едем в Питер. Свободного времени, надеюсь, будет предостаточно. Если получится, постараюсь купить билеты в театр. Настроение хорошее, предвкушаю встречу с этим городом, в котором я так давно мечтала побывать.

30 мая 2014

Утро. Дождь. Питер.

Только въехали в город, а настроение уже питерское.

Ну, здравствуй, мужчина моей мечты!

30 мая 2014. Утро.

Сейчас в Питере цветет сирень. Это просто восхитительно! Воздух после дождя свежий, а сирень к тому же добавляет еле уловимый сладкий аромат. Поражает и его чистота. Я в восторге!

Тот же день. Обед.

Я в Петергофе!

Нужны ли еще какие-либо слова? Здесь просто потрясающе! Финский залив… это свобода, это вдохновение! Я обожаю эти фонтаны, парки, дворцы! Это музыка Питера, которая вдохновляет меня!

Музыка в каждом движенье,
Даже во взмахе ресниц.
И в перезвоне капели,
В шепоте учениц.
Только послушай,
*Ветер **а**льтом звенит в ушах,*
Басом стучит по крыше
Дождь
Кап-кап-кап.
И колокольчатым эхом
Бежит — звенит ручеек,
В доме, с прогнившей крышей
Кто-то играет CONCЁRT.
Только послушай,
Как в мае вишни в садах цветут,
Как зимой созревает
Заморский оранжевый фрукт.
Как бьется сердце друга
Сначала спокойно — ДО
Еще подожди, подруга —
И вот уже —
ДО-РЕ-МИ-СОЛЬ-ФА-СИ-ДО
Музыка в струнах, в нервах,
В крике детей, матерей,
в зале, где папы встречают
впервые своих детей.
Музыка без начала.
Музыке нет конца.
А мне говорят: «Видите ли,
Музыка начинается
Со скрипичного ключа».

13.30

Погуляла в Верхнем парке Петергофа. Он восхитителен. Так ухожен, сразу видны труд и забота людей. Как бы я хотела здесь жить: море, дворцы, фонтаны…. Наверное, это мой рай.

И вот еще, я решила: Минск мне муж, а Питер — мой любовник! Обожаю этот город!

19.15

Побывала на Смоленском кладбище. Причина, по которой я так хотела побыть именно в этом месте, в небольшой часовенке Ксении Петербургской. Правда, найти это место оказалось труднее, чем я думала. В Питере — и это минус! — мало указателей. Ну, или это я чего-то не замечаю. Купила себе «Божественную комедию» Данте. Мой подарок от возлюбленного… Настроение церковное, торжественное. Помолилась о бабушке.

22.30

Купила билеты в театр! Это так здорово. Погуляла по Невскому, отыскала главный книжный магазин и даже разобралась в питерском метрополитене!

Люблю тебя! Ты вдохновляешь!

И хочется сказать «Прости»,
хоть я ни в чем не виновата.
Все это майские дожди
волнуют сердце, что чревато.
Я не хотела уходить
и оставаться не хотела.
Нам в ВЕЧНОСТИ б с тобой застыть,
но нас прогнала Королева.
Вагон метро.
Мой поезд.
Время.
Я ухожу в свое похмелье.
Ты остаешься на платформе.
Минута — Вечность.
Двери молний
И —
ТИ-ШИ-НА.
Ни звука больше
Не удержал.
Осталось только
Многоточие...

31 мая 2014

3 часа ночи. А я только вернулась с ночной экскурсии. Потрясающе! И какой великолепный рассказчик наш гид! И про Достоевского нам рассказал, и про Пушкина, и про Романовых, и поверья разные… Питер, действительно, может быть разным. И он для каждого свой.

Для меня Питер — это суровый мужчина, не в смысле злой, но, как Рэд Баттлер, настоящий мужчина, очень притягательный. Мефистофель…

Люблю я его. Просто люблю вопреки всему.

Спокойной ночи, Петроград. До… сегодня!

31 мая 2014. 10.20

Утро. Обзорная экскурсия. Свежее утро, вкусно пахнет Питером. И еще светит солнышко… Я в предвкушении сегодняшнего дня!

15.40

Мы побывали в Петропавловской крепости. Ни для кого не секрет, что именно там находился Федор Достоевский в ожидании решения императо-

ра. Как это страшно. На весах: жизнь и смерть. Хуже наказания нельзя и придумать! Как на самом деле это жестоко!

Побывали на набережной, около Авроры, в которую теперь не пускают. А после экскурсии я отправилась на смотровую площадку в Исаакиевский собор. И это было просто потрясающе! Питер с высоты птичьего полета, кажется, его вместе с его соборами, парками и скверами можно уместить у меня на ладони! Чувствуешь себя свободной, как птица!

Сейчас еду в парк, а записи делаю прямо в метро! Как романтично…

16.30

Я в парке. Покаталась на русских горках и форсаже! Это, конечно, классно, только уж очень я почувствовала себя одинокой. Сюда бы с моими друзьями приехать, как было бы здорово… Почему-то вспомнился Севастополь…

19.10

Еле успела в театр. Так получилось, что я, выйдя из метро, долго не могла сообразить, в какой стороне наша гостиница. А гостиница мне нужна была, чтобы переодеться. Не в джинсах ведь в театр идти! Но на самом деле мне очень повезло, я встретила знакомых, которые мне подсказали, куда идти. Добежав до гостиницы, вся мокрая, я приняла душ, быстро собралась — и опять бежать. Понимая, что опаздываю, хотела уже было брать такси, но услышав цену, передумала. Мне кажется, что сам Питер, как галантный джентльмен, вел меня. Иначе как объяснить, что с первого раза я повернула в нужном направлении, отыскала нужную улицу и вбежала в театр в 19.10?

И даже не это удивительно. В этот день спектакль задержали на 15 минут! Как будто специально для меня.

Что касается самого театра. Драматический театр имени Комиссаржевской располагается на улице Итальянской. Это относительно небольшой (чуть больше Купаловского) зал, оформленный в моем любимом зеленом цвете. Красивая люстра, которая может посоревноваться с люстрой Купаловского, занимает почти все пространство высокого потолка. Ангелы поддерживают колонны. Сцена большая, справа располагается ложа. Зеленый цвет разбавляется сиреневым и золотым. Очень уютно!

21.00

Спектакль «Шесть блюд из одной курицы» задержали на пятнадцать минут. Естественно, в зале уже поднимался недовольный гул. Однако как только открылся занавес, мы обо всем забыли! Жизнь, которую представили нам в одном действии, полностью поглотила нас. Всегда актуальный сюжет: мать, которая не дает своему сыну спокойно жить; сын, который разрывается между матерью и женой; жена, которая страдает от постоянных нравоучений свекрови. На самом деле это была комедия, по мне — это самая настоящая драма. Мне очень понравилось: живо, интересно, смешно и серьезно! Только в самом конце стало немного грустно. Играла пожилая актриса (но как она играла!) Короткевич, имени я, к сожалению, не запомнила. Мне почему-то кажется, что спектакль задержали именно из-за нее. Сколько же нужно иметь в себе внутренних сил, чтобы так сыграть, нет, прожить на сцене, полностью покорив зрителя. А после она рассказала нам про блокаду. В этот момент я стала истинной петербурженкой. Это ни с чем несравнимое чувство на краткий миг стать частью города, частью Петербурга. И за это я тебя, мой Питер, благодарю!

23.40

Несмотря на столь поздний час, еще довольно светло. Немного, но я застала белые ночи. Очень устала физически, но это такая мелочь по сравнению со всеми подарками, которые я сегодня получила!

После театра я отправилась к Спасу на Крови, до которого, правда, я так и не дошла. Гуляла по Невскому, встретила Его.

Я зашла в магазин купить сувениры домой. Молодой человек оглянулся на звон колокольчика. Брюнет с карими глазами (а ведь именно так я представляла себе мой Питер) внимательно смотрел на меня. Я в чудесном черном ажурном платье медленно, как в кино, спускалась вниз, тоже глядя ему в глаза. Наконец, смутившись, он поздоровался, я ответила ему обворожительной улыбкой и тоже сказала «Здравствуй!». Магазинчик, в который я зашла, состоял из двух отделений. Я направилась ко второму, где было мало людей. Оказалось, в этом зале продавали дорогие украшения. Но я не растерялась и с интересом, что трудно было ожидать от человека, в кармане которого не так уж много денег, стала разглядывать потрясающий кулончик из янтаря. Через некоторое время Он оказался в этом же зале. Пара улыбок, пара взглядов из-под ресниц. Ни для него, ни для меня не было секретом, что между нами возникла какая-то связь…

Как можно дольше я оставалась в магазине, хотя и понимала, как это глупо. Наконец, вздохнув, покинула Его. Шагая по Невскому, чувствовала, что ухожу от чего-то важного.

— Подождите! — услышала я и, обернувшись, увидела Его.

Мы стояли посредине улицы. Люди проходили мимо. Без лишних слов мы пошли вместе.

Он показал мне кондитерскую, хотя, по мне, это был самый настоящий сказочный домик. Мы пробыли здесь недолго, съев потрясающе вкусный макаронас. А затем, узнав, что я пишу, он отвел меня в книжный магазин для писателей! Я была в восторге, хотя ничего необычного в этом магазине не было. Но после встречи с Ним все казалось необычным, проникнутым какой-то нереальностью, зазеркальностью. Потом мы отправились к Фонтанке, где на мостике любви он подарил мне кулончик, который я рассматривала в магазине, а затем неожиданно меня поцеловал. Никогда не думала, что я смогу целоваться с почти незнакомым мне человеком. Но иногда просто понимаешь, что это твое. Твой город. Твой дом. Твой человек! И не важно, что через 24 часа я уеду и еще раньше расстанусь с тем, в кого влюбилась с первого взгляда. Никто не в силах отнять у нас наши воспоминания об этом дне, никто не в силах изменить наши чувства!

Я загадала два желания, знаю, мой город-любовник обязательно их исполнит…

Давай немного помолчим,
Слова лишь делают больнее.
Давай немного погрустим,
У нас осталось еще время.
Твои глаза.
Мои глаза.
Застывшая мольба о счастье.
— Прости меня.
— Прощу тебя. Но не смогу с тобой остаться.
— Люби меня.
— Люблю тебя. Но не могу с тобой остаться.
— Тогда забудь, оставь меня. Сотри себя из моей жизни.
— Я не могу, хоть и хочу, но не смогу с тобой расстаться.

...давай немного помолчим.
От слов больнее, ты же знаешь.
Давай немного погрустим,
Качая в колыбели время...
Твои глаза.
Мои глаза.
Застывшая мольба о счастье.
— Ты не уйдешь?
— Я не уйду.
— И не забудешь все, что было?
— Я не смогу.
— Но я люблю...
— И я люблю. Не говори больше ни слова.
Давай немного помолчим.

. . . .

Давай немного погрустим.

. . . .

Застывшая мольба о счастье.

1 июня 2014
12.00
Выселились из гостиницы, поехали к Лавре. Спокойное, намоленное место. Нашла иконы Пантелеймона и Всецарицы. Думать могла только о бабушке. Очень хочется верить, что ей станет лучше. Купила ей серебряный крестик, надеюсь, что он ей понравится.

13.00
Институт благородных девиц. Просто потрясающе. Очень бы хотела здесь учиться. Наверное, в прошлой жизни я все-таки жила здесь. Во всяком случае, об этом приятно думать. Как же мало я знаю. Даже о писателях. Блок, оказывается, похоронен на Смоленском кладбище, а надгробие находится на Волковском... Надо обязательно заниматься своим самообразованием. Вспомнился разговор с бабушкой.

Я: Все! Университет и образование меня полностью разочаровали. Хочу, как Лев Толстой, бросить все и заняться самообразованием.

Бабушка: Внученька, Лев Толстой был графом, он мог себе позволить заниматься самообразованием, не учась в университете. А мы бедные люди...

Против бабушкиной логики не попрешь!

А мы тем временем едем к Казанскому собору.

14.00
Такой огромный собор! Я просто поражаюсь — как?! Как такое могли создать люди! Это просто удивительно, думаю, без помощи высших сил не обошлось! В Соборе, конечно, нет того умиротворения, что я ощутила в Лавре. Наверное, потому, что много туристов. И все же труд людей не может не восхищать!

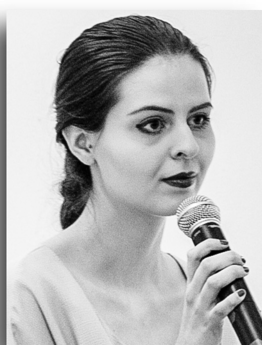
15.30
Художник Ройт, Клод Желле.
Мумии.
Античный зал.

Потрясающие портреты.
Александровский зал.
Ван Гог.
К. Моне и другие импрессионисты.
Вот таким для меня был Эрмитаж. Красивый, богатый, роскошный.

16.30
Питер, мой дорогой и любимый, как я благодарна Богу за встречу с тобой. Ты был в это короткое свидание таким разным, но одинаково потрясающим. Ты столько подарил мне, так обогатил мою жизнь! Я люблю тебя, мой дорогой город-любовник.

Сейчас я иду уже к автобусу, больше остановок не будет.

Еще чуть-чуть — и Оля вернется к своему законному супругу, а пока… ☺



Марта РАЙЦЕС
Российская Федерация, г. Волгодонск

Наследие

Рассказ

Веранда Кровского. Деревянная. Трещит под ногами, как его проза. Помню запах реставрации как дочь антиквара. Наклоняюсь к полу, чтобы вдохнуть припыленный лак. А пахнет кедром. Сохранился сам, как от корня питается, ничем не покрытый. Гладкий и голый на ощупь. Розоватый и светлый, как мое лицо. Трогаю то кедр, то себя. Не могу поверить, что я лежу на веранде дома Кровского.

Ограждение низенькое и без шишечек. На всех домах, что видела в папиных альбомах, заборы уродовали этими круглыми резными наростами. Веду рукой по пустым перилам и почти обхожу дом кругом, когда касаюсь туфлей босой ноги. Облокотившись на доску, стоят два парня.

— Ребята, а часто о Кровском говорят?

— Все время, — тот, что постарше, откликается нехотя.

— А что говорят?

— Не знаю. Я не читал.

— Но ты же в его дом пришел.

— Мне нравится дом, тут речка недалеко.

Смотрю из дома на воду. Обычная. Сегодня спокойная. Чистая, незамутненная производством. Перебираю в памяти строчки, шевелю губами и ловлю на них взгляды школьников, запинаюсь на словах, отворачиваюсь в тень от деревьев и вспоминаю у Кровского в повести купание отца и сына. Река мне вторит, подсказывает, что это о ней.

— А от твоего дома речка далеко?

— Дома дел много. Я не писатель, некогда плавать и загорать. Отец не пустит.

— Может, искупаемся?

Подростки смотрят на меня недоверчиво. Тот, что поразговорчивее, переминается со ступни на ступню, осматривает меня в полный рост, нерешительно машет искусанной комарами рукой и спускается к берегу.

В воду захожу только я, от неловкости перед спутниками не снимая платья. Парень помладше закуривает, не смотря в мою сторону. Второй следит то ли от мысли, что утопленница, то ли от возбуждения.

— Кровский есть в школьной программе. Вы его должны были читать. — Выжимаю волосы. Река Кровского сочится по мне от хвоста до позвоночника.

Один передергивает плечами, другой пожимает.

— Ну, что вы сейчас на литературе читаете?

— Биографию Лермонтова, — курят уже оба.

— А что за биография? Кто автор? Читали уже его «Мцыри»? Или «Белеет парус одинокой...»

Река Кровского стала морем Лермонтова. Наклоняюсь и жадно пью.

— Малой, учебник есть? — Мальчики о чем-то переговариваются между собой.

Мне подносят книгу прямо к воде, а у меня руки влажные. Прошу найти страницу. Пепел с сигареты школьника падает на обложку. Не стряхивая его и не туша бычок, лезет в содержание, долго ищет и открывает передо мной разворот.

«Михаил Юрьевич Лермонтов (3 октября [15 октября] 1814, Москва — 15 июля [27 июля] 1841, Пятигорск)...»

Маленькое черно-белое фото и семь абзацев крупным кеглем.

Не желая больше смотреть в хрестоматию, поднимаю глаза к солнцу. Оно бликует в моих мелких слезах, чистое, умытое текстом Кровского.

— Электричка уже скоро... Вы молодцы, что с книгой ходите. Вообще, люди здесь добрые, учтивые, культурные, показали, где дом, вы вот к речке сводили. Я бы сама в деревне не нашлась.

— Дом этот все знают. На Москву? — деловито спрашивает рослый.

— На Москву.

— Не ходит она.

— И книг мы не носим. Это учебник. Я из школы домой не заходил. Видеть никого там не хочу. — Младшему я опротивела, как и все взрослые. Я отвлекаю его друга, уже интересующегося женщинами.

Я больше не обращаюсь к детям на берегу. Спина нагревается от неба. Ноги в воде розовеют, как кедр веранды. Пора ехать, мне немного тошно стоять, чувствую себя плавучим домом. Покачиваюсь. Реку покинул отец, покинул сын. Кровский тоже уже не здесь, остался дом.

Поворачиваюсь. Мальчики отошли, не зная, ждать им или можно меня оставить.

Прохожу одна мимо окон писателя. Заглядываю туда, коснувшись невысохшей челкой пыльной рамы, стучусь в дверь, тяну за ручку и не вхожу, знаю, что открыто. У Кровского — открыто.

На вокзале мне не продают билет.

— Расписание старое. Не перепишут все никак. Не уедете вы до завтра. Это в лучшем случае.

— Простите, а поесть где?

— Дома все едят. В каждом доме едят.

Осматриваюсь впервые, утром спешила к Кровскому. Полустанок, а

не вокзал. Ни одного указателя. Зал ожидания недостроенный. Две линии рельсов.

— Ну а хлеб купить? Воду?

— У кого родственники в городе, подвозят им. — Женщина в окошке рада собеседнику, ей спешить некуда. Очереди у кассы нет.

— И у вас родственники?.. — спрашиваю от растерянности, куда идти, не знаю.

— У меня — нет. Огород, скотина. Хлеб моя бабка пекла нормально. Но у нас пшеница так себе. Мы ж раньше культурная станица были, кто тут землей занимался... А теперь она неурожайная.

— А сейчас не печет хлеб?

— Кто?

— Ваша бабушка.

— Похоронили. Туберкулез. И у меня туберкулез.

— А что ж вы сидите? Лечиться надо. — Наклоняюсь ближе, сочувственно заглядываю ей в лицо. Жалость шарит по моим карманам моими пальцами, думаю, как предложить ей помощь, не задев этим и не обидев. Полнощекая, на вид здоровая женщина смотрит на мою искаженность эмоциями с равнодушием. Ее прямота одергивает мне руки.

— Это в городе, у меня там никого нет.

У меня никого нет в этой деревне, поворачиваюсь спиной к билетному окошку, высматриваю доброжелательных незаразных людей, но их не угадаешь.

— Здравствуйте, подскажите, где отель рядом или гостиница?

Бабушка от моего вопроса не останавливается, идет быстрее меня.

— Тут такого нет. Идите к кому-нибудь ночевать.

— А к кому можно?

— Кто пустит, к тому и идите.

— А к вам можно? — попадаю в ее шаг.

— Суббота, муж выпивший. Не надо лучше.

По наитию следую за прохожей. Она оборачивается, цокает, ускоряется, спотыкается о валяющийся камень. От страха ее напугать стучусь в первую калитку.

Дерево потрескавшееся. Горевшее и обуглившееся. Пока люди выглядывают и обуваются, потираю шишечку — нарыв на заборе.

Плохонько одетая девочка после долгого тихого разговора отворяет мне. Сарайный быт. Воду таскают. Удобств нет. Людей в семье больше, чем кроватей.

От вековой необустроенности и затхлости тошнит.

Меня ни о чем не спрашивают. Детям не разрешено, матери неинтересно.

Чтобы себя отвлечь и занять, думаю о доме Кровского. О маленькой кушетке в его кабинете, на которой он спал, если не писалось. О редком собрании сочинений Пушкина в шкафу. Это, строго говоря, не антиквариат, мебель плохо сохранилась, такую называют в салонах «дрова». Библиотека собрана прекрасная, великие тексты, но дорогой букинистики не представлено.

Передо мной ставят крепкий чай. Кладут рядом ложку, но коробку с фасованным сахаром с полки не протягивают.

Мертвый писатель живет в этой деревне лучше, и может быть, оттого гостеприимнее всех.

— Простите! Я чай не могу! Забыла в доме Кровского кое-что. — По напряженности понимаю необходимость немедленно объясниться: — У меня традиция. Я, если оказываюсь в кабинете писателя, на его машинке

незаметно пишу ему два слова, они на бумаге не отщелкиваются, краски пересохшие... А в этот раз была и забыла. На глаза машинка не попалась.

— Ну, иди пощелкай, еще светло.

Хозяйке я на кухне лишняя мебель, ей в этих трех метрах надо до темна ужин приготовить. Мой отодвинутый от стола стул загораживает ей ящик покосившегося буфета.

— А где машинка стоит, покажете? — улыбаюсь, осознавая всю нелепость очень значимой для меня просьбы.

— Ты чё, одна боишься идти? Сына, проводи девушку!

Мальчик рад, в пути живо интересуется Москвой. Вру, что там все читают Кровского и ходят в литературные музеи. Не верит, после 9-го класса переедет туда работать, уже узнавал про столицу — никто там никуда не ходит и не читает, сперва надо купить временную прописку, а потом как повезет.

— Тут стояла. Я в город к тете уезжал. Может, переставили. — На рабочем столе словарь синонимов, календарь года смерти прозаика и следы от витых ножек машинки на зеленом сукне. — Сейчас к Юрку сгоняю, спрошу.

Остаюсь с незажженным светом. С рекой и закатным солнцем, с высохшим следом от челки на раме. С торчащими волосами. С путаными мыслями. В доме и немножечко уже не в нем. Не в себе от усталости.

Голоса заходят в кабинет раньше мальчиков, без стука.

— Так, Вавыщев ее вывез.

Вскакиваю навстречу, как если бы сам Кровский вернулся:

— На каком основании?

— Так, его отец доказал, что писатель писал от руки. И машинка ихняя — Вавыщева.

— Что за ерунда у вас в деревне происходит? — Все слова, что я читала у Кровского и других, хлынули из глаз, заткнув меня вместо детей.

— Это не ерунда, его отец — шишка в правлении.

Я смотрю на него, как на преступника, как если бы он был Вавыщевым, или его отцом, или правлением.

Юра долго моей чувствительной неприязни сносить не намерен, шаркает по ковру грязными пятками. Потирает мозолистым большим пальцем бронзовую ручку на книжном шкафу, касается с любопытством холодного фитиля керосиновой лампы и выходит без вежливости.

Обратно к забору с шишечками мы идем многим дольше. Туфли, с утра удобные, покалечились деревней.

Нас встречают лучше, чем меня днем. Плотную еду мы пропустили, но успеваем на сухари. Мальчик проголодался, но не жалуется. Набирает сухари пригоршнями, когда сытые и я берем по одному. Я вижу хозяйку не спиной, она отошла от плиты и села с нами за стол. Полная шея и пустая, длинная, иссосанная грудь. Грудь не матери, а кормилицы.

Она говорит, что мне отсюда не выбраться раньше, чем на следующих выходных. Или можно попроситься в машину к родственникам, если к кому-то приедут. Неумело острит про то, что стану из городской девушки — местной.

— Если так, буду смотрительницей музея!

Женщина рассмеялась. Перед самым сном, перед тем как лечь, она добродушна.

— Будьте, прошлую убили!

— Ужас какой? Вы шутите?

— Отчего шучу?

— Ну сами смеетесь.

— Убили, говорю, — вытирает лицо от выступившего пота передником.

— Кто?

— Народ. Они там, «наверху», говорят, этот дом — наследие вашей деревни. Так если это наше наследие, зачем нам музей Кровского? Это лучший дом здесь, нам всем дом нужен.

Я выхожу, отворяю калитку, не закрывая за собой, иду по невытоптанной дороге. Никто меня не останавливает, за мной не гонятся. Меня не назначили смотрительницей, я приезжая. Темнота, видимо, убьет.

Из-за заборов, которых я держусь, чтобы не наколоть разутые ноги о камни и мусор, лают дворовые собаки. Оградки такие хлипкие, что биение лап о доски почти обрушивает их на меня. Животные не охраняют лачуги, если бы не привязь, они сами бы их разнесли. Дворняги, как их хозяева, не кормлены. Сыты только мертвые псы.

В окнах нет света. Тут по вечерам не читают, а остальное во мраке безнаказанней. Я знаю, в каком направлении дом Кровского, я помню, где стоит остывшая много лет назад керосиновая лампа, троганная Юрой.

Я доберусь туда, но страшно увидеть там живых. Мне нужно кое-что сказать Кровскому наедине. Что-то, что я не написала на его машинке. Я признаюсь, и всем станет легче. Мне станет все равно — уезжать или оставаться.

Кажется, голос от страха отнялся, собачий лай перешептываю Лермонтовым. Другого ничего не артикулируется.

«Белеет парус одинокой...»

Я вижу уже реку. А веранду — нет. Она как уплыла. Быть этого не может, становлюсь на четвереньки и ищу настланный кедр ладонями. «...Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой…»

Чем-чем написать? Древесина такая нежная, вспороть ее до земли чем угодно можно. Ищу по себе руками, туфли мои с каблуками остались за обуглившимся забором с шишечками, монеты в кармане покатые, ни одного острия, трогаю лицо, все мягкое. Царапины над губой кровоточат вкусно. Как хорошее слово. Догадываюсь — ногтями, ногтями как себя, так и веранду. Еще до рассвета, до прихода людей, оставлю Кровскому записку.

Мое «Люблю!» коверкает кедр. Занозы во всех пальцах, заусенцы.

Дом Кровского своими руками порчу. А для кого беречь? Не оставят его ему. Заберут. То ли смеюсь, то ли плачу: я не вижу, ничего глазами не разобрать, но знаю по рези в ладонях — не достанется им чистой розовой веранды. Это было писательское. А этим — в крови.

Народ хочет от идей до Родины, любое писательское наследие себе новым присвоить. А получает пользованное автором, в крови пачканое. Чужое, даже если отворовать или получить в дар, по завещанию, — вторичное, общим не станет. Сохранить от неимущих удается только тексты. Телячью обложку съедают, папиросную бумагу с буквами скуривают, смысл перетолковывают и искажают, надо запомнить Кровского наизусть. Негде жить литературе.

На «Спасибо» воли не хватает. Руки держу на коленях. Раскачиваюсь, как на волнах.

Господи, прости! Господи, прости! Кровский, прости, отнимут у тебя веранду, я буду твоим домом. Я буду твоим домом. Как придут убивать или выгонять — так и скажу им: «Это ваше наследие, дрова ваши. А дом Кровского — теперь я».

Так глубоко темно, что не различаю в реке отца и сына. Говорю с Кровским и не знаю, он ли мне отвечает. Слог его литературный узнаю, но голоса никогда раньше не слышала.

Как бы ни была эта ночь нескончаема, до рассвета еще посиди со мной, душа. Моя ли, Кровского — неважно. Я с болью соберусь и скажу на этой веранде «спасибо».



Сергей ЧЕРНОВ

Российская Федерация, Воронежская область, Бобровский район, с. Хреновое

Юлька

Рассказ

Город был ошарашен морозом. Город сжимался; казалось, все в нем хотело замереть и застыть. И каждый, кто поневоле оказывался на улице, мечтал забиться в какой-нибудь теплый угол.

Здесь, на автовокзале, их было много, тех «поневоле». Они переминались с ноги на ногу, сбивались в какие-то кучки. Курили, втягивая в легкие табачный дым и едкий запах отработанного бензина, который висел сегодня в воздухе особенно плотно. Мороз ночью ударил резко и больно, как ножом, сковал лужи льдом, превратил сырую ноябрьскую землю в твердый глухой бетон. Отсюда, из автобуса, сквозь забрызганные грязью окна, видно было, что этот зеленый до последнего дня город превратился в призрак — дрожащий от холода, мутный.

До отправления было минут пятнадцать, и наш маленький «ПАЗик» только наполнялся людьми, а находиться в нем было уже невмоготу. Мест пока хватало на всех, но толстые куртки, меховые платки, тяжелые пятничные сумки создавали тесноту. Я разместился «на колесе», прижав к животу колени. Сиденье рядом со мной было еще пустым, но вновь прибывающие люди не давали надежд на подобную свободу, как и на то, что я вообще останусь сидеть. Я глядел в окно, зажатый между холодом по ту сторону и духотой здесь, внутри, — духотой человеческих тел, едкого автобусного воздуха, запаха истертых сидений.

В автобус влетела старуха в сером пальто (впрочем, все они сейчас походили на старух — от зимней одежды).

— Ой! — крикнула она, задыхаясь. — Юдановка?

— Хреновая! — откликнулась женщина с переднего сиденья, будто семечную лузгу выплюнула.

— Ой! — запричитала. — Уже ушел? Ой!..

И выпрыгнула наружу.

— Во припустила-то! — чей-то ехидный мужской голос.

День был похож на вечер. С самого утра — один нескончаемый вечер. Холодный — до боли в груди, до мути в висках.

Вот в автобус поднялась еще одна женщина — высокая, с по-мужски широкими плечами, она двигалась медленно и тяжело. Увидев свободное место возле меня, она стала приближаться — постоянно за что-то цепля-

ясь, на что-то наступая. Лицо ее было бледным и неподвижным от мороза, слегка раскосые глаза, казалось, не двигались. Она почти дошла до моего места, почти подняла пухлую черную сумку, чтоб водрузить ее на сиденье, но тут будто зацепилась за что-то — крепко и окончательно.

— Надя? — спросила она, повернувшись всем крупным телом к сиденью впереди. Голос у нее был сиплым, казалось, она вот-вот закашляет.

К ней обернулись сразу две головы — я видел только их вязаные шапки и пышные воротники.

— О!.. Лена? Ты? Не признала — богатой будешь! — отозвалась одна из сидящих впереди.

— И я тебя! — Лицо вошедшей женщины словно треснуло улыбкой. — Богатой бы! Домой?

— Домой… — Одна из голов отвернулась к стеклу, зато другая даже приподнялась. — Околеем, наверное, пока тронемся. А я тебя вспоминала, где ты есть? Ждала тебя — ан вот где встретились!.. Ты куда запропала? Не видно и не видно. Неделя уже прошла! — Она говорила быстро, отщелкивая слова с резкостью голодного человека. — Вот точно, хочешь кого увидеть — в Бобров езжай!

Вошедшая женщина — Лена — снова подняла было сумку и снова ее опустила.

— Да я и сама думаю, попросила человека… Так ведь приходила — а тебя нет!.. Уж и покраситься надо. В каштановый хочу. Этот — ерунда какая-то. Вон чего есть — солома. Как пугало хожу. — Голос у нее начал выравниваться, к лицу, бледному, как отпечаток, стала приходить здоровая кровь.

— Да ты бы меня и не застала! — Надя дернула плечами. — Я ж вон где! Как на работу. Гляди — целый день! Оформляюсь… С утра до вечера! Скоро и кошка не признает… Дверь бы хоть кто закрыл! Заморозят нас тут!.. Вон как получается, не сойдемся никак. Только тут и встретились…

— Витька-то мой погорел… — вдруг сказала Лена. Она произнесла это так безжизненно, деревянно, что подруга ее замолчала.

На какую-то долю секунды они будто застыли, точно кто-то там сверху поставил на паузу. Что-то вдруг затвердело и напряглось, — невидимое, но ощутимое. В автобус еще кто-то вошел, и эта онемевшая сцена тут же задвигалась, как система из двух планет. Лена наконец-то села рядом со мной, водрузив сумку на колени, словно большого разжиревшего кота, — я сильнее прижался к стеклу. А Надежда повернулась так, что уперлась плечом в спинку сиденья. Она по-совиному, не моргая, глядела на свою подругу. Стало видно, что ей около сорока, лицо моложавое и худое, с резкими, выпиленными чертами.

— Погорел... — протянула она на выдохе.

— Погорел, — четко, по-деловому утвердила Лена. Она приподняла свою сумку как доказательство. — Вот. Я из Павловска еду. Убиралась у них. Три дня там была!

— Погорел… А с ним… что?

— А что ему? С ним-то — все. А дом! Надя, ты бы видела! Все на свалку! И запах этот стоит — аж есть не могла! Сюда еду — а в горле гарь эта, жуть что! И главное — дом цел, а комнаты — все в саже, все как неделю горело! Ни промыть, ни прочистить!.. А там всего было — о-о-ой! И телевизор — в полстены! — весь черный, как будто его вот прям руками в сажу окунали. Система стояла у них, музыка, компьютеры — все на свалку, не починить!.. Там весь зал. И кухня! Они кухню отбабахали вот только что — и все, нет кухни. Пластик черный, где оплавился. Кое-где оттерли — ну что это, разве оно годится? Вика все слезами отмывала — сколько денег

вложили, сил — и все!.. А зеркало — ты представляешь? — круг в центре, ни копоти, ни пыли, а вокруг чернота! Вот будто прошел кто по дому — где гарь одна, а где чистенько, как оттерто… У Юльки в комнате все черно, а кресло ее как стояло, так и стоит. Краснючее, как огонь. Она всегда в нем сидела — удобное такое, крутится… Даже дымом не пахнет!.. Вот ее уже сколько нет?.. Они тогда его убрать хотели, переставить все там. А Витька говорит: «Нет, пускай стоит, как было при ней!» Так и оставили — компьютер, стол, кресло… Вика только тренажер туда ставила, еще до того, как Юлька… ну, они потом его убрали, говорит, не могу туда заходить, сердце кровью обливается…

Лена замолчала. То ли нахлынули на нее чувства, то ли после холодной улицы стало ей жарко, она развязала платок (копна соломенно-рыжих волос вырвалась из-под него, как из-под стражи), вытерла ладонями глаза и лоб. Ее собеседница, вынужденная молчать, казалось, не моргала. Растерянность не сходила с ее лица, но эта пауза будто застала ее врасплох. Сидеть ей было неудобно, отвернуться — тоже. Она, видимо, чувствовала, что должна что-то сказать, но выдавила лишь неопределенное тихое: «Угу… Вон как…»

Но Лене и этого был достаточно:

— Вот так! — заключила она. — Я еще тогда им сказала: на кой вы его ставите, этот камин? «Вот камин, камин!..» Это у Вики все — как загорится — и давай, и давай! И Витька мой туда же, в ту степь. Вот надо, туда-сюда, «сейчас это самое… вон люди ставят…». Вот и поставили. На свою голову! И все как назло — вот как чья рука… Их же дома не было! Ты представляешь? Да-а-а!.. К Викиной матери поехали. Юльки уже где-то год как нет. Вот она — не могу, и все. То как-то забудешься — вон придет вроде, вернется под ночь… То тихо — видать, в комнате своей сидит, в компьютере своем. Опомнишься — тишина аж по ушам бьет, мочи нет. Говорит, уехать бы куда. Да и так, отдохнуть хотя бы, дух перевести. Вон ту же кухню сделать, знаешь, как силы вытягивает? Вот и поехали они к ее — аж под Россошь. А тут у них соседка, они ее попросили, ты, мол, заходи, посматривай, мало ли… Она зашла, а там — о-ой! — аж дым из-под дверей идет! Смерть что есть!.. А тут Вике на днях сон приснился, она и говорит: домой, домой давай собираться… И звонок им прямо посреди дороги — так, мол, и так… Их как давай трясти!.. С дороги съехали, два часа за руль сесть боялись — так трясло!.. Все пропало! Телевизоры, компьютеры, камин этот… Про ковры с диванами я вообще молчу! А знаешь, что было? Говорят, бывает такое. Не часто, слава Богу, — но вот… случилось… Они, когда поехали, все повыключали, позакрывали. Камин потушили. А он прогорел — да не весь! И что-то там тлело, тлело… И как ухнет! Вот так — шаром! И в диван! Он у камина стоял, и не загорелся, и не потух, а давай тлеть, чадить — на весь дом!.. Сутки тлело! И давай — на кухню, в спальню — по всему дому!.. Они когда приехали, диван насквозь прогорел. Говорят, соседка его из ведра обливала. Вот так — погрелись у камина… Витька мой чуть не седой стал... Да я и сама оттирала у них, а у самой душа криком исходит — сколько добра, сколько добра! И все! Так ведь все-то у них было новое и самое-самое, не чухня какая-то — денег сколько вбухано!.. И все — выноси, вываливай! Вот как чья рука, будь она проклята! Я приехала, а они белые как мел, кровь с лица посходила — смотреть страшно. Господи, такой удар! Я: «Витя, Витечка, крыша-то есть, стены целы». А он как в мелу белый, руки холодные, прям ледяные. Душа чуть не ушла с горя. Стены-то целы, а сколько вложено — вся жизнь вложена! — и все прахом, все пропало! Никогда я его таким не видела… Как они переживут?.. Какая трагедия!.. Какая трагедия!.. Мебель-то у них была

дорогущая — кожа, дерево. И в гари теперь этой едкой… Даже в спальню — кровать их огромная вроде еще ничего, а вот белье… все, вот как специально измазали! Шкафы… Отмыть-то отмыли, а запах этот как стоял, так и стоит — сто лет, должно быть, стоять будет… Вика туда залезла, там платья ее были — все чумазые, вонючие. Туда-то дым как попал? Все платья. Она их выкидывает и плачет, выкидывает и плачет… Обои — сдирай. Шторы шелковые — снимай. Пластик на окнах… Телевизоры, холодильник огромный, дорогущий… На кухне — чернота, одна мойка жива… Господи, за что же это все? Вся жизнь же на это ушла! Работали, копили, недоедали… Как они это переживут? Как свет закатился! Я их никогда такими не видела!

Лена сморщилась, заерзала, будто едкая копоть дорогих вещей вновь ударила ей в ноздри. Она несколько раз с шумом глотнула воздух. Рука ее метнулась к лицу и вытерла глаза, которые вдруг затуманились. Щеки ее были влажными.

— Все в гари, все в вони! Дымища!... А зеркало — как серединку кто вытер… И кресло Юлькино — все черно, а оно стоит. Стол, компьютер — все черно… И в компьютер ее уже не влезешь. Они, как Юльку похоронили, пытались зайти к ней — да никак, пароля нет. Витька через ноутбук свой заходил, а там у нее в «одноклассниках» написано: «Не хочется уходить, а надо»… Не хочется, а надо! К чему это? Может, знала она что? Чувствовала?.. — Тут Лена, кажется, стала брать себя в руки. Она все вытирала глаза и щеки, но уже спокойно, по-деловому, и уже не ладонью, а вынутым из кармана платком. Слезы, дрожащие в глазах, куда-то пропали. — Ну не могла же она сама… Не могла! Она же девочка была умная, училась хорошо. Она бы школу вот-вот закончила. Вся такая тихенькая, глаза в маму — большущие, зеленые… Как же она?.. Ну не могла же она?.. И что она там делала, в этих пятиэтажках долбаных?.. Вика там ходила после — говорит, одни окурки и бутылок пластиковых море. Что она там делала? Дома пустые — лестница и стены… Как она… сама… Нет, это ее скинули!.. Витька в полицию сколько раз ходил, а они — нет, выпала из окна, и точка! Из окна выпала… Я у Вики спрашиваю, может, мальчик у нее был? Не знаю, говорит, не рассказывала. Она же — то в школе, то гуляет, в компьютере сидит всю ночь. Да и когда у нее спросишь?! То работа, то ремонты, стройки эти постоянные. Там времени, сил, знаешь, сколько уходит!.. Я говорю: с кем она дружила-то?.. «Да кто ж теперь знает?» Витька мой еще ходил, пытался найти. Там на их улице девочка жила, Марта, вроде дружили они. Пришел, а она глаза выпучит и головой мотать — оказывается, они еще в шестом классе раздружили, поругались из-за чего-то. Ну, с одноклассниками, наверное, водилась, но там дети-то хорошие — школа не абы какая, гранты каждый год получает… Станут они по этим развалинам лазить?.. Не хочется, говорит, уходить — а надо… Вика потом всю комнату ее перевернула, говорит, ничего не нашла, и сигарет не нашла. Значит, и не курила она, вроде как… Нет, это она не сама! Это ее скинули!.. Витька мой хотел по одноклассникам ее пройти, да все некогда — то работа, то кухню как раз отделывать стали, а за этими работниками глядеть нужно, не отойдешь же от них… Мальчика только одного встретил из ее класса, случайно, и то так, «здрасьте—до свиданья» — и спросить ничего не успел… Вот так вот все… А Вика как-то с рынка домой шла, а по другую сторону девочка из Юлькиной школы. И, говорит, так на меня посмотрела! Говорит, так и подошла бы к ней — в волосы бы вцепилась: «Тебе-то я чем виновата? Ты знаешь, как все это дается-то?! Ты на свой-то телефон не заработала, а смотришь! И тебе-то я виновата?!» Весь день потом сама не своя ходила. А Витька…

Кто-то из вновь вошедших задел Лену то ли сумкой, то ли рукой, стараясь пролезть на заднюю площадку. Лена обернулась, сердито наморщила лоб. Затем вернулась к своей подруге, уже растерянно — она сбилась. Чтобы хоть как-то смазать свою потерю, расстегнула верхние пуговицы коричневого пальто и вытерла крепко вспотевшую шею. Ее подруга, Надя, смотрела уже без прежнего удивления. Ей, так резко оборванной в самом начале, казалось, было до раздражения неприятно. Будто вместе со словом вынули из нее какую-то важную пружину, и оттого она ерзала и никак не могла согреться — единственная в этом душном автобусе. Но даже сейчас, когда настал момент взять в свои руки то, что, казалось бы, ей принадлежало, она не могла, а может, уже и не хотела найтись, молчала.

По ту сторону холодного стекла отходили другие автобусы, обдавая асфальт выхлопом, точно кипятком. Проходили мимо молодые люди — втягивая головы в плечи, но как один — без шапок. Маленькое зданьице автовокзала тонуло в стылых деревьях, а стены старой воинской части — их было видно отсюда — с побитыми окнами и облупившейся краской напоминали плохо очищенный, розовый с белым апельсин — казалось, и их побило не временем и пустотой, а морозом.

Люди все прибывали и прибывали…

— О! Вике такой сон приснился! — Лена нашлась, будто ее озарило. Она энергично подалась вперед, вцепилась руками в спинку Надиного сиденья. Голос ее снизился до полушепота. — Они еще в Россоши были, у матери ее косой… Снится ей — дом. И Юлькина комната. И Юлька сидит в кресле! И вся она такая — щечки розовые, платье на ней красное в белый горошек — красивое-красивое! И улыбается!.. Кресло тут закружилось — она в нем кружится и улыбается, волосы по плечам… Остановится и говорит: «Мама, кто в моем кресле сидит?» Покружится — «Мама, кресло-то хоть мое!.. Мама, кто в моем кресле сидит?» Покружилась — и будто дымом подернулась. Плыть стала. Дымом поволокло и тает, тает… Она проснулась и говорит: поехали-ка домой, душа не на месте… А посреди дороги им и звонок!.. Господи! За что им это? Там же все было — самое дорогое, вся жизнь их! Недоедали, недосыпали! Глаз не смыкали! Вся жизнь, самое дорогое! За что им такое, Господи?!.. А я вот от Павловска сюда уже еду, Вика мне звонит, говорит, Витька кресло Юлькино топором изрубил. На помойку выкидывать собирается…

Тут в автобусе все вдруг зашевелились, зашуршали. Наконец-то появился водитель — тучный, с морщинистым, похожим на застывшее тесто лицом; когда он поднялся на ступеньку, автобус слегка качнуло.

Елена озиралась по сторонам, что-то выискивая. Затем схватила за локоть мужчину, что сидел через проход, — он сидел там один:

— Мужчина, вы к молодому человеку не пересядете?

Тот молча повиновался, и Лена, взяв Надю под руку (скомандовав ей: «Пойдем!») перебралась на его место. Мой новый сосед был в дорогом узком пальто угольного цвета. Его коричневое загорелое лицо с синеватой щетиной казалось пустым, отстраненным. От него приятно пахло одеколоном. Водитель, двигаясь полубоком, собирал свою ежедневную дань. Кто-то показывал билет и говорил магическое «с Воронежа», кто-то протягивал деньги и ждал свою железную сдачу. Когда водитель поравнялся с нами, мой новый сосед достал ровно сложенный желтоватый листок и, нелепо улыбнувшись, откомментировал: «Справка об освобождении». Водитель помялся с ноги на ногу и недовольно двинулся дальше.

Там, через проход, Лена все еще увещевала свою худощавую подругу, но та, уже не стесняясь, смотрела не на нее, а отвернувшись, — в окно.

— Господи! Как они переживут?!.. Там ведь все, вся жизнь их — всю жизнь строили, всю жизнь копили… Там ведь все было — самое лучшее!.. Недоедали, недосыпали! Как они… Никогда я их такими не видела. Никогда они так не переживали… Какая трагедия! Ох, какая трагедия!..

А водитель был уже за рулем. Хлопнула гармошка-дверь, отрезав духоту от холода. С хрипом завелся двигатель, заставив автобус дрожать, как в угаре.

Как ни странно, но наш маленький «ПАЗик» еще зиял пустыми сиденьями, хотя казалось, что люди все прибывали и прибывали, что в нем становилось все теснее и теснее, и нечем было дышать. Должно быть, какой-то обман, ноябрьский холодный мираж застилал глаза и чувства, все это время наполняя автобус призраками…

— Ну что, едем? — чей-то ехидный мужской голос.

И мы тронулись…

Ошарашенный морозом город, город-призрак — дрожащий, мутный — плыл перед нами. Размытый, как само время, перерастал он и в реку, и в пустые поля, и в кромку леса — не шевелящегося, стылого. Поля спали, оставленные человеком на зиму, чтоб по весне быть разбуженными руками и плуговой сталью; поля живые, созданные рожать и кормить в ответ на человеческий труд, простой и грубый человеческий труд — живое за живое…

В одну ночь… Мороз ударил резко и больно, как ножом, размыл и сковал, объединяя все: и твердую, как бетон, землю, и дымные призрачные небеса.



Зарина БИКМУЛЛИНА
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

Случай на дороге

Рассказ

— А я до Нагорного точно доеду?

Кондукторша была уже порядком раздражена назойливым пассажиром.

— Точно, точно!

— А вы мне точно скажете, когда выйти?

Контролерша потихоньку начала закипать.

— Мужчина, у меня склероза нет, если вы мне пять раз повторили, то я уж точно высажу вас там, где надо!

Пассажир ненадолго успокоился, но все еще продолжал нервно бегать глазами по автобусу. Встретив чей-нибудь взгляд, он с мольбой заглядывал в лицо, как потерявшийся ребенок.

На очередной остановке двери автобуса с шипением приоткрылись, и в салон вошел IPhone, к которому в качестве дополнительного софта прилагалась моднявая барышня в дырявых джинсах. IPhone уселся рядом с беспокойным пассажиром. Тот посмотрел на него снизу вверх.

— Вы не знаете, как дойти до Нагорного? — робко вопросил мужчина. В глазах барышни отобразилась активная мыслительная деятельность, прямо-таки движение шестеренок, после чего она изволила ответить:

— А это вообще где? — надула большой пузырь жевательной резинки, пахнущей арбузом, и громко им щелкнула.

От пассажира пахло не арбузом, а перегаром. Личность это была непримечательная: невысокий, сутулый, щупленький мужичок с брутальной, прямо-таки голливудской щетиной. Выглядел он лет на пятьдесят, хотя кто знает… Все его лицо можно было бы обрисовать несколькими полукругами: мешки под глазами, нос картошкой и носогубный треугольник, опять-таки, не треугольный, а полукруглый — всему причиной уныло обвисшие щеки. Глаза имели вообще какой-то невнятный оттенок: то ли голубоватые, то ли серые. На фоне почерневшего лица они казались прозрачными и даже неживыми, но вместе с тем выражение их было какое-то молящее — неясно о чем. Куцые брови и обвисшие веки словно делали акцент на этих глазах, отчего взгляд мужичка казался по-детски наивным и даже изумленным. Если бы не потемневшие белки, цветом напоминавшие матрасы в поезде Нижний Тагил—Волчанск, можно было бы сказать, что глаза эти с удивленным взглядом случайно заблудились на лице профессионального забулдыги.

Одет он был в невнятный свисающий свитер и синие треники с гордой надписью «Adibas». Свитер то ли был ему велик, то ли просто износился до такой степени, что весь энтузиазм, который заставлял несчастный предмет гардероба держаться на сутулых плечах, иссяк — и теперь невозможно было даже определить, какого он был цвета. Кажется, белого.

— А куда мне там идти? — снова заговорил он.

Кондукторша издала неопределенный звук, нечто среднее между «пыф» и «уфф», и выпустила из одного уха струйку пара.

Мужчина начал оправдываться:

— Я там семнадцать лет не был… А только вышел, сразу туда — а дороги не помню. Она вверх подымается?

— Нет! — рявкнула контролерша. — Выйдете на остановке, немного назад пройдете и вверх подниметесь!

— А я уж думал, может, кто проводит. У меня мать там живет… Может, и на порог не пустит, — тихо пробормотал пассажир.

Наконец автобус остановился у серой будочки, совмещавшей функции остановки и ларька, где когда-то ворчливая продавщица с таинственными гусарскими усами над верхней губой продавала сигареты и пиво в трехлитровых бидонах — чтобы страждущие могли приложиться к благословенной жидкости. Впрочем, ларек пустовал уже давно, деревянные опоры покосились, вывеска, некогда гордо гласившая «Встреча», отвалилась, и лишь недавно установленное электронное табло, на котором зловеще горели красные цифры: «До прибытия 91 автобуса осталось 7 минут», подавало какие-то признаки жизни. Кондукторша с видимым облегчением крикнула: «Наго-о-орный! Мужчина, вам выходить!»

Пассажир встал и пошел к дверям, но вдруг остановился и с потерянным видом посмотрел на нее:

— А… куда?

— Вон туда, вверх, давайте, не задерживайте! — отрывисто пролаяла контролерша.

Пассажир шагнул на серый поребрик, и красный автобус, счастливо взмыкнув, умчался навстречу обеденному перерыву. Мужичок остался на остановке один. За останками серого ларька виднелся забор неопреде-

ленного цвета, из-за которого выглядывала яблоня, вся в цвету. Несколько веток нависло над улицей, и бело-розовые лепестки сыпались на зеленую траву. Под яблоней бодро зеленела едва появившаяся редиска.

Яблоню густо облепили взъерошенные воробьи, которые бодро обсуждали глобальное потепление и геополитическую обстановку в Зимбабве, — вид у них был серьезный и озабоченный. Бело-розовая яблоня с сидящими на ней коричнево-сероватыми воробьями напоминала портрет Жанны Самари, на который далекий от эстетического чувства колхозник бросил горсть гречишных зерен. На недооцененный шедевр приземлилась франтоватая сорока с щегольской манишкой и иссиня-черными фалдами фрака. Прибыл и президент Всемирной Ассоциации по вопросам геополитической обстановки в Зимбабве. На портрет Жанны Самари нерадивый селянин подкинул арбузную косточку.

Сорока начала трещать без умолку — видимо, распекать подчиненных. Те не захотели слушать ее возмущения и дружной стайкой слетели с дерева.

Мужичок словно вышел из оцепенения и медленно начал подниматься вверх вдоль серого забора.

В его голове мелькали обрывки воспоминаний, случайные наборы слов и мыслей. Дочь — сейчас уже наверняка далеко не малышка. Мать — отчего-то она вспоминалась такой, какой была в детстве, когда он приходил домой слишком поздно и с полными карманами надерганных на чужом участке яблок. У соседей были три яблони: одна «аниска» и две «волжские красавицы». Ваське «аниска» не нравилась, она была какая-то рыхлая и мутная, как кисель в детском лагере. Совсем другое дело — «волжская красавица», душистая, сладкая, хрустящая, сочная. Когда ее срываешь, слегка повернув заветный плод на четверть оборота, и он сам падает тебе в руки, ты сразу чувствуешь этот невероятный запах, свежий и терпкий одновременно. Набираешь полные карманы, бежишь скорее домой, чтобы не засекли, и одно яблоко надкусываешь по дороге, потерев о старую отцовскую рубашку… А у него такая сочная белая мякоть, оно хрустит и пахнет летом. В те дни, когда он шел с добычей домой, мама словно чутьем обо всем знала заранее. Она грозно вставала в двери, сложив на груди руки и строго поджав губы. И Васька шел на покаяние к соседям — сдавать краденое. Соседи, разумеется, давали индульгенцию, но яблоки все-таки оставляли себе.

У Васькиных родителей яблонь не было.

Почему-то мать вспоминалась только такая — из детства.

Василий прошел мимо унылого забора и остановился в нерешительности: дорога расходилась вправо и влево, как рогатка, из которой он в детстве стрелял в воробьев ягодками рябины.

Он решительно не помнил, куда идти дальше — направо или налево. В голову отчего-то настойчиво лезла глупая детская считалочка, при помощи которой они с пацанами определяли водящего:

Вышел немец из тумана
Вынул ножик из кармана…

Василий закрыл глаза и потер виски. Недавно выпитая дешевая сивуха оказывала свое действие — голова начинала раскалываться. Хмель уже давно выветрился, остались только печальные последствия: противная головная боль и ощущение, будто все бесчисленные кошки бабки Нюры из соседнего дома выстроились в очередь, чтобы нагадить у него во рту. Он с надеждой обратился к проходящей мимо пожилой женщине с мальчиком,

который воображал себя вертолетом: вращал в руках длинную палку и угрожающе жужжал.

— Эй, мать… Слушай, мать! Где здесь дом Горелкиных?

Женщина была искренне возмущена.

— Да какая я тебе мать? На себя посмотри, рыло алкогольное! От самого бражкой разит на всю округу, а все туда же — мать…

Мальчик на секунду перестал быть вертолетом и просто стоял, приоткрыв рот и механически раскачивая в руках палку, подобно метроному: туда-сюда… Туда-сюда…

Женщина схватила его за руку и, шипя какие-то ругательства, потащила прочь.

Василий недоуменно посмотрел на нее. Дома все были незнакомые: кое-где, взрыв разноцветными шляпками мокрую землю, дождевыми грибами выросли совсем новые строения, на каких-то обновили крышу, где-то поставили новый забор, и Василий никак не мог найти тот самый. Мимо него вихрем пронеслась стайка мальчишек — очевидно, наперегонки. Позади всех, задыхаясь, бежал низенький пухленький мальчик и истошно орал вслед товарищам: «Кроме меня, и точка!» Василий вспомнил, как сам бегал наперегонки и всегда приходил вторым — быстрее него бегал только Гришка Мартынов — высокий, голенастый, как петух, поджарый, да к тому же еще и старше Васьки на два года. Тогда был август, даже, может, последняя неделя лета; они всей толпой бежали по поселку, а из окна с затейливыми резными наличниками на них завистливо пялил зенки Пашка Шаров — тот сломал ногу, упав в овраг с велосипеда. А нечего было перед товарищами хвастать, мол, «Орленок» у меня. Васька бежал вторым и уже начал обгонять Гришку. Надежда, что он хоть раз обгонит этого несносного наглеца, придала ему сил, и он резким рывком вырвался вперед. Оставалось всего несколько метров до старого дерева с дуплом — условного места, означающего финиш, но вдруг прямо на финишной полосе появилась мама Васьки, схватила его за локоть и потащила домой. Гришка опустил руку на шероховатый ствол дерева и, торжествующе сверкнув глазами, гаркнул: «Первый!» В Ваське закипела жгучая обида, и он прямо-таки взвыл от разочарования, давясь слезами и отчаянно хлюпая носом. Мама затащила его в дом — и от души отлупила ремнем за то, что умчался на улицу, так и не решив задачки, заданные на лето. Все на потом откладывал.

…Зеленый дом с простеньким крылечком и почтовым ящиком на заборе, на котором шаловливая Васькина рука намалевала чертяку…

Василий тряхнул головой с короткими редеющими волосами и зашагал вверх по улице.

* * *

Остановившись возле *того* дома, Василий замер в нерешительности. Вроде бы похож, и окна те же, даже занавески, кажется… Хотя задорного почтового ящика уже давно не было, как и забора, а с крыши белым глазом подозрительно посматривала телевизионная тарелка.

Увидев за забором подозрительного мужика с типичной алкоголической физиономией, который уже несколько минут рассматривает дом, на крыльцо выкатилась толстая тетка лет эдак пятидесяти с коротким ежиком волос, покрашенных в истерично-красный цвет.

— Вам что надо?

— Мать позовите. Скажите, Васька вернулся, — сипло проговорил Василий.

Тетка ошеломленно на него уставилась.

— Вы кто вообще такой?

— Василий я, Горелкин, — гость кашлянул, чтобы скрыть волнение и хоть как-то прочистить пропитое горло. — Мать где?

— Вы, видать, напутали что-то. Нет тут никакой матери, никаких Горелкиных, и быть не может. Тут я живу.

— Но как же… — Василий осекся. — А давно?

— А чего это вы интересуетесь? — подозрительно прищурилась тетка.

— Да у меня мамаша в этом доме жила… Я семнадцать лет тут не был, только вышел — и сразу сюда, — он повторял эти слова как заведенный. — У меня дочь уже взрослая, а мать, наверное, и на порог не пустит.

— Ааа… Так вы бывших жильцов ищете? — наконец догадалась тетка. — Так они переехали.

— И давно?

— Да, почитай, шесть лет назад. Как хозяйка померла, так они и…

— Как — померла?

Тетка пожала плечами.

— Как все люди мрут, так и она. Уже в возрасте, кажется, была. Невестка ее, с дочкой, Ленкой, кажись, тоже съехала.

Василий некоторое время стоял молча, а потом медленно повернулся и побрел куда глаза глядят. Он шел долго, пока не стемнело. Наткнувшись на ларек «Роспечати», спросил у пожилой, похожей на стрекозу продавщицы восемь фанфуриков и выхлебал их один за другим, остервенело бросая в серый забор пустые скляночки и с наслаждением слушая звон разбивающегося стекла. «Лосьон хлебный для лица» и «Лосьон перцовый для волос» разлетались на кусочки, и вместе с ними, казалось, разбивалась в памяти Василия грозная мамаша, стоящая в дверях и готовящаяся низвергнуть на голову Васьки целый ураган бранных слов. Низкопробный технический спирт ударил в голову, и Василий, зашатавшись, оперся на стенку ларька. Когда земля и небо закончили рокировку, он снова постучал в маленькое окошечко и купил еще три флакона. Шатаясь, пошел по улице, по пути открыв еще один флакончик, и высосал его содержимое. На противоположной стороне улицы он вдруг увидел чье-то знакомое лицо и, расставив объятия, пошел через оживленную трассу.

* * *

Они ехали на дачу к друзьям, которые уже жарили шашлыки.

— Мяско — блеск, едьте быстрее, пока мы все не съели! — проорал пьяный голос Женьки в телефонную трубку.

— Смотрите, дождитесь нас! — погрозила пальцем пассажирка — законопослушный водитель за рулем никогда не разговаривал по телефону, и ей приходилось исполнять обязанности секретарши, отвечая на звонки.

Видимо, из дружеских чувств товарищи не стали есть мясо, зато по полной программе отыгрались на выпивке…

— Привезите еще бухла, чтобы окончательно низвергнуть этот вертеп в пучину ада, — похоронно-серьезно донесся из трубки голос Владика, который должен был развозить честную компанию, находящуюся на даче, по домам и посему не брал в рот ни капли. Голос его был трезв и звучал с такой тоской и унынием, что скулы сводило от ощущения какой-то вяжущей гадости, напоминающей незрелую хурму.

— Не переживай, уже везем, — усмехнулась девушка на переднем пассажирском сиденье.

В багажнике их автомобиля таинственно булькала о вселенских тайнах жидкость темного цвета с благородным запахом. Рядом простецки звенели бутылки с прозрачной жидкостью. Перекатывались два огромных арбуза, издававшие утробный звон, если постучать костяшками пальцев. В пакете лежали дорогие польские яблоки — с восковым налетом, ярким цветом холеной толстой шкурки и ватным вкусом мякоти.

Водитель изо всех сил вдавил педаль тормоза, но опоздал. Глухой удар.

— Леш! Что это было? — изумленно прошептала девушка на пассажирском сиденье через несколько секунд после столкновения.

Лицо водителя приняло оттенок яблоневых лепестков.

— Мы, кажется, бомжа сбили, — медленно произнес он.

— Надо помочь ему! — пассажирка, сбросив оцепенение, потянулась открывать дверь, но молодой человек, сидящий за рулем, остановил ее. Хладнокровие возвращалось к нему с невероятной скоростью.

— Стоять. Лен, я понял. Это разводилово. Ты сейчас подойдешь к нему, а он такой: за десять кусков готов все забыть.

— И что ты предлагаешь делать?

— Едем. Нас тут не было, ничего не помним и не знаем.

Девушка посмотрела на него, как на ненормального.

— Леш, ты понимаешь, что ты вообще говоришь? Ты понимаешь, что мы сбили человека? Давай хотя бы «скорую» вызовем!

Водитель воровато осмотрелся.

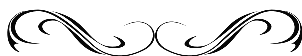
— Камер нет, — пробормотал он себе под нос.

Машина дала задний ход и, аккуратно объехав распростертое на асфальте тело с бессмысленными распахнутыми глазами, рванулась вперед. Отъехав километра четыре, водитель остановился, вышел из машины и внимательно осмотрел автомобиль. Обратно за руль сел мрачнее тучи.

— Бампер, скотина, помял, — сквозь зубы процедил Алексей.

Девушка боялась поднять на него глаза. Она зажмурилась и молча кусала кулаки, на которые капали соленые холодные слезы.

А через пять месяцев Колобов Алексей Степанович и Горелкина Елена Васильевна официально зарегистрировали свои отношения.



Оксана РЮХИНА

Мама, отец, мать

1. Пропойск, 1934

Чудеса! Мистика какая-то… Начинаю свои воспоминания. Беру тетрадь, чтобы писать, листаю, с какого бы конца начать, и вижу запись моего сына Кости: «Воспоминания»… Говорят, что некоторые люди могут вспомнить свою жизнь чуть ли не с утробного периода. Герцен, например, помнил себя в пеленках: французский солдат в 1812 году обыскивал его кроватку. Искал драгоценности. Я же из своего раннего детства помню лишь какие-то фрагменты, о которых мне никто не рассказывал. Не знаю, где это было: иду по берегу реки. Скользко, берег глинистый. И вдруг — я в воде с головой. Кто-то вытаскивает меня и несет на руках.

Во времена моего детства детей не всегда крестили, и мама говорила мне, что я некрещеная. Но то погружение в реку — из моего первого детского воспоминания, — быть может, послужило мне испытанием, боевым крещением в предстоящую жизнь. И в ней я тоже была защищена, словно бы Спаситель всегда невидимо шел рядом и в тяжкие минуты нес меня на руках.

Далее вижу себя за столом, кажется, на детском стуле. Меня кормят яичком, но не так, как раньше: яйцо размазано по тарелке, а я люблю прямо из яичка. И капризничаю. А еще помню молочный и яблочный кисели. Кисель связан с такими понятиями, как дедушка и бабушка[1], и со словом «Пропойск»[2] — городом, в котором они жили. Когда стала старше, то об этом мне рассказывали, но я никак не связывала имя города со словом «пропойца», которого в те времена, слава Богу, вообще не слышала.

2. Петрозаводск. В доме Кокушина, 1934—1936

Поездка в Минск

Видимо, в Пропойске я научилась говорить, и то, что я дальше помню, никто мне не рассказывал: это картина. Поезд, вагон, темно, очень тусклый свет. Со мною мама[3]. Мы едем в Ленинград и останавливаемся у тети Риты[4]. У них

---

[1] Дедушка: Андрей Семенович Зыков. Родился в г. Пропойске, где и умер в 1939 году. В 1880—1910-е годы был священником д. Палуж Могилевской губ.; в 1920-е отказался от деятельности. Бабушка: Мария Михайловна Зыкова (урожд. Бекаревич). См.: Письмо Н. А. Зыкова Н. А. Прушинской от 31.10.1988 // Рукоп.

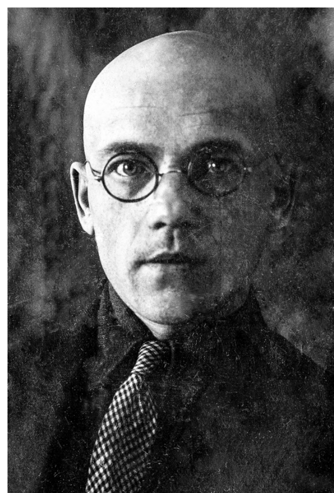
[2] Ныне Славгород (Могилевской обл.).

[3] Здесь и далее: Ксения Антоновна Шашалевич, сестра А. А. Шашалевича (Андрея Мрыя). Окончила ЛГУ в 1925 году, биолог.

[4] Маргарита Альфредовна Эрн — гимназическая подруга К. А. Шашалевич.

длинная, темная комната. Широкая кровать, я на этой кровати спала и на ней же потеряла свою куклу Олечку.

Следующая картина: очень бедно обставленное жилье: плита, какая-то лавка, я сижу на ней, ем конфеты-подушечки и даю их собаке Микашке. По-видимому, Микашка маленькая собачка, такса. У меня есть мама и дядя Коля — Николай Васильевич Хрисанфов[1]. Мы живем в доме Кокушина на улице Широкой Слободской (ныне ул. Еремеева), посредине которой есть замечательный бульвар (Левашовский, позднее Карла Либкнехта и Розы Люксембург). Это в городе Петрозаводске. Мне нет и двух лет.



Николай Васильевич Хрисанфов.

И еще картина. Топится плита, и я вытаскиваю из нее кочергой горящие поленья, а уже мама мне рассказывала, что когда она вошла в комнату, то я сказала: «Посмотри, что я наделала!» Больше она меня одну не оставляла, и когда нужно было ехать за водой на озеро, то сажала меня на финские санки, а сама с водой стояла сзади.

Дом Кокушина был выкрашен в красный цвет, наверху в маленькой комнатке (мезонине) спал дядя Коля, а внизу мы жили. Говорили, что Кокушин был учителем математики, может быть, еще до революции; он был несколько смешной и странный человек. Впоследствии я много раз видела этот дом издалека, но почему-то никогда не подходила близко к нему, и снесли его сравнительно недавно. В крошечном дворике я гуляла, попросив маму закрыть ворота, чтобы я не убежала. Запомнились мне мальчишки, которые собирались меня застрелить, и их имена: Вовка Кокушин и Боря Смирнов.

Еще один эпизод. Я просыпаюсь ночью и прошу пить. Мама дала мне простоквашу, как она это делала обычно. Внезапно я издала истошный крик: что-то укололо меня в горле. Напуганная мама быстро завернула меня в одеяло и помчалась в больницу, которая была недалеко от дома, на Военной улице. Как сейчас вижу высокую лестницу наверх, но никуда не пришлось подниматься. Пришедшая в себя мама вспомнила, что мне в горло могли попасть маленькие кусочки сахара. Мне просто дали воды — и все прошло.

Здесь же были два случая — и радостных, и грустных, — с подарками, присланными тетей Соней[2]. Замечательную куклу с закрывающимися глазами я с нетерпением ждала, но когда, наконец, получила ее и направилась куда-то недалеко в самой комнате, то нечаянно уронила ее. Остались на память только голубые глаза; они долго лежали в коробочке. Другой подарок: детская швейная машинка, вышивающая стебельчатым швом, — петляла и путала нити. Заниматься ею было некому и некогда, — она хранилась на чердаке дома Евсеевых[3]. После войны была отдана Михаилу Юдину, соседу-умельцу.

---

[1] Николай Васильевич Хрисанфов (1898—08.01.1937) — муж К. А. Шашалевич. Карельский писатель, краевед, заведующий Госархивом КАССР. См.: Писатели Карелии: Биобиблиогр. словарь. Петрозаводск, 2006. С. 270—271.

[2] Здесь и далее — Софья Андреевна Зыкова, жена А. Мрыя. В 1934—1938 годы, в связи с запретом ее специальности (педология), работала в Сестрорецке и проходила переквалификацию в Вечернем учительском институте. См.: Прушинская Н. А. Андрей Мрый на Севере // Нёман. 2013. № 8. С. 162.

[3] Виктор Яковлевич Евсеев — племянник Н. В. Хрисанфова, известный карельский фольклорист. В его доме сестра и дочери А. Мрыя жили более 20 лет с перерывами, начиная с 1940 года.

Что еще я помню из этого времени? Поход в кинотеатр. С дядей Колей и мамой. Я-то помню из фильма только лес, а мама говорила, что я закричала на весь кинотеатр: «Ёлки-палки!» Мама была этим шокирована.

Каких людей я запомнила в этот период? Прежде всего, маминых подружек: тетю Граню и Марию Ивановну Зотикову. У мамы была проблема: с кем меня оставить, когда она на работе? И я бывала у тети Грани (Глафиры Павловны Шумович) и, конечно, у Зотиковых. Помню еще девочку-финночку, которую дядя Коля называл Калевалушкой; с нею я тоже, кажется, оставалась, но редко. Домработница Раиса Андреевна («старая дева», как о ней говорили) была у нас недолго, к детям она была равнодушна. Потом появилась девушка Анни — карелка, кажется, землячка дяди Коли, из Вохтозера. Узнав, что она знает карельский язык, я спросила: а как сказать «хочу гулять»? Анни ответила «Асту пихалла» — это мне запомнилось. И еще в память о ней остался — нечаянно, но надолго, — след на носу. Анни катала меня на финских санках на горке (там, где сейчас мемориал «Вечный огонь»), и я умудрилась упасть лицом вниз на железные полозья…

Вскоре меня повели в детский сад, по-видимому, это было ближе к осени 1935 года. Маме надо было работать. А мне не хватало каких-то месяцев до 3 лет, и «начальство» считало, что я могу отставать от своей группы. Однако все-таки я пошла в садик. В первый день там подавали мусс, а я якобы сказала, что люблю его, так как мама зимой его всегда делает. Меня спросили: «А что такое «зима»?». Я ответила: «Зимой идет снег, холодно, и дети надевают валенки и теплое пальто». Больше ко мне вопросов не было.

Многое мне нравилось в детском саду: вишенки на моем шкафчике, раскладушки, на которых мы спали; помню, как в тихий час я ковыряла штукатурку, и она оказалась очень вкусной. Мы даже прыгали на раскладушках, и это было ужасно, потому что они могли сложиться. Но никто нас не ругал, вообще там никто не кричал никогда и никого не ругал. Помню имя и отчество своей воспитательницы — Анна Мокеевна.

Очень нравились музыкальные занятия. Пели мы довольно интересные песни о гражданской войне: «На Дону и в Замостье тлеют белые кости, Над костями шумят ветерки, Помнят псы-атаманы, помнят польские паны конармейские наши штыки». Я пела «сы-атаманы», и уже чуть ли не взрослой догадалась, что это «псы». Все сказанное не означает, что занимались мы только песнями из эпохи гражданской войны. Были и вполне «детские» песни, например, «Здравствуй, гостья-зима!».

Нравились мне и занятия лепкой из настоящей глины (пластилина тогда не было), и рисование, и игры на участке.

Теперь я думаю: почему я не помню по именам никого из ребят? Видимо, потому, что мы друг с другом очень мало общались, все были коллективные игры, как, например, «гуси-лебеди».

Живя еще в доме Кокушина, я заболела скарлатиной (заразилась в садике). Все, кто сидел со мной за столом, заболели.

Больница. Мы сидим на полу и играем мандаринами. За окном появляется дядя Коля. Он достает из чемодана нашего кота Петруху, или, как он его называл по-карельски, Пекку, берет его за шкирку и показывает мне. А я тоже не остаюсь в долгу, надеваю на палец мандарин и говорю: «Нарыв!»

А мама говорила, что она ужасно испугалась, когда увидела, что меня нет в палате, а оказалось, что меня просто перевели в другую.

Летом 1936 года мы с мамой ездили в Минск к дяде Васе[1], маминому брату. Он был примерно на два года ее старше, и она его очень любила. В Минске мы ходили на могилку бабушки Ефросиньи Фоминичны (матери моей мамы и отца).

---

[1] Василий Антонович Шашалевич — белорусский поэт и драматург. См.: Васіль Шашалевіч // Беларускія пісьменнікі (1917—1990). Мінск, 1994. С. 602.

Потом поехали на писательскую дачу в некие Терабуты, где дядя жил летом со своей женой Верой и двухлетним сыном Генрихом. «Дача» была обыкновенным деревенским домом, более чем скромным. Помню, что мы ходили в лес за орехами. Эта деревенская жизнь мне не понравилась по очень простой причине: меня так искусали комары, что думали, будто у меня какая-то страшная, заразная болезнь. А когда мы уезжали, то тетя Вера очень не хотела, чтобы дядя Вася пошел провожать нас на станцию, но он все-таки пошел. Там начался проливной дождь, мама плакала, впоследствии она говорила, что у нее было предчувствие: больше она никогда не увидит дядю Васю…

В доме на ул. Комсомольской, 1937

Вероятно, пока я была в больнице, мы переехали в новый дом. Уместнее сказать, перешли, так как пожитков было очень мало. Спустя порядочное время я узнала, что двухэтажный деревянный дом на улице Комсомольская (ныне Андропова) дядя Коля «отвоевал» для служащих Архива, а себе, по словам мамы, взял самую маленькую квартиру под лестницей на первом этаже. Кухня была коммунальная; я, видимо, никогда там не бывала, поэтому и не помню.

В этом доме мы жили недолго, но он мне тоже запомнился на всю жизнь. Тем более что он уцелел и во время войны. Это был второй дом от угла, от улицы Карла Маркса (бывшей Мариинской), а первый дом был домом Державина. Державинский дом был окружен садиком; и во дворе нашего дома были трава и большие деревья. Улица Карла Маркса была самая красивая в городе: здесь проходили все демонстрации во время революционных праздников, и, естественно, я все это наблюдала с большим интересом и удовольствием вместе с дядей Колей: он брал меня на руки. Ко мне он относился очень хорошо. Помню, как дядя Коля купил однажды и привез на извозчике целый ящик деревянных кубиков, из которых мы строили «нечто» — видимо, какие-то дома, дворцы. Читал мне, даже взял меня с собою однажды в Ленинград, когда ездил туда в командировку. Ехали мы в более комфортных условиях, чем с мамой. Ленинград поразил меня тем, что там совсем не было снега, как в Петрозаводске. Много хорошего было в нашем житье на Комсомольской улице. Прежде всего, я полюбила слушать радио, всевозможные песни, например, запомнила «Сулико», эту песню называли любимой песней Сталина, а у него, мол, умерла жена. В нашем садике был огромный портрет Сталина. Я представляла его себе большим, высоким, красивым.

Как потом я поняла, 1937 год был последним годом этой нашей счастливой жизни на Комсомольской улице с дядей Колей. В то же время это была годовщина смерти Пушкина, и она широко отмечалась. У нас в квартире висел красивый плакат «У лукоморья дуб зеленый…», там были и дуб, и кот, и многие пушкинские персонажи; был большой портрет Пушкина (репродукция) работы Кипренского, а дядя Коля переводил сказки Пушкина на карельский язык. Работал он по ночам, ставил самовар, и я приходила ночью пить чай и видела его рисунки на рукописях перевода «Сказки о попе и его работнике Балде». Он неплохо рисовал. Конечно, мне читали сказки Пушкина, стихи; одним из первых прочитанных стихотворений было «Прибежали в избу дети…», которое меня очень испугало. Но зато «Песнь о вещем Олеге» стала на всю жизнь одним из самых любимых моих стихотворений.

Мы интересовались не только Пушкиным, но и историей гражданской войны, участником которой был дядя Коля. Он принес в дом недавно изданную «Историю гражданской войны» с богатыми иллюстрациями; некоторые из них были даже защищены папиросной бумагой; тем не менее мне разрешалось даже бить кулаком врагов.

Мне читали различные книги, например, детское издание Гюго из серии «Книга за книгой», отрывок из романа «Отверженные» — «Козетта». Не помню, сразу ли после этого или после, мама называла дядю Колю Жаном Вальжаном. Дядя Коля думал, что я умею читать, но мама сказала, что нет.

Приезд отца. Аресты

В доме на Комсомольской улице у меня появились подруги. Валя Ковалева была, видимо, моей ровесницей, а Нина Забродина — уже школьницей (училась в той же школе, где работала мама), и ей меня доверяли. И если моя взрослая няня Анни уронила меня с финских санок на горке, то Нина ни разу не уронила меня. С ней мы катались и по Красной улице, и по улице Ленина, и по Куйбышева, и где только не катались — везде можно было положиться на подругу. Я часто бывала у Нины дома, в ее семье было пятеро детей разного возраста — и даже младше меня. Мне это очень нравилось, особенно игры, прятки, игра в мяч и проч. Как мать ее, уборщица, могла все это «хозяйство» содержать и просто прокормить семью, даже сейчас мне это непонятно. Мы дружили на протяжении многих лет.

Постепенно в нашу жизнь входило то, о чем люди, — по крайней мере, при детях, — молчали. Не знаю, почему я никогда не спрашивала у мамы, кто мой отец, где он. Может быть, потому, что отцов у детей того времени было маловато, и завидовать мне в общем-то было некому.

Но летом 1937 года к нам приехал мой отец вместе с моим братом (его сыном) Юрой. «Вот, — сказала мама, показывая на полноватого, с волнистыми волосами мужчину в сером костюме, — твой папа». Видимо, раньше она о нем мне не рассказывала. Подойти к нему я стеснялась, пробыл он у нас недолго, но Юра запомнился тем, что как-то нечаянно сломал кресло-качалку.

Эта встреча с отцом была единственной за всю мою сознательную жизнь. Он приехал к нам после двух лет высылки в Вологодскую область, потом ему позволили работать там еще только год. Далее были скитания, поиски работы…

Так получалось, что жизнь представала передо мной уже совсем не радостной стороной. Вскоре я услышала от мамы слова, предназначавшиеся не для меня — не помню, кому она это говорила, — что в семье Забродиных арестовали отца. Его обвинили во вредительстве: он работал в организации «Заготзерно», а там при проверке обнаружили какого-то жучка или червячка. Суд приговорил его к расстрелу, а чуть ли не во время суда у Забродиных родился шестой ребенок. Я-то только незадолго до того узнала, что человек может умереть, и теперь, когда слышала похоронную музыку, то сердце просто разрывалось от горя. Тем более, что я частенько видела слезы и на глазах мамы. Однажды я спросила, почему она плачет, и сама попыталась ответить: наверное, потому, что она вспоминает тетю Настеньку[1]? И продолжаю: она умерла, наверно, потому, что ела спички? Вероятно, когда я вертела спички в руках и, может быть, брала их в рот, то мне было сказано, что на спичках яд и от него можно умереть. На самом деле было отчего плакать: мамино дурное предчувствие оправдалось. 2 октября 1937 года ее брат Василий был осужден на 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах; они переписывались примерно до 1942 года, потом письма перестали приходить. Через много-много лет мы узнали, что он был убит на лесоповале в лагере[2].

---

[1] Анастасия Антоновна Грубе (Шашалевич) — сестра А. Мрыя и К. А. Шашалевич, художница и скульптор, рано умершая от туберкулеза.

[2] Грахоўскі, С. Два лёсы — дзве трагедыі // Маладосць. 1988. № 1. С. 158; Споведзь: Вершы, аўтабіяграфічныя аповесці. Мінск, 1990. С. 60; Васіль Шашалевіч // Беларускія пісьменнікі. С. 602.

В доме Евсеевых, осень–зима 1937



К. А. Шашалевич, ее муж Н. В. Хрисанфов и Оксана в 1937 г.

Дальше в моей памяти образовался как бы провал. Помню, что мы живем на Комсомольской улице, жизнь идет обычным путем, но у меня почему-то очень плохое настроение. И со стула я упала, и руку досадила, и плачу — почему, непонятно. Затем — елка, Новый год. Подарок. Какая-то детская, но настоящая (то ли фарфоровая, то ли фаянсовая) посуда, очень нравится мне, но какая-то обида есть все равно.

Елка (видимо, тогда только что разрешили праздновать елку). Я ночую не дома, а у Зотиковых. Сплю с Галей в одной постели, мне очень плохо. Я только с мамой привыкла спать. На празднике бесконечно скачут, прыгают, водят хороводы, напевают: «Шел козел дорогою, нашел козу безрогую, давай, коза, попрыгаем, печаль свою раздрыгаем…» Ко мне пристают и требуют от меня каких-то плясок: «Русскую!» А я не умею и стесняюсь. Попадаю вместе с Ниной в дом Венустовых, там очень много детей, но мне одиноко.

Затем помню, что мы с мамой шли куда-то далеко, и я капризничала, чуть ли не на ручки просилась. Затем провал в памяти, и я в незнакомом доме. Тетя Даша моет меня в детской ванночке в комнате, укутывает, укладывает спать, дает вкусные «капли датского короля» и малиновое варенье. Говорили потом, что у меня был коклюш. Мамы со мной нет. А где же дядя Коля? — спрашиваю я. Мне отвечают: в командировке…

Видимо, и я всем своим существом ощущала что-то недоброе. Маме сообщили, что ее муж осужден «без права переписки». На самом деле 28 декабря 1937 года Н. В. Хрисанфов был приговорен к расстрелу[1].

Я в доме Евсеевых. Яков Васильевич Евсеев — брат дяди Коли, а тетя Даша — его жена. Где-то днем я слышу, что мама уехала работать в Шуньгу.

Дом Евсеевых казался мне очень уютным и красивым. В большой комнате была красивая белая мебель, на такой же белой полочке стояли изящные, старинные статуэтки. Посредине комнаты был необычный патефон, находившийся внутри столика, а на нем красивые цветы — розовая бархатная глоксиния. В спальне тети Даши стоял невиданный, затейливый и пузатый самовар.

Но самое главное — в доме было много людей, они говорили и по-карельски, и по-фински, и по-русски. А я была «себе на уме»: из карельской речи сразу вычленила «Ксеня — Колян мучой»; «Коля — турма», а слово «тюрьма» мне уже было знакомо, как и само здание тюрьмы, которое мама мне почему-то уже показала.

В доме у всех были свои дела-обязанности, и для меня тоже нашлось дело: я молола кофе и толкла его в ступе. Зимним вечером, после пяти, приходили домой мужчины: дядя Яша, его сыновья: Виктор (пока молодой человек) и Игорь (младший сын), который, по-видимому, учился еще в школе. Все садились за

[1]Писатели Карелии. С. 271.

стол, обедали, мужчины разговаривали о политике, и я тоже попыталась сказать свое «слово» на тему дня: были случаи, когда в масле находили гвозди и стекло (шла «борьба с вредителями»). Взрослые улыбались.

Мама прислала мне письмо. Оказывается, она в Сенной Губе и скоро за мной приедет. Там были еще рисунки для меня — какие-то кошки-мышки. А пока мама еще не приехала, я жила у Евсеевых и наблюдала их интересную, необычную для меня жизнь.

За забором дома жизнь кипела ключом — в прямом смысле. Здесь был колхозный рынок, где продавали красных вареных раков, красивые пряники, конфеты и всякую всячину. Какая-то продавщица любила приходить к Евсеевым пить чай в обеденное время, и я «развешивала уши». Тетя Даша познакомила меня с девочками из соседних домов: Сусанной Богдановой и Тамарой Устиновой (у нее потом учились мои дети Катя и Костя). У Тамары появилась сестренка Катя, и мне очень нравился голос Тамары и даже само имя сестренки. У Евсеевых была корова, и эти девочки приходили за молоком. У гостеприимной тети Даши всегда были какие-то длительно гостящие люди: старушки, молодые женщины. Старушки — чаще сказительницы: Виктор Яковлевич записывал от них песни, сказки, руны — фольклор. А в комнате Виктора Яковлевича была вещь, которая довольно долго меня пугала: заспиртованная в стеклянной банке змея (я знала «Песнь о вещем Олеге»).

Были еще гости, которые вначале, придя к ним (Евсеевым), стояли у порога, тетя Даша разговаривала с ними, что-то делая по хозяйству. Это были две женщины: одна высокая, полная, а вторая — маленькая, морщинистая старушка Васса. Разговаривали они по-русски; позднее от мамы я узнала, что высокая женщина — бывшая хозяйка тети Даши. Тетя Даша до революции была у нее горничной, а дядя Яша работал приказчиком у купца Калинина — лесопромышленника. Нередко эти женщины приходили, прежний дом их на улице Крупской, деревянный, двухэтажный, мама мне показывала.

3. В ссылке. Сенная Губа, январь 1938 — июнь 1940

В доме Кайкиных

Но вот, наконец, приехала мама, чтобы взять меня с собой в Сенную Губу, где она, по образованию биолог, работала учительницей немецкого языка. Дорога предстояла долгая. По-видимому, это было время зимних каникул. Мы оделись во все самое теплое из того, что у нас было, и поехали. Погода стояла солнечная, лошадка везла нас через пустынные просторы Онежского озера. Иногда мы бежали за санями, чтобы согреться, но все равно запомнился пронизывающий холод. До Сенной Губы было немалое расстояние — 60 км, и мы ехали целый день.

В Сенной Губе мы сразу подъехали к дому Кайкиных, где прожили почти все время, которое провели здесь. Хозяева дома: дядя Петя и тетя Паша — провели нас на второй этаж. Здесь была довольно большая комната с лежанкой, в которой мама потом готовила и даже пекла вкусные халы. Два солидных больших шкафа, сделанные самим дядей Петей: буфет и платяной — отгораживали хозяйственный угол. Комната показалась мне очень симпатичной, вся передняя стена была увешана иконами: маме пришлось завесить их газетами. Тут же стояли несколько больших фикусов в кадках, а среди них — большой игрушечный домик. Посредине комнаты — большой стол с нарядной керосиновой лампой (ни электричества, ни радио в деревне не было). Было и удобное, мягкое кресло, обтянутое шелковой материей. Наша с мамой кровать отделялась красивой ширмой. Вся мебель была сделана дядей Петей.

Вскоре после приезда, когда я осталась одна, ко мне поднялся дядя Петя и рассказал про 9 января 1905 года: он шел вместе с другими рабочими к Зимнему дворцу (сам он был из питерских рабочих).

Тетя Паша работала поварихой в школе, а дядя Петя, может быть, официально нигде и не работал, он был постарше — за шестьдесят, вероятно. Но дома он работал все время. У него была мастерская на втором этаже. Весной пахал землю на участке, заготавливал сено для своего скота: коровы, овец, козы. Интересно, что он рассказывал (может быть, в шутку), что мог бы прожить в своем доме несколько лет, не выходя из него и ни в чем не нуждаясь. Дядя Петя был очень хороший рыбак. Однажды, помню, взял меня с собой на озеро, и я видела, как он ловил рыбу большим саком. Только раз закинул и вытащил полный сак, рыба там трепетала разной величины, билась, ее было очень много. Мелкую рыбу сушили, и я очень любила зимой ее грызть (полезная вещь).

Поначалу я очень не любила оставаться одна, когда мама уходила на работу. Появились какие-то страхи, которых я раньше не знала. Наверное, это было связано с рассказами тети Паши: они с мамой много разговаривали о жизни, о прошлом; иногда тетя Паша гадала маме, и там все фигурировал какой-то «казенный дом», непонятный мне. Особое впечатление произвел рассказ о вещем сне. Во сне тетя Паша видела двух лебедей, которые плыли в сторону Рокши (местное кладбище). Засыпая, я боялась увидеть такой сон, потому что он предсказал ей (тете Паше) смерть ее матери.

И вот произошла странная история. Я действительно увидела сон (вещий): я рассматриваю книгу, подаренную мне тетей Граней: «Сказки бабушки Арины». Там были красивые иллюстрации; одну картинку я не любила — с Бабой Ягой. Все иллюстрации были защищены папиросной бумагой, как в «Истории гражданской войны» (о которой уже шла речь). Мне снится, что книга сказок упала на пол, открылась на нелюбимой странице, и я бью рукой по Бабе Яге и говорю: «Это смерть!» Просыпаюсь в ужасе и прошу пить. Мама встает, чтобы дать мне простокваши, и падает. Я очень испугана — она без сознания. Я кричу, плачу, стучу в пол. Приходят дядя Петя, тетя Паша и выносят маму в сени. Вечером мы ходили в баню, и мама, видимо, угорела. Они положили ей клюкву в уши и как-то ее отходили. Это случай запомнился на всю жизнь.

К счастью, нашлось средство от всех страхов. Меня познакомили с хорошей девочкой, которая жила в соседнем доме, Валей Амосовой. Училась она, кажется, во втором или третьем классе. Помню, что мы сидим на полу и складываем слова из плоских деревянных плашечек с буквами и рисунками. Ю — юла и т. д. Похоже на то, что этого мне было вполне достаточно. Сначала я сама прочитала букварь, а потом взялась за книги и сразу стала читать волшебные сказки — такие, как «Маленький Мук» В. Гауфа и другие. Правда, помню, что меня затрудняли такие знаки, как твердый и мягкий, но я решила не обращать на них внимания. Меня удивило на первых порах, что написание не всегда соответствует произношению. Запомнилось, например, слово «пожалуйста»; подобное удивление стало основой будущей грамотности. Если я читала, то мне было уже не страшно. И маме оставалось только носить мне книги из школьной библиотеки. Как сейчас вижу: весна, уличка перегорожена изгородями, и мама перелезает через них, а в руках у нее — стопка книг для меня. Она одета в черное шерстяное платье с вышивкой, у нее золотистые волосы и хорошенькие туфельки на ногах.

Конечно, я понимаю, что мои воспоминания грешат неточностями, они подчас сбивчивы, но факты таковы, я не могу за все сказанное полностью поручиться. Ведь взрослые хоть и говорили при мне порой страшные и опасные вещи, но не все…

Мама часто жаловалась на головную боль, причины которой я не понимала, и мне иногда приходилось несладко, когда у нас с нею все чаще возникали конфликты: ей все казалось, что я мало ем, бледная, худенькая, с синяками под

глазами и т. д. А мне просто не хотелось. Я не успевала проголодаться, как она снова звала меня с улицы: «Ксенечка, иди кашку есть» или «…молочко пить». Дело доходило до рева с моей стороны. Прощения я никогда не просила, так как не чувствовала себя виноватой.

Анна Петровна

Весна меня очень радовала. Увидев на горизонте зеленый луг, я побежала к нему, но тут же кто-то остановил меня: оказывается, это были озимые посевы. Но все равно мне было хорошо. На улице бежали ручейки, дети делали запруды. В Сенной Губе, видимо, был обычай встречать лето: выходили в лес как бы на пикник. Скоро появилась трава, и Валя, моя подружка, показала траву, которую можно было есть. Я с большим сомнением к этому отнеслась: почему-то я боялась отравиться, — но оказалось, что щавель очень вкусный. И только в доме Амосовых я попробовала его жареным в сметане. Очень вкусно. У Амосовых я бывала не раз, у Вали были еще два брата старше ее. Мама Вали работала в артели «Заонежская вышивка», и в доме стояли большие пяла, Валя уже активно помогала маме, я восхищалась Валиным умением делать такую сложную работу. Мы играли в школу, иногда в магазин, но значительно реже, так как в магазине настоящем я не бывала. Видимо, еще этой первой весною в Сенной Губе у нас появилась новая «квартирантка». Так как мама очень тосковала, то она пригласила ее жить с нами, это была Анна Петровна — молодая учительница русского языка. Появилось трюмо, какая-то косметика, духи, мне казалось, что Анна Петровна очень красивая. Я думала, что все, кто красит губы, становятся красивыми. Но мама этого никогда не делала, губы у нее и без того были красные, и щеки румяные. Анна Петровна играла на гитаре и пела, сама себе аккомпанируя: романс на стихи Лермонтова о царице Тамаре и «Тростник» (тоже на слова Лермонтова — «Сидел рыбак веселый на берегу реки…»).

Удивительное дело: до появления Анны Петровны я слышала очень грустные песни: «Позабыт-позаброшен с молодых, юных лет…»; «Извела меня кручина…», но вот кто их пел — не знаю. С Анной Петровной связан мой первый серьезный жизненный урок. Оставшись одна, я решила понюхать духи, может быть, и надушилась, но получила выговор. Оказывается, я еще и налила туда воды, при этом попробовала отпираться. Мама мне сказала: никогда не ври, если ты привыкнешь врать, сама запутаешься, люди перестанут тебе верить, и если ты потом скажешь правду, все равно тебе никто не будет верить и не станет помогать. Это я запомнила на всю жизнь. И не только сама не врала, но и подружкам не разрешала.

Пикник на острове Букольников[1]

Видимо, я часто болела, температурила, и мама искала пути для укрепления моего здоровья. Тетя Паша, наша хозяйка, даже сказала однажды: «Такие дети не живут» или «недолго живут». Она что-то советовала маме, какой-то народный способ, но мама не могла на него решиться.

От головной боли ей помогало простое общение, колобы и калитки тети Паши, разговоры с Анной Петровной. Теперь я понимаю, как тяжело было у нее на душе. Она занималась и шитьем: платьица для меня, что-то модное для

[1] Один из мелких островков Кижского архипелага. Название образовано, возможно, от слова *букля* (рус. олонец.) — залив, пролив, — либо от слова *buki* (вепс.) — водоворот. См.: Мамонтова Н., Муллонен И. Прибалтийско-финская географическая лексика. Петрозаводск, 1991. С. 23—24.

себя. Помню, что когда мы весной поехали на пикник на остров Букольников с компанией учителей, то на нас были сшитые ею сарафаны и вышитые ею блузки (любимый белорусский национальный костюм). А к летнему путешествию она сшила себе «труакар» (с необычными застежками длинный жакет), а мне — «турандотку» из голубого креп-сатина (она говорила «креп-сатэн»); у нас были красивые зонтики от солнца.

Остров Букольников и пикник на нем запомнились и тем, что мама взяла с собой самовар. А после «чаепития на траве» мы пошли посмотреть замечательный дом, единственный на этом острове. Такого я нигде никогда не видела. В нем было много старинных вещей, красивая лестница на 2-й этаж. И что меня удивило и запомнилось: на стене висела огромная, толстая женская коса. Кому она принадлежала, я спросить постеснялась. Говорили, что хутор Букольников славился особым, очень вкусным сливочным маслом. Одна из работниц имела к этому дому какое-то отношение и работала, кажется, счетоводом или бухгалтером в Сенногубской школе. Спустя несколько лет, в Ленинграде, после войны, мы заходили к этой женщине, может быть, даже ночевали. Опять удивило, как много было в квартире красивых статуэток. Сама же хозяйка была как-то чересчур зациклена на политике. Читала газеты вслух.

Наступило лето. Мы ходили в лес, особенно чудесно было на земляничных полянах. Но было очень жарко, мучительно хотелось пить. Шли по тропинкам, вдоль которых были как бы заграждения из камней, поросшие мохом (нигде в других местах потом я таких не видела). Купались на живописном берегу Онежского озера: скалы, камни, чистейший песочек, прозрачная вода. Две церкви на берегу: одна, мне помнится, чуть ли прямо среди воды, на скале. В одной из них я однажды видела спектакль кукольного театра.

В Сестрорецке и в Москве на летних каникулах

Хлопоты за арестованного брата

Летом мы всегда путешествовали. В 1937 году лето мы провели в Сестрорецке у тети Доси (двоюродной сестры Николая Васильевича). Муж ее был видным военным — пограничником. У них была дочь Виктория, которую дома звали Рина. Эта девочка училась в школе, но с удовольствием играла и со мной, например, мы готовили обед на игрушечной плите, при этом Рина зажигала свечки; строили палатки из половиков, ходили на море (Балтийское), заходили в море, и долго надо было идти по мелководью, чтобы искупаться. Кругом был песок — чистый, светлый, как на Рижском взморье. Рина была прекрасной рукодельницей, ее работы украшали стены квартиры, она училась музыке и была отличницей в школе. Однажды мама сказала, что мы пойдем навестить отдыхавшую в Сестрорецке семью Грубе (это муж ее покойной сестры Настеньки); мама хотела повидать Нонночку, их дочку, но вместо нее мы увидели ее мачеху Марину, которая в резиновых перчатках чистила картошку. Потом мы много раз бывали в Сестрорецке и до, и после войны. И конечно, мы бывали у Бекреневых-Эрн (их бабушка, Августина Георгиевна Эрн, впервые рассказала мне о Боге). На стене у Эрнов висела картина под стеклом «Голова Иисуса Христа в терновом венце». Регина незадолго до этого родилась (1 марта 1938 года), и я качала ее в коляске.

На следующее лето мы ездили в Москву к тете Тоне Стратонович (маминой сестре). Меня водили в Мавзолей Ленина, где нужно было очень тихо себя вести. В семье Стратоновичей мы чувствовали себя очень свободно, как дома. Мама была озабочена тем, что я плохо ем, и тетя Тоня даже хлеб мне резала кубикам, чтоб я лучше ела. А дядя Леонид шутил, рисовал картины, пейзажи. Жили они в Сокольниках; от метро пройти надо было еще сосновый лес. В семье были

взрослые дети: Ира и Боря. По-видимому, в Москве я услышала песню «Катюша», и эту песню привезла потом в Сенную Губу для подружек. Стояло жаркое лето, и хотелось купаться, поэтому люди набирали воду в тазики, ванночки из колонки. Дети пытались обливаться водой. Ездили мы купаться куда-то на пруд, но мне там совсем не понравилось. Грязная, мутная вода — ужас по сравнению с Сенной Губой.

Впечатлений от поездок было много. Я увидела метро, трамвай, море, Мавзолей, Кремль. Возможно, основной целью этих поездок были хлопоты за арестованного брата Васю, и тем же летом 1938 года мы были в Минске. Тетя Вера поступила работать на игрушечную фабрику. Зимой она с Генрихом ездила в Москву хлопотать за мужа. В дороге она накрыла Генриха своей новой шубой, купленной на заработанные ею деньги. Шубу у нее украли. После Минска мы заезжали к Бекреневым, где маленькая Регина уже стояла в кроватке.

Арест Ильи Хрисанфова

На обратном пути мы всегда останавливались в Петрозаводске у Евсеевых. Там произошли перемены: в доме появилась молодая женщина — жена Виктора Яковлевича Палага (мы ее звали Полина), и у нее родился сын Толя. Встречалась я и со своей подружкой Ниной Забродиной, мы гуляли по городу, по Гостиному Двору, где было очень много магазинов. Особенно мне нравилось заходить в магазин игрушек и есть мороженое. Оно было с различными именами на вафлях, и надо было его лизать. Было, конечно, и эскимо. Наверное, бывала и у Нины в доме на улице Куйбышева.

В эти дни я часто слышала о семье Ильи Васильевича Хрисанфова. Илья Васильевич был родным братом Николая Васильевича Хрисанфова и Якова Васильевича Евсеева. Фамилии у них разные получились: священник дал младшим братьям Якова Васильевича Евсеева фамилию деда по материнской линии: Хрисанфов. Илья Васильевич получил образование в 4-классной деревенской школе, воевал во время Первой мировой войны, был награжден Георгиевским крестом, примкнул к большевикам и стал «видным» у себя в Карелии после гражданской войны. Его отправили в Финляндию как торгпреда, и он там жил вместе с семьей.

Видимо, после работы в Финляндии Илья Васильевич был назначен в Ведлозеро председателем РИКа. Но когда Хрисанфовы жили в Петрозаводске, то их квартира была совсем недалеко от Комсомольской улицы, в карциковском доме за площадью Ленина, и мы встречались. Илья Васильевич, видимо, был арестован и расстрелян в 1937 году[1].

Семья Ильи Хрисанфова в ссылке в Сенной Губе

Зимой 1938—1939 гг. к нам в Сенную Губу приехали неожиданные гости. Александра Ивановна Хрисанфова (тетя Шура, как я ее звала) с детьми Светланой (ее мы звали Наной) и Владимиром (Вовой). Тетя Шура плохо себя чувствовала, жаловалась на почки (она приехала после тюрьмы, а муж ее был арестован еще раньше, чем она). Думаю теперь, что ее арестовали как жену «врага народа».

---

[1] См.: Справка НКВД КАССР о семьях репрессированных руководящих работников, подлежащих высылке за пределы Карелии. 20 апреля 1938. Совершенно секретно // Неизвестная Карелия: Документы спецорганов о жизни республики 1921—1949 гг. / КарНЦ РАН; Науч. ред. В. Г. Макуров. Петрозаводск, 1997. — Упом. Председатель РИКа Хрисанфов (Ведлозеро). С. 290.

Конечно, при мне взрослые больше ничего обо всех обстоятельствах не говорили. Где были дети в то время, когда остались без родителей, не знаю. Про детский дом речь не шла, может быть, они были тоже у Евсеевых или у родственников Шуры (она была карелка из Колатсельги). Вова учился, кажется, в 7-м классе, Нана в 4-м. Мне было приятно, что тетя Шура привезла мне подарок — набор для вышивки, где на материи были напечатаны рисунки, а к ним прилагались нитки. Мне показали, как вышивать стебельчатым швом, я немедленно стала вышивать грибок, но далеко в этом деле не пошла: что-то помешало, может быть, болезнь. У Хрисанфовых был патефон, и жизнь наша стала сразу веселее. Дети стали ходить в школу, мать постепенно приходила в себя. Мне нравилось, что Нана много рисовала, и я пристраивалась рядом, что-то копировала, но ее рисунки были, конечно, лучше.

Настал день, когда мама сказала, что пора им жить самостоятельно, она устроила тетю Шуру на работу в школу завхозом, и со временем они переехали в комнаты при школе, хотя зима была очень холодной, и там, куда они перешли, было холодно. Но и у нас не было тепло. Морозы стояли лютые.

У них было очень уютно, чисто, они привезли какие-то вещи — видимо, из Ведлозера, например, диван, велосипед. Мама говорила, что дети очень послушные, хорошие, а тетя Шура — быстрая, ловкая, хорошая рыбачка. Например, если она куда-то ехала на лодке, то брала с собой «дорожку», на которую ловила щук. Одну из них я даже помню — огромная рыба, внутри которой была еще одна. Кроме того, тетя Шура участвовала в самодеятельности, играла в какой-то пьесе.

Но со мной тетя Шура не совсем правильно себя повела. Однажды я услышала, как она говорила кому-то, что я не родная дочь. Я, конечно, пошла к маме со слезами, но та меня успокоила, а потом показала, что у нее на животе есть шов как доказательство, что я вышла из ее живота.

По иронии судьбы оказалось, что Нана потом тоже воспитывала приемную дочь Лену. Своих детей у нее не было. Не знаю, может быть, в Швеции, Финляндии так принято, что неродным детям довольно рано сообщают, кто на самом деле их родители. Во всяком случае, Нана и ее муж хотели взять еще и мальчика.

Болезнь

Осенью 1939-го я отправилась в школу, мне исполнилось семь лет в сентябре. В те годы в школу принимали с 8 лет, но так как в деревне не было детского сада, то мама считала, что школа вполне может его заменить. Учиться я начала с удовольствием, немножко смущалась, краснела, когда меня вызывали. Помню, что мне было трудно писать, и я завидовала девочке, с которой сидела. Мама, видя, что мне трудно, пунктиром помечала мне букву «ж» (как я узнала позже, это делают в самых крайних случаях).

Но я проучилась недолго, заболела непонятно из-за чего, но серьезно. Вплоть до весны, стоило выйти на улицу, как снова поднималась температура. Не помню точно, только ли воспалялись железки, и мне, по указанию фельдшера Кюроева, мужа директора школы, мама ставила компрессы с ихтиоловой мазью, или еще были какие-то признаки простуды. Кюроев приходил к нам, когда мама жаловалась, что я ничего не ем. Он говорил: не кормить три дня, а потом дать редьки с хреном. Думаю, это была шутка, но в ней был свой здравый смысл: человек любого возраста должен есть, когда испытывает чувство голода, тогда все будет хорошо. Жаль, что мама этого, как видно, не понимала, страх за мою жизнь в обстановке террора по отношению и ко взрослым, и к детям лишал ее возможности трезво взглянуть на вещи. Наши с ней конфликты на почве еды продолжались до самой Отечественной войны.

К весне мне стало лучше. Сам же Кюроев был болен туберкулезом и умер (весной 1940-го); я была на похоронах. Помню, как мама искала какое-то особое растение для венка...

В весенние каникулы мама повезла меня в Петрозаводск (мы ехали опять на лошади, так как другого транспорта не было), по льду Онеги.

Обошли всевозможных врачей, включая невропатолога и т. д. Ничего, кроме малокровия, у меня не нашли. Считаю, что дешево отделалась, так как встречала потом девушек со следами операций, грубо сделанных, в области слюнных желез. Так что спасибо фельдшеру Кюроеву…

Чтение. Посылка из Колы

В Сенной Губе я прочитала немало разных книг, не только всевозможные волшебные сказки, но и весьма грустные книги из серии «Книга за книгой». В книге Уйда «Нелло и Патраш»[1] речь шла о мальчике, который был замечательным художником, но вместе со своей собакой погиб от голода и холода. Другой грустной книгой была «Слепой музыкант» — отрывок из книги Короленко. Были и довольно веселые детские книги, которые я с удовольствием читала, например, Э. Блайтона «Храбрый утенок Тим».

Перед Новым 1940 годом мы получили посылку из Колы. Тетя Соня и Андрей (мой отец) сообщили, что у них родилась девочка, которую собираются назвать русским именем — Наталья или Татьяна. Я была почему-то за Татьяну, но в следующем письме было написано, что назвали Наташей. Мы же сразу стали звать ее между собой Натулькой (так звали свою малышку, которая родилась чуть раньше в Сестрорецке, у Синицыных). В посылке были серые толстые валенки, полные шоколадок, и демисезонное пальто «на вырост» для меня. Валенки, теплые и толстые, я носила несколько лет, вплоть до 6-го класса, а может, и далее.

Из Москвы от тети Тони[2] тоже пришла посылка с конфетами — чемоданчики, которые можно было повесить на елку. Так, видимо, впервые, у нас в доме была и елка, и гости. Доходили до нас и новости страшные. Шла «финская война», и люди говорили об огромном количестве наших красноармейцев, погибших от холода, отморозивших ноги, ставших калеками.

4. Возвращение из ссылки, 1940

Живя в Сенной Губе, я скучала по Петрозаводску, мне даже запах бензина нравился, так как напоминал о нем. По-видимому, мама сказала Евсеевым о своем желании вернуться в Петрозаводск, потому что они сделали все что могли, чтобы помочь нам. До поры до времени я об этом не знала, и, вернувшись в Сенную Губу, мы вели свою обычную жизнь. Последние дни жизни в Сенной Губе мы жили не у Косикиных (там делали ремонт), а в каком-то другом доме. Проснувшись однажды ночью, я не обнаружила маму в комнате, очень испугалась, но скоро она пришла и сказала, что ходила слушать соловьев.

Наверное, к нам в это время приезжала тетя Рита. Помню, что, закутанная в красную шаль, она очень красиво пела, чего я раньше не слышала. Это могло быть, так как Николай Михайлович Бекренев, ее муж, работал в Петрозаводске. Она могла приехать к нему и заодно побывать у нас. Через год она приезжала к нам уже вместе с Региной.

---

[1] Уйда (псевд.; наст. фам. Мария Луиза де ла Раме, английская писательница). Повесть «Нелло и Патраш» написана в 1872 году.

[2] Антонина Антоновна Стратонович, старшая сестра А. Мрыя, работала заведующей детским домом.

Итак, мы покидали Сенную Губу в начале лета. За нами приехал Игорь Евсеев, высокий, стройный, белокурый юноша. Мы шли по тропинке через поле колосящейся ржи, среди которой синели васильки. Вдруг сильный ветер сорвал с маминой блузки красивый бант с вишенками. Игорь бросился его догонять, но так и не догнал: не очень-то хорошо мять колосящуюся рожь. Так остался в Сенной Губе этот замечательный бант — как память о нас, нашедших в ней теплый приют. Я уже не в первый раз путешествовала на пароходе и помнила, что надо широко открыть рот, чтобы не лопнули от очень сильного пароходного гудка мои барабанные перепонки. Ездить и плавать мне пришлось много. Мы с мамой как бы оправдывали свои имена — Ксения, — что значит «странница, гостья».

В Петрозаводске мы стали жить у Евсеевых, и они основательно подготовились к нашему приезду. Раньше я никогда не бывала на втором этаже их дома. Оказывается, там было три небольших комнаты и просторная «вышка». Комнатки предназначались троим сыновьям: Виктору, Севи (Северьяну) и Игорю. Вход наверх был из кухни. Теперь же Яков Васильевич сделал отдельный вход наверх, можно было попасть на второй этаж, не беспокоя хозяев. Мне очень понравился красивый балкончик перед дверью наверх. Все три комнатки освещались солнцем: утром, днем и вечером. Нам досталась восточная комнатка (метров десять). Тут уже были некоторые наши вещи из дома на Комсомольской улице: кровать, кушетка дяди Коли с медвежьей шкурой, буфетик и комод.

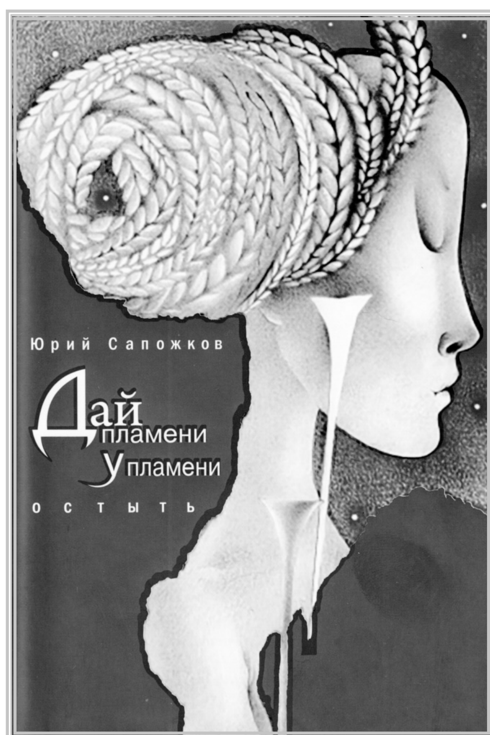
Окончание следует



С точки зрения рецензента

Пламя у пламени

Имя в русской поэзии Беларуси: Юрий Сапожков



Юрий Михайлович Сапожков (1940—2013) — поэт многогранный, многоплановый и глубокий. Каким и положено быть настоящему поэту.

С одной стороны, он принадлежал к поколению детей Великой Отечественной войны, родовая отметина которого — всю жизнь быть без вины виноватым (кто-то отдал жизнь за тебя, и ты вечно в долгу); с другой стороны, его волновали темы вечные, одинаково близкие разным поколениям.

С человеком, который представляет только свое поколение, не о чем говорить. «Поэт, принадлежавший к поколению грозных (лихих, славных, застойных — о вкусах спорить не будем) ТАКИХ-ТО годов», — это весьма сомнительная характеристика. Поэт выражает чувства всех людей, он живет вне времени; более того, именно он придает жизни поколения измерение вечности — или не придает, и тогда: «Печально я гляжу на наше поколенье!»

Сапожков всегда писал о вечном, даже если писал о мироощущении своего, судьбой посланного поколения детей войны. Поэт — это художник, способный освоить вечные темы.

В текущем, 2016 году вышла книга стихов о любви поэта Юрия Сапожкова («Дай пламени у пламени остыть». Стихи о любви. — Минск, Белорусский Дом печати, 2016). О ней и хотелось бы поговорить.

Среди вечных тем любовь, возможно, наиболее коварная — в силу того, что, кажется, опыт любви, опыт чувств доступен и внятен всем; отсюда миф: любовь — самое «доступное» из вечных чувств.

В результате же выясняется, что мало кому за проявлениями любви удается разглядеть любовь.

Вот красноречивейший пример. Цветаева мало что поняла в любви, поэтому у нее нет стихотворений о любви. Есть о симптомах (и сколько угодно) — но о любви нет. Она ненавидела любовь, потому что не понимала и боялась ее.

Совершенно верно: не понимала и боялась себя.

Между тем этот поэт женского рода воспринимается едва ли не как певец любви.

Вообще вопрос о любви в поэзии непростой. Сколько поэтов писали о признаках любви?

Да поголовно писали и пишут.

Сколько поэтов написали хоть несколько строчек о сути любви?

Единицы.

А ведь поэзия считается языком любви.

Итак, чтобы писать о любви, надо понимать себя, не бояться себя и любить себя. Понимать и не бояться — это как минимум. Глубоко о любви удалось написать тем, кто глубоко заглянул в природу человека, ни больше ни меньше.

О какой любви пишет Сапожков?

На первый взгляд, он пишет об остывающей, уходящей любви. Однако назвать его поэтом остывающей любви было бы нелепо. Отчего?

Какая-то особенность природы любви, по Сапожкову, делает несовместимой ее краткий, но яркий век с долгожительством. Замах на вечность — жизнь на миг; при этом главное в жизни мгновение хочется запечатлеть навечно. Вот этот фатальный расклад становится поэтическим законом или, если угодно, поэтическим кредо Сапожкова. Программным в этом смысле стихотворением является «Ноябрьский снег». Оно короткое, приведем его полностью.

Утра белого гонец —
Бледный свет астральный.
Вот и снега, наконец,
Выход театральный!
Как любовь, он, первый снег,
В эту пору года:
Жить рассчитывает век,
Падая на воду.

Неслучайно любовь часто рифмуется, то есть метафорически соотносится со снегом. Снег как символ горячего, но недолговечного сгустка чувств — это, конечно, удивительно и очень поэтично («Нежность», «Прозрение»); иногда в ироническом варианте «снег» может замениться «росой», субстанцией еще более мимолетной, но не менее поэтической («По мотивам английской песенки»).

Мотив остывания, охлаждения присутствует уже при зарождении любви; но остывает любовь для того, чтобы вновь неизбежно возгореться. Отсюда поэтический девиз книги, ставший заглавием: «Дай пламени у пламени остыть».

Таково главное поэтическое откровение-открытие Сапожкова, которое, в свою очередь, рождено миросозерцанием личности. Стихи о любви начинаются с философии любви: это, как ни странно, закон поэзии.

Реализована эта философия во множестве вариантов. Один из самых впечатляющих образцов философской любовной лирики — стихотворение «Любимые женщины».

Чуткая моя антеннка
Грустно язвит меня:
— Это у Вас переменка.
Были другие, вот я…

Лучше бы уж не касаться
Темы опасной, как нож.
Как мне от них отказаться,
Если и ты к ним примкнешь?

«Программа» этого стихотворения, изящно завуалированная игривой рефлексией, рассеяна по сборнику отдельными, часто афористичными вкраплениями: «Луг наш после двух покосов зеленеет в третий раз» («Принимаю полной мерой»); или в такой вариации: «Цветут в Гефсиманском саду смоковницы в двухтысячный раз» («Смоковницы»).

Глубина и многоплановость, которыми мечена настоящая поэзия, рождаются при столкновении противоречивых стихий (а игра на противоречиях, заметим, сущность афоризма). Вот лишь одна красивая афористичная строка: «Уходят женщины красиво, когда уходят насовсем» («Прощание»). Строка неоднозначная. Опасная, как нож. Разбавьте ее каплей иронии, и на вас повеет холодным цинизмом. Уберите иронию — и вы почувствуете, как пробиваются беззащитные нотки романтизма. Мне кажется, в афористически плотной строке улавливается и то, и другое (контекст «Прощания» весьма причудлив). Добиться подобного эффекта — самое сложное в поэтическом искусстве. Да и в жизни.

Но в принципе Сапожков черпает вдохновение в энергетике романтического отношения. Разбивать мир на полюса, тянуться к двум крайностям одновременно, бесконечно изумляться противоречивому устройству мира — это свойственно романтизму.

Вот, пожалуйста:

Да, я люблю тебя.
Но не настолько,
Чтобы желать тебе
С другим счастливой быть.
(…)
Если в глазах твоих
Любовь я не читаю,
Я в них хотел бы
Ненависть читать!
(«Прощай, прощай!
Как ни было бы горько»)

Пушкинскому идеалу гармонии и уравновешенности поэт явно предпочитает лермонтовскую бунтарскую стихию.

Циникам свойственно иное: они не пишут стихов. Романтизм — живая вода, цинизм — мертвая.

Эффект многоплановости в свою очередь многопланов. Отметим, в частности, такой значимый аспект. Поэт порой позволяет себе балансировать на грани моральной расфокусированности, чтобы не сказать вседозволенности, — которая причудливо оборачивается поэтической выверенностью (фокусировкой!), покоящейся на чувстве меры («Мечтать о призрачном, запретное любить», «Слово», «Твоя любовь хранит меня от бед»). Здесь уже явно ощутим сдвиг в сторону пушкинского, аналитического начала.

Мечтать о призрачном,
запретное любить —
Ума и совести жестокие терзанья.
И все-таки труднее укротить
Заведомо доступные желанья.
Я знаю, что она ответит мне,
И оттого мучительней вдвойне.

Отметим и оценим важный нюанс: стихи Сапожкова, даже когда они «излишне откровенны» (то есть в меру эротичны), не вызывают чувства стыда, все что угодно, только не это. В них нет пошлости. В фокусе всегда жизнь, любовь к жизни, которая не стесняется превращаться в гимн жизни («Каджурахо»).

Вообще Сапожков, на мой вкус, силен нюансами. Аналитика и нюансировка — близнецы-сестры. Из деталей и нюансов сотканы целые поэтические полотна. Внимание к мелочам делает и чувство, и стихотворение содержательным («Пальцы», «Твоя речь»). Порой возникает ощущение волшебства: значит, поэту удается передать неуловимое. Как художнику — оттенками цвета.

Есть своя прелесть и в этюдах, стилизованных то ли под классику персидской поэзии, то ли под Петрарку — словом, под поэтику средневековья («Хоть и не вправе я сказать тебе “люблю”», «Тебя не будет целых двадцать дней», «Забыть тебя, казалось мне, несложно»). Здесь нюансировка неактуальна. Она уступает место строгой выразительности графики. Однако современный поэтический бог сокрыт в деталях (я говорю о своих предпочтениях). В такой поэзии больше мысли, и за счет этого она парадоксальным образом поэтически обогащается.

Так или иначе «отделке» стихов (вспомним есенинское: «Отделано четко и строго. По чувству — цыганская грусть»; Юрий Михайлович, кстати, был родом из рязанского края) поэт придает большое, собственно, надлежащее значение. Мотив «поэзия есть любовь», переходящий в «любовь есть поэзия», — аксиома, он не утверждается, как откровение, просто обильно присутствует («Весной изрыв окрестные луга», «Любовь исчезла, полыхнув», «И с холодным вниманьем поэт»). «Нет тебя — и нет поэта»: поэт находит афористичную формулу и для этой вечной темы, которая «пламенем у пламени» соседствует с вечной темой любви («У тебя достоинств — пропасть!»).

В заключение несколько слов о том, что волнует в Беларуси пишущих по-русски, среди которых, кстати, изрядное количество поклонников и ценителей творчества Сапожкова. Поэт, как уже было сказано, не может принадлежать одному поколению. Это нонсенс. Точно так же он не может принадлежать одной национальной литературе. Это еще больший нонсенс. Хороший поэт всегда будет шире рамок одной, отдельно взятой национальной литературы. А плохих *поэтов* не бывает по определению. Поэт, который представляет только свою литературу, не представляет интереса для всех остальных — уже просто потому, что он не поэт.

При желании, которое легко выдать за озабоченность, Сапожкову можно

предъявить претензию: дескать, местного колорита маловато. Духа патриотизма, опять же, не хватает. Наш он или не наш?

Давайте разберемся. Писать о вечном на местном материале — это одно, и это само по себе искусство; фиксировать местное только потому, что оно местное, — это другое. Очень возможно, что кого-то интересует криво зарифмованная «аура аутентичности». Так бывает, и это грустно, конечно, но при чем здесь поэзия?

Местный материал, не озаренный колоритом вечности, превращается в унылую местечковость; вечное же всегда имеет индивидуальный образ, оно легко совмещается с местной конкретикой, за это можно не волноваться.

К какой литературе принадлежит Сапожков?

Он посвящает свои стихи Наталье Гончаровой («Наталье Гончаровой»). Он пишет о Гомеле («Я в гостинице сырой»), об индийском Каджурахо («Каджурахо»). О любви. Которой не только страны и континенты — возрасты и те покорны («В семнадцать — праздничная новь»).

Здесь и сейчас гордиться можно лишь теми, кто писал о главном в человеке. Что мешает отнести русского поэта Юрия Сапожкова к белорусской литературе?

С нашей точки зрения, не мешает ничего, — кроме глупости. Сапожков, конечно, — полновесный феномен белорусской литературы, ибо он жил и творил в Беларуси. Среди нас, живущих в Беларуси.

Что мешает отнести белорусского поэта Юрия Сапожкова, писавшего великолепные стихи на русском языке, к русской литературе?

Ничего не мешает. Кроме, опять же, глупости.

При желании можно назвать Сапожкова русским поэтом Беларуси. Этому также ничто не препятствует. Почти ничто.

Проблемы, с нашей точки зрения, начинаются тогда, когда определение *русский* (или *белорусский)* становится почему-то важнее понятия *поэт.* Это проблема националистически устроенной ментальности. Ведь поэта невозможно растащить по государствам или закрепить за географическими точками, ему всегда будет мало места на Земле; а вот гордиться тем, что поэт наш, что он усвоен нами, вошел в наш ментальный состав, — это долг культурного сообщества отдельно взятой страны. Если, конечно, оно заинтересовано в том, чтобы поэты украшали и прославляли эту землю.

Что касается патриотизма, неотделимого от национальной литературы, то здесь также необходима своя «философия».

Патриот — это человек, осознанная цель жизни которого — приобщение своей страны к высшим культурным ценностям. Патриотизм — чувство сложное. Культурное. Умное. От глупого патриота всегда больше вреда, чем пользы.

Тот, кто беспричинно и многословно изнывает от любви к родным окраинам и кущам, — в лучшем случае болтун.

Если смотреть на дела, а не на декларации, то полагаю, что Юрий Михайлович Сапожков был и остается патриотом Беларуси. Именно так. Можно писать стихи о любви и быть при этом патриотом; а можно рыдать над судьбой страны — и не быть при этом поэтом.

А не поэт — не патриот.

Ведь дилемма «поэт иль гражданин?» надуманна, она представляет собой результат некорректно сформулированной проблемы. Лукавство формулировки в том, что она допускает позицию «плохой поэт». Дескать, пусть плохой — но поэт; пусть плохой — зато гражданин и патриот.

Но плохих поэтов, повторимся, не бывает. Поэт, если он поэт, всегда по определению будет гражданином и патриотом. Не поэт — значит, графоман, способный опошлить любую «популярную» тему (для бездарей нет ничего вечного, то есть святого) — и прежде всего патриотизма. А также любви, само собой.

Поэт Юрий Сапожков пришел к нам в смутное и тревожное время с самым главным и необходимым — со стихами о любви.

Поэты всегда приходят вовремя.

Они невовремя уходят…

Анатолий АНДРЕЕВ

С точки зрения рецензента

«…Лети, душа моя, до края…»



В Издательском доме «Звязда» вышла новая книга стихотворений известного поэта Валерия Гришковца — «Как на духу». На мой взгляд, автор относится к тем стихотворцам, кому совершенно не подходит определение «мастер», — настолько его стихи отличаются «несделанностью», настолько они непосредственно живы, безыскусны, писаны, что называется, сердцем, что мысли о какой-то технике даже и не возникает. Наверно, это и есть истинное мастерство, когда его не замечаешь.

Поэзия Валерия Гришковца всегда вызывала во мне противоречивые чувства. Порой его стихи рождают своей безысходностью тайный протест в глубине нашей Богом данной сущности:

Душа зарастает полынью —
Уже и не видно ее.
За пылью, за горечью-стынью
То ль ветер, то ль дьявол поет…

И в то же время волнуют искренней исповедальностью, какой-то особой простой и сердечной интонацией:

Посиди — как будто между делом,
Руки на колени положа.
И почуешь, как сроднилась с телом
Намертво уставшая душа.

Значит, отлетать ей рановато.
Ну и ладно. И живи, живи…
Ну а боль? Она и боли рада —
Не бывает боли без любви.

А то есть с чем и поспорить:

Есть два пути — во всем;
они с рожденья
Ведут по жизни каждого из нас:
Свершений путь, побед. И пораженья,
Паденья путь — все ниже
каждый раз…

Есть два пути. Увы, по одному идти…

По мне, так чем выше забрался, тем ниже падать, и чем ниже упал, тем значительнее может быть победа, — если поднимешься…

Несмотря на кажущуюся скупость мотивов творчества Валерия Гришковца («жизнь прошла», забвение любви, беспечность прошлых лет, дороги и раздорожья…), оно не предстает скудным или поверхностным. Нет спасения от памяти — и от забвения когда-то

дорогого. Нет защиты от возмездия за когда-то содеянное походя зло — и нет альтернативы немыслимому, казалось бы, но истинно врачующему небытию — отстраненной оценке себя самого на земном поприще.

Очень сильны в некоторых стихотворениях последних лет есенинские мотивы — от почти прямых совпадений (вспоминается есенинское «…напылили кругом, накопытили, — и умчались под дьявольский свист…») до щемящих параллелей:

Спросишь. Не услышу. Не отвечу.
Повторишь. Поморщусь. Промолчу.
Ты положишь руки мне на плечи.
Я тебя поглажу по плечу.

Или:

И опять твой шепот. Все о том же.
Что ответить? Может быть, солгать?
Ну а ты все громче, тверже, строже.
— Милая, давай-ка лучше спать…

Известно, что один заблудший, но раскаивающийся грешник дороже Богу, чем сотня «добропорядочных» грешников, думающих, что не грешат, и именно покаяние составляет внутреннюю суть поэзии Валерия Гришковца:

Напылили, наплевали, наплели…
Посидели, погалдели и ушли…
А теперь… Хоть ты ворот
не отпирай!..
Вот опять идут, кричат
про счастье-рай.
Вот пришли. Расселись.
Стали по углам.
Оглядеться не успел — плююсь и сам.

И еще:

Чего же ты ищешь, что хнычешь,
Ты сам расплодил воронье…

Путь к спасению начинается отсюда. И нет всеобщего спасения без спасения личного. Это урок всем нам.

Хочется отметить одно, на мой взгляд, знаковое признание:

Не жаль мне вас, люди, —
от нас не убудет,
Мне этих вот, поздних,
под тучами, — жаль…

Это о журавлях… Оно может говорить, — помимо своей предельной искренности, — о следующем: во-первых, об изжитости чувства жалости к себе, что гораздо ценнее есенинского: «жалко себя немного, жаль бездомных собак…», а во-вторых, о зарождении в душе автора истинного смирения, ибо обычно под жалостью к людям прячется тайное чувство превосходства над ними. Тема смирения не случайна в позднем творчестве Валерия Гришковца:

Но, гляди, — не печально, не больно.
И светло, — кружит легкий снежок.
Хорошо!.. А конечный итог —
Это дело не наше. Довольно!

Истинное смирение предполагает приятие всего происходящего как должного, совершающегося единственно Всевышней волей, а посему мы не можем судить об этом как о справедливом или несправедливом — мы можем только видеть, когда мы идем против Его воли, на поводу помыслов и желаний, за что и наказываем сами себя неудовлетворенностью и тоскою. И без покаяния тут никак не обойтись. На пути покаяния возможно и обращение к истинному Свету:

Молчим. И нету слов — одно великолепье,
Как будто небо разлилось в душе…

Свет гонит уныние:

Назад? Ни-ни! И не смотреть туда.
Иди, иди! Пусть даже бездорожье,
Гроза пусть, снег, пусть страшно
и тревожно,
Иди, иди — еще горит звезда.

Свет дает жизнь:

Будет думать, и грезить, и чаять, —
Что уж чаять — живи не спеша!
Как легко… Это рядом душа.
И тепло — согревает, родная…

Читатель найдет в книге и пророчество:

И будет ночь — я в эту ночь умру.
И будет день — меня уже не будет,
И в этот день — о да! —
меня полюбят...
И столько всякой всячины наврут…

Да, это уже стало общим местом — не только в отношении поэтов, но и вообще в истории: «Нет пророка в своем селении». Все даже великие при жизни были гонимы или принижаемы, а после их ухода все сказанное ими искажалось или подстраивалось под нужды бренных интересов, и тогда возвеличивалось. А что говорить о просто выдающихся людях? Об обычных же смертных остается молчать. Увы, таков закон существования общества… Как выразился наш недавний современник Джидду Кришнамурти, «какую ценность имеет свободный человек в нашем мире? Не задаете ли вы этот вопрос из лодки, плывущей по течению времени? И оттуда вы хотите знать, какое значение имеет свободный человек для людей в лодке. Вероятно, никакого… Большинство людей не заинтересовано в свободе… Когда они встречают человека, который свободен, они либо делают из него божество, либо высекают его в камне или в словах, что равносильно его уничтожению». Не могу судить, насколько свободной личностью является автор представляемой мною книги, но одной из привилегий свободного человека он, без сомнения, пользуется — привилегией говорить правду. А за правду, как известно, по головке не гладят.

А какая любовь и боль по утраченному родному укладу живет в стихах Валерия Гришковца — и сколько в них правды! В том числе и о том, что все мы приложили руку к разрушению.

Мой путь — путь бедуина
в Ерушалаим,
К святыням попранным,
но праведным, родным…

И еще — крик души:

Воротите наши СВЯТЫ
В их величии былом!..

Есть у Валерия Гришковца стихи, в которых он поднимается над всем, о чем писал раньше, — это признак глубокой зрелости:

За легкой, хрупкой, гиблой дымкой,
Страх и рыданья придуша,
Не отягченная гордыней,
Лети, лети, моя душа!
Над скудной пажитью, болотом,
Над бедной родиной моей,
Вослед за стаей перелетной
Спешащих к югу журавлей
Лети, душа моя, до края,
Гляди, восторга не скрывай!..
Но что там? Дымка кочевая?
Нет, стаей брошенный журавль…
А с ним она, седая птица,
Моя беспутная душа,
На кочку хлипкую садится,
Тая рыданья, чуть дыша…

И впрямь спазм перехватывает горло, когда читаешь такое… И как знать, стало бы возможным появление этих строк, если б не дала судьба автору ощутить себя этим «стаей брошенным журавлем», пытающимся нести свой крест и не роптать на то, что нельзя переменить, поскольку Божий мир в любое мгновение таков, каким он должен быть.

Юрий САВЧЕНКО



С точки зрения рецензента

Раскрепощенность чувств



Прозаик и поэт, переводчик и драматург, телеведущая и главный редактор — все это сочетает в себе молодая и талантливая Татьяна Сивец, представившая на суд читателей новый поэтический сборник (Сівец, Т. М. Разняволенасць: вершы, пераклады, паэма / Таццяна Сівец. — Мінск: Звязда, 2016. — 160 с.), при первом ознакомлении с которым может возникнуть ощущение чрезмерно реализованной боли в поэтической реальности автора, когда элемент болезненности во взаимоотношениях двух становится едва ли не лейтмотивом любовной лирики. Действительно, автором художественно воплощена модель дисгармоничной любви, где объектом страданий и душевно-эмоциональных смятений становится лирическая героиня:

* * *

Сонейка, ну канечне,
ты мяне не пакрыўдзіў, што ты!
Проста забіў… Забіваў… 40 дзён
і начэй маўчання…
Запар! Калі кожны ўспамін цаляў
у мяне і шротам
заставаўся ўнутры, пакуль я ўставала,
падала,
выключала халодны чайнік…
І крычала.
А ты не чуў… Я ж да апошняга самага
шлях да цябе, нібы пульс па руцэ
сваёй зледзянелай,
намацвала
(ёсць ці няма?).
Душу спапяляла смага
па душы… І гэта была нават ужо
не турма,
А рэанімацыя.

* * *

Ты незнарок прайшоў мяне наскрозь.
Так працінае куля. Толькі горлам
Пульсуюць словы, як старая кроў…
Я ўсё імкнуся падавацца гордай,
Не цямячы, што ТЫ спусціў курок.

Поэтическая декларация драматического понимания любви, отсутствия в ней душевного спокойствия конгениальна философским констатациям Н. Бердяева и другим представителям русской идеалистической мысли, определявшим истинную любовь именно как неразделенную, полную неразрешимых противоречий, изначально обреченную на экзистенциальную неудачу.

Несоединенность двух сознаний, двух «эго», разобщенность во времени и пространстве, отчужденность любимого вызывают у героини обостренную реакцию надрыва, чрезмерную экзальтированность. Боль настолько пронизывает все существо героини, что жизнь последней едва держится на волоске, необходимо вмешательство других для физического и метафизического спасения:

* * *

Доктар, мне штосьці
перашкаджае дыхаць і гаварыць!
Доктар, вы можаце гэта
з горла майго ўзяць і выразаць
назаўсёды?
. . . .

Доктар, калі я раней спявала,
енчыла, падала ў небыццё,
Мне нічога не каштавалі
ноты гэтыя, слёзы, крокі,
А цяпер я быццам
крыштальны, крохкі
Інструмент, напоўнены пачуццём…
І я плачу, бачыце, як дзіцё!

Парадоксальность ситуации заключена в том, что обостренное переживание болезненных чувств может быть оправдано только наличием взаимной любви, но неосуществимой, нереализованной по разным причинам, именно тогда страдания одного компенсированы страданиями другого, они имеют высший нравственный смысл и недосягаемую духовную высоту, когда метафизическая связь между любящими настолько сильна, что ни время, ни пространство, ни люди, населяющие это пространство, не способны разорвать возникшее круговращение двух планет по заданной траектории, где посторонним объектам места нет. В данной же поэтической реальности функционирует иная ситуация, где страдания носят односторонний характер, элемент компенсаторности отсутствует, а боль направлена на внутреннюю разрушительность. Однако в поэтическом пространстве автором декларируется не только высокая нота боли и невыносимого отчаяния, но и упоенность любовью (любовь окрыляет, она придает смелость, снимает страхи), раскрепощенность сознания, доходящая до озорства и эстетического хулиганства:

* * *

Тэлефон. Не гледзячы. («Гэта ты?»)
Прывітанне! Мы зноў не сам на сам,
а ўтрох з тэлефоннай дзяўчынай.
Разумнік,
я дзялю цябе з цэлым светам!
Хай сочыць НАСА —
мне гэта… (выкраслена цэнзурай)

Поэзия Татьяны Сивец представляет собой синтез интеллектуального и экспрессивного начал с ярко выраженной доминантой обостренного восприятия современных реалий и противоречий мироздания, осознания несовершенства мира и человека, онтологической дисгармонии. Этико-эстетическое кредо поэта находит свое воплощение в многочисленных переводах, представленных в сборнике, причем автору подвластны разноуровневые в тематическом и формально-стилистическом планах поэтические тексты (из азербайджанской поэзии):

Дайце мне лекі

Дайце мне лекі ад болю і суму,
Дайце мне лекі ад жарсці і тлуму,
Дайце мне лекі, ды каб не манілі,
Дайце мне лекі, каб час супынілі.

Дайце мне лекі ад зла і нябыту,
Дайце мне лекі ад мараў нязбытных,
Дайце мне лекі ад чорнай навалы,
Дайце ж такія, каб мне даравалі.

. . . .

Дайце мне лекі ад гневу, папрокаў,
Дайце мне лекі, каб верыць Прарокам.
Дайце мне лекі вы не ад ангіны,
А каб ніхто ў адзіноце не згінуў.

Высокий нравственный посыл отражен в стихотворениях «Бабулі»и «Час не залечыць маршчынак тваіх, дарагая матуля» (из российской поэзии), отражающих осознание онтологической значимости самых главных и дорогих людей в жизни каждого чело-

века, интуитивное прозрение их высочайшей миссии на земле, неразрывную духовную связь и преемственность поколений:

Бабулі

Зроблена ўсё.
Ты стамлёна прысела на ганку.
Рукі твае спачываюць
на ўтульных каленях.
У валасах тваіх вецер спявае
асеннюю песню —
Песню пра косы твае,
што калісьці былі смалянымі.

Зроблена ўсё.
І чакае хвіліны сукенка —
Тая, што толькі аднойчы…
Ды ты не прывыкла
Да новых, да белых хусцінак…
Ты ўсё рыхтавала… А як жа…

Сена, што не дасушыла…
А як жа чарніцы ў дуброве,
І рукавічкі для ўнукаў,
І недаспяваная песня?..

* * *

Час не залечыць маршчынак тваіх,
дарагая матуля.
У гэтых маршчынках сцяжынкі мае
і дарогі паснулі.
У гэтых маршчынках дзяцінства
маё залатое.
Я у гэтых маршчынках самоту
сваю супакою.
З маршчынак тваіх нарадзіўся сынок
мой прыгожы.
Маршчынкі твае я ва ўласным
люстэрку знаходжу…

Отрадно отметить тот очевидный факт, что пессимистические мотивы, «успешно» функционирующие как в поэтической реальности Т. Сивец, так и в переводной поэзии, определяющие двууровневость эмоциональной доминанты художественных систем, компенсируются оптимистической верой в жизнь, со всей ее антиномичностью и многогранностью, авторской декларацией установок на общечеловеческие ценности и такую ясную, гениальную в своей простоте истину:

* * *

Чакаем,
Гукаем,
Шукаем
Найбольшага шчасця…
А вось жа —
Сядзіць на каленях,
Маленькае, шэравокае:
— Мама-а!
Валюся-я!
Трымай мяне-е!

Обращаясь к вечным темам и мотивам, отраженным в мировой поэзии, автор ищет новые формальные воплощения, стремясь к усложненности текстового материала, прекрасно владея белорусским языком и арсеналом средств художественной изобразительности, представив индивидуально-субъективный (с реализацией объективности) моделируемый поэтический мир.

Инесса МОРОЗОВА



С точки зрения рецензента

«Несут нас — наши ли идеи?»

Учитель, журналист, художник, поэт, член Могилевского литературного объединения «Ветеран» Николай Механиков, мой земляк из деревни Грибаны шкловско-могилевского пограничья, в конце 2015 года издал приличный, в 116 страниц, сборник стихов, которому дал емкое название «В реальность просятся они. Поэтическая тетралогия».

Первые два раздела книги «Ближе сердцу» и «Век добрых слов» рассчитаны на более юношеский возраст, здесь преобладает лирика: стихи о любви и природе, размышления о современном искусстве, тревога за мир на земле. Наиболее значимые из них: «Фантазия весны», «Элегия», «Пусть на душе метель метет», «Любезен вам», «Выйду в поле рано я», «Безбилетники», «Тревога». А еще включены сонет «Стая» и венок сонетов «Портрет в современной раме».

Стихи третьего и четвертого разделов, «Будь проще» и «Шли семьей по земле», говорят нам о проблемах частных и общих, которые, по мнению автора, переплетены в жизни, и в них не каждому дано легко разобраться. Я бы сказал, что это стихи публицистично-философские, и они для более подготовленного читателя.

Неутоленные печали
Выплакиваются ночами.
А после сна, на день надеясь,
Несут нас — наши ли идеи?

Из этих разделов мне приглянулись стихотворения: «Мне без любви так тяжко жить», «Неутоленные печали», «Твоих измен я не боюсь», «Ялта летняя», «Весь мир в твое лицо глядит», «Отчего вам хохочется-плачется», «Открытый вопрос», «Ну и денечки», «Шли семьей по земле», «Антидвижение», «Жить по принципам», «Ностальгия».

Автор не скрывает ностальгии по тем временам, когда народы великой страны жили дружной семьей, стремились к равноправию, свободе, братству, справедливости и к правде — ведь «сила в правде» — и исповедовали общечеловеческие ценности и «несли свою ношу, // Не жалея себя, // Лишь бы славно друзьям, // До конца своих дней». А вот ныне на всем постсоветском пространстве «По-прежнему играют // И бизнес принимают. // И часто с кровью шалость // Воспринимают как малость». И поэт с тревогой вопрошает: «Несут нас — наши ли идеи?» Он делает вывод: «Нашу страну отстояли Матросовы // И Победы — наш Красный флаг». И призывает: «Нам Отечество не забыть! // Если враг, то народом всем биться, // А не к барству баранку рулить».

Конечно, есть в книге и посредственные стихи, но их — малость. Если же оценивать сборник по лучшим стихам, то можно сказать, что читателями он будет востребован долгие годы. Хорошую книгу могилевчанам подарил Николай Механиков.

Виктор АРТЕМЬЕВ



Жизнь в искусстве

Камиль Камал: Восток и Восход в Беларуси

Творчество самобытного, яркого художника Беларуси азербайджанца Камиля Камала стоит как-то обособленно в пространстве изобразительного искусства богатой мастерами страны. Живописец, график, скульптор… В одной ипостаси столько миров и явлений, что иногда просто удивляешься, как может все это вместиться в одной жизни.

Учителя Камиля Камала — русский живописец Евсей Моисеенко, белорусский график Гавриил Ващенко, а еще — Май Данциг, который хотя формально и не учил Камиля Камала, но близок ему и душой, и своими откровениями, своими традициями. Родился художник в Грузии. Азербайджанец по национальности, он все стремился к открытию художественных миров Азербайджана. Но как-то так выстроилась жизнь, что следом за первым художественным образованием в Грузии были Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград, затем — Минск. В Беларуси, в Минске он и остался. Подружился с белорусскими художниками, писателями. Выставки Камиля Камала, выставки его картин, каждая из которых — поиск единства Востока и Запада, желание соединить миры, философии, не единожды проходили в Минске, в Национальном художественном музее Беларуси.

Цвета, краски, которые выбирает белорусский мастер Камиль Камал, очень тесно связаны с теми природными явлениями, той природной атмосферой, что были близки художнику с раннего детства. Грузия, Азербайджан… Просто — весь Кавказ. И эта память движет повседневными устремлениями художника, руководит его выбором.

Мне часто доводилось наблюдать, как реагируют на первые встречи с творчеством Камиля Камала писатели, поэты, которые любят бывать в мастерской оригинального мастера. Народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин, прозаик Тимур Зульфикаров, поэт Чингиз Али оглу, прозаик и поэт Ганад Чарказян, бард Валерий Познякевич… Их глаза открывались шире, чувствовалось, что восхищение, которое они и не скрывали, становится материальным уже в их личных творческих планах. Что бы ни рисовал Камал — горы, города в горах, реки и небо — все представляется одним миром. Частью этого мира являются и женские лица, подсказанные космическим осмыслением окружающего мира.

Недавно Камиль Камал сказал мне, что он не любит рисовать натуру:

— Вот лежит на нашем столе хлеб. Его сотворили руки человеческие. Бороздочки, морщинки — столько в этом хлебе тепла, столько человека в нем присутствует, что я никогда не нарисую, не передам уже единожды сотворенное таким, каким его, пусть хлеб, пусть дерево, пусть человека, кто-то уже придумал… Фантазия — вот главный двигатель художественных открытий. Чем ценен Пикассо, чем ценен Шагал? Они выходили за рамки натуры, создавали свое, самими придуманное действо. Об этом мне не раз

говорил и великий Евсей Моисеенко. Я благодарю судьбу, что в начале своих исканий повстречал такого художника, такой талант на своем пути.

Камиль Камал в последнее время обратился к работам по оформлению книг китайских поэтов. Целая серия таких сборников выходит в Издательском доме «Звязда» в Минске. Серия называется «Светлые знаки. Поэты Китая».

— Первая книга китайских авторов, которую я оформил, был сборник стихотворений легендарной поэтессы Ли Цинчжао, — рассказывает Камиль Камал. — Я много читаю поэзию. И восточную, и европейскую. И белорусскую. Мой любимый поэт из белорусов — Рыгор Бородулин… Но китайцы стали для меня открытием. Кажется, что время сразу раздвигает границы, настолько они, тысячелет-



ней давности произведения, современны и созвучны мне, живущему в веке двадцать первом. Сейчас я закончил работу над книгой Ван Гочжэня. Я удивился, что общий тираж его поэтических сборников — девять миллионов экземпляров. Причем он работал в литературе немногим больше двух десятилетий. Знаю, что у китайской молодежи сегодняшних дней Ван Гочжэнь — самый популярный поэт. Вот и я бьюсь над разгадкой вопроса: в чем же секрет такой его популярности, в чем же секрет такого его притяжения? И меня уже тянет в Китай, мне хочется открыть для себя еще и такой Восток… Я хочу понять, чем же он близок моему родному Кавказу, как и понять то, в чем же их несхожесть… Где больше солнца — на моем родном Кавказе или там, в Китае?..

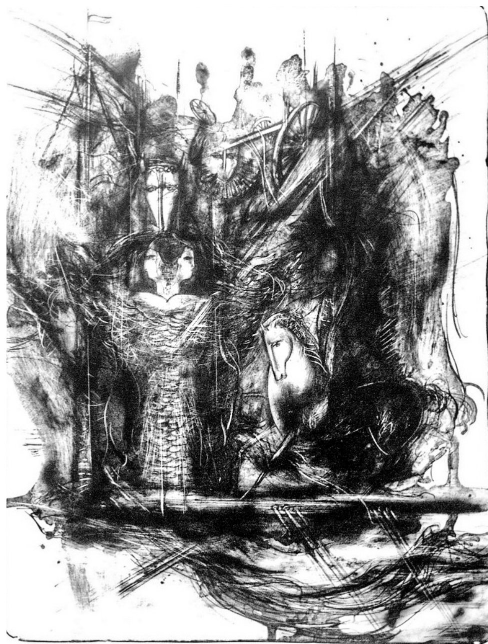




…Художника развивает и укрепляет движение. Конечно же, оно должно быть разносторонним, многогранным. У Камиля Камала это проявляется через внимание к разным формам. Сегодня он делает портрет белорусского писателя (курда по национальности, литератора, создающего свои произведения на курдском) Ганада Чарказяна, завтра старается проникнуть в мир просветителя Василя Тяпинского, затем создает модель памятника великому Низами, даже не задумываясь, будет когда-либо установлен этот памятник или нет. Потом делает экслибрисы.

— Я не могу стоять на месте, не могу просто выполнять заказ, накапливать количество картин, отражающих окружающий мир, — говорит художник. — Мне каждый день должен приносить что-то новое.

Наверное, в этом и состоит главная его тайна: каждый день должен приносить что-то новое. Наверное, так охотно, с надеждой на открытия



идут в мастерскую Камала на улице Некрасова белорусской столицы все новые и новые друзья…

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ



ГИГЕВИЧ Василь (Василий Семенович). Родился в 1947 г. в д. Житьково Борисовского района Минской области. Окончил физический факультет Харьковского государственного университета и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва). Автор многих книг прозы. Лауреат премии Ленинского комсомола БССР. Живет в Минске.

ГОЛУБ Юрка (Юрий Владимирович). Родился в 1947 г. в д. Горно Зельвенского района Гродненской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор многих сборников поэзии, книг для детей. Лауреат Литературной премии имени А. Кулешова. Живет в Гродно.

ШАТЫРЕНОК Ирина Сергеевна. Родилась в г. Молодечно. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Писатель, журналист, публицист. Автор книг «Нешкольные рассказы», «Старый двор моего детства», «Пестрые повести о любви», «Банные мадонны», «Слово о слове». Лауреат премии конкурса им. А. Дубко Гродненского облисполкома в номинации «Писатель года» за 2011 г. Живет в Гродно.

СКОРИНКИН Андрей Владимирович. Родился в 1962 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва). Автор множества поэтических книг и музыкальных альбомов. Член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской Академии славянского просвещения. Живет в Минске.

ДЕЙКУН Раиса Васильевна. Родилась в 1954 г. на ст. Авраамовская (д. Партизанская) на Гомельщине. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книги-исповеди «Мой ЧарноБыль, або Я боль людскі кранаў… рукамі…», сказок, сборника «Картошка — хлебу и… любви присошка» и др. Живет в Гомеле.

ФРОЛОВА Инна Николаевна. Родилась в 1972 г. в Минске. Окончила Минский государственный университет имени М. Танка. Публиковалась в журналах «Новая Немига литературная», «Славянин», «Белая Вежа», коллективных сборниках. Автор трех книг поэзии. Лауреат международного литературного конкурса «Семья—Единение—Отечество». Живет в Минске.

НОРИНА (Павлюченко) Ольга Михайловна. Родилась в 1965 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный университет. Автор нескольких сборников поэзии.

ДОРОШКО Дарья (Татьяна Леонидовна). Родилась в 1977 г. в Гомеле. Окончила Гомельское медицинское училище, филологический факультет Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Печаталась в периодических изданиях, коллективных сборниках, автор книги лирики «В начале». Лауреат многих литературных конкурсов. Живет в Гомеле.

ДЖО АЛЕКС (Сломчинский Мацей). Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоанглосаксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер Ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).